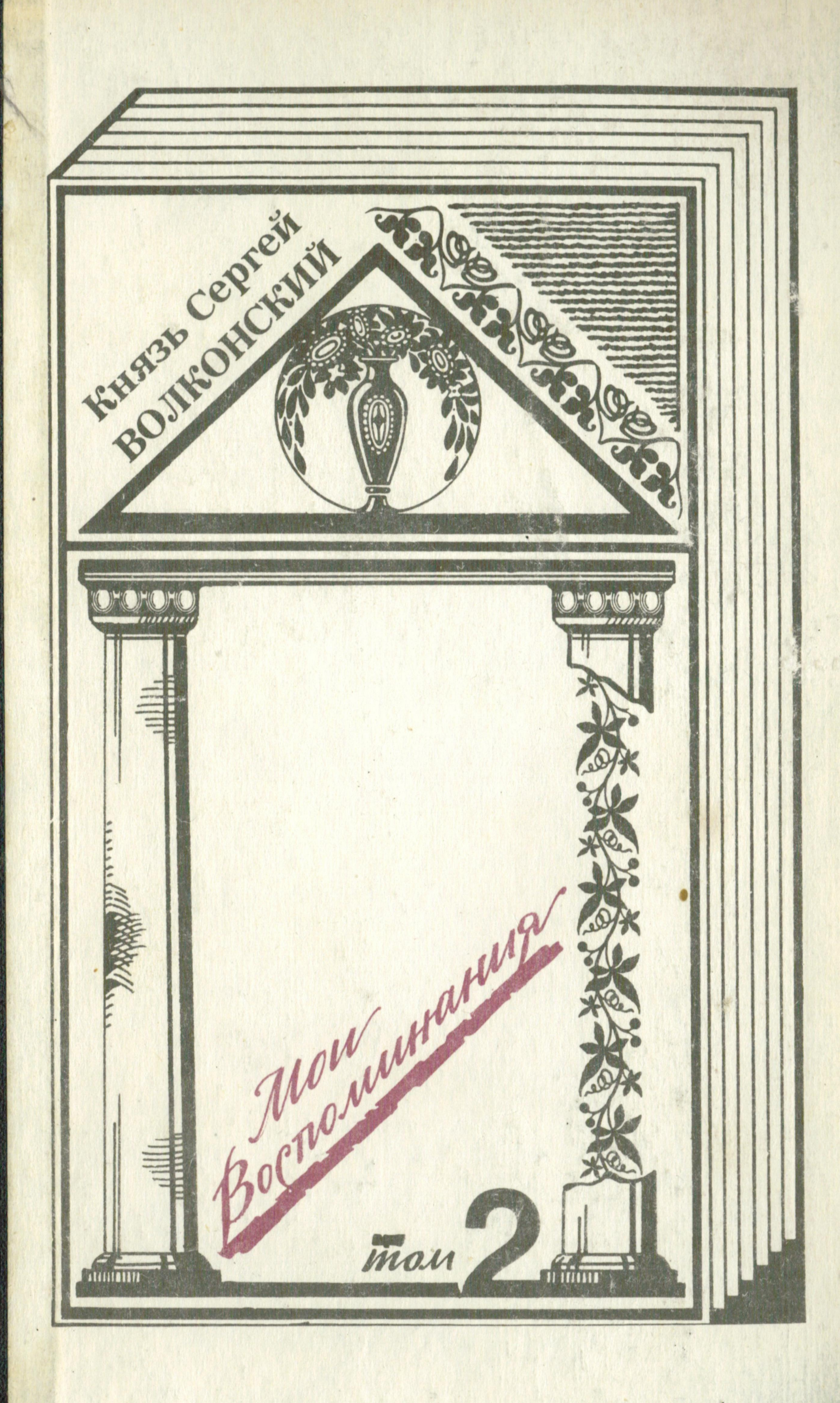

Князь Сергей
ВОЛКОНСКИЙ
Мои
Воспоминания
том 2



Князь Сергей Волконский

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

В двух томах

Том второй

РОДИНА

Москва
«Искусство»
1992

ББК 85.334.3(2)1
В 67

Издание подготовлено при участии
Всесоюзного научно-исследовательского института
искусствознания

Публикуется по изданию:
Князь Сергей Волконский. Мои воспоминания.
Т. 1—2. Берлин, 1923—1924

ISBN 5-210-02337-0 (кн. 2)

В $\frac{4402000000-022}{025(01)-92}$ 25-92

ISBN 5-210-02336-2

Родина! Какое сложное понятие и, несмотря на сложность свою, какое сейчас неуловимое. Мы любим родину,— кто же не любит родины своей? Но что мы любим? Что? То, что было? То, что есть? Нет. То, что будет? Мы не знаем. Страну нашу? Где она? Клочки одни. Народ наш? Где его лицо? За темнотой лица не видать. Думы нашей земли? В чем они выражаются? Голос нашей земли? Где он звучит?

И тем не менее называю эту третью часть моих воспоминаний — «Родина». И когда кончу, тогда видно будет, из чего составлено это понятие. Видно будет потому, что буду говорить с искренностью. Не буду стараться *составлять* понятие родины, а предоставлю тому, кто меня будет читать,— *вывести* его.

И если отдельные выводы тех, кто прочитает, окажутся соответственны душе каждого и соответственны между собой, тогда это соответствие и слияние этих соответствий и будет наша Родина. Она будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности; она не будет вне нас, но тем сильнее будет в нас; она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания.

И если, отрешаясь от земных условий, от привязанности к месту, мы в творческой памяти воссоздадим то, чего нет; если в тех горних высях, куда укрылся наш дух, сознанье наше подернется влагой бесполезных сожалений, мы скажем вместе с поэтом:

«Нет у *нас* родины. нет *нам* изгнания» —

и на ровной поверхности когда-то возмущенно клокочущей души ощутим великое равновесие опрокинутого отражения.

Фалль

Фалль, дивный Фалль под Ревелем, на берегу моря. Под знаком Фалля прошел расцвет моей детской души, и на всю жизнь «Фалль», звук этого имени, остался символом всего прекрасного, чистого, свободного от реальной тяжести. Он живит меня бодрящей лаской морского воздуха, смолистым запахом соснового бора. Встают в памяти крепкие очертания нависших скал, в закатах пылающее море, зеленый мягкий мох во влажной тени хмурых елок и крепкий серый мох на сухом песке под красными соснами; бурливая, в глубоких берегах река, далеко расстилающиеся долины и холмы разделанного парка; огромные со скорченными ветвями каштаны, тонкие перистые лиственницы; журчащая вода и мшистый камень, в тиши подлесной приветливая черника, улыбчивая земляника; дорожки, вьющиеся, убегающие, каменными лестницами поднимающиеся, спускающиеся; беседки на горах, над бурливою рекой, над зелеными низинами смотрят на далекое синее море или на холмистую кудрявость лесную, из-за которой розовая башня поднимает свой сине-желтый флаг...

О, этот дом, в котором пахнет деревянною резьбой, сухими и живыми цветами! Приветливая готика, уютная нарядность; дивный вид с террасы, из каждого окна. И все: воздух, свет, запахи, портреты, книги, и тишина, и говор — все укутано немолчным шумом водопада...

Спальня моей бабушки выходила окном на водопад. Мебель готическая, белая с черным; ситец светлый с красными цветочками; портреты, вазочки, воспоминания. По всему Фаллю прошлое к вам прикасается, ласково окликает. Из спальни тут же выход в маленькую восьмиугольную башенную комнату — миниатюры, бюро с вензелем императрицы Марии Феодоровны, ее портрет пастелью, писанный в Версале, и чудный вид на внизу шумящую и пенящуюся реку, на дальний парк и сквозь просеку светящееся море. Море сияет далеко, река шумит глубоко, а окно высоко, и между ними воздух и пространство...

Встают картины детства... Мне три года. На ступенях каменного крыльца старая старушка англичанка: мисс Смит, гувернантка моих теток, двоюродных сестер матери, показывает мне, как пальцы складывать,

чтобы выходил домик; указательный опускается и образует прилавок, мизинец — лавочник, и два больших пальца — покупатели... В низком кабинете, во флигеле, в глубоком кресле старец с белой бородой, в черном бархатном халате курит длинную трубку: мой дед декабрист... Дядя Петр Григорьевич Волконский, брат моей матери, посадил меня на лошадь и водит вокруг круга; мне боязно. После второго круга снимает меня, спрашивает: «Ну, как?» — «Не совсем ловко...»

Купанье в море! В тележке гурьбой, на сене, покрытом полостью: в тележку запряжен или Фалль, или Ястреб — низкорослые лошадки, темно-бурые, а хвост и грива белые... Лесом едем. Поперек дороги корни; трясемся, смеемся. Лошадью пахнет в пахучем лесу... Вот последний пригорок, и за ним обдаст нас шум морской. Спускаемся под гору; колеса в песке вязнут; серая морская трава по бокам дороги. Раздеваемся в дощатом «купальном домике»; босиком по песку вприпрыжку через колючую траву в воду! Волны набегают, обдают. Гладкое песчаное дно, ровное, крепкое. Иногда под подошвой легкое щекотанье — то маленькая камбала высвобождается из-под ноги. Никогда уже нигде я не мог после этого купаться — только море или океан; ни реки, ни пруда не выносил, не мог выносить, чтобы нога уходила в мягкое, вязкое,— это противоречило аристократичности первых впечатлений...

Однажды после купанья мне сделалось дурно; брат с гувернером вывели меня из домика на воздух. Я лишился сил; я лишился сознания, но все время слышал шум моря и ветра. Когда возвращался в сознанье, это было постепенно, и в этой постепенности был один блаженный миг — перед полным возвращением. Чувство недомогания прошло, шум волн прибивал к моим ушам, теплый ветер ласкал мое голое тело, трава колола ноги — я чувствовал свое бессознательное слияние с природой. И всегда впоследствии, вспоминая этот миг, я думал, что и корова, наверное, знает, что такое счастье... Возвращенье с купанья — пешком; губы и пальцы синие от черники... По дороге в лесу огромный камень; обчистили его однажды от моху, и все дети захотели высечь на нем свои имена. Принесли молотки, долота, но работа оказалась не так легка, как детям казалось...

В Фалле пробуждается любовь к надписям, к закреплению в камне; там несколько памятников. Большая глыба камня над высоким берегом пруда увенчана шлемом, щитом и мечом; памятник поставлен отцом моей бабушки, основателем Фалля, графом Бенкендорфом, своему брату Константину. Последние слова надписи: «Он кончил службу, кончив жизнь». В Фалле привыкаешь надписи читать. Много в саду чугунных скамеек: знакомые, кто приезжали, дарили на память скамейку со своим гербом и просили поставить на любимом месте. Читать девизы этих гербов,— какое развлеченье! Тут цветы и земляника, а тут же латинская надпись. «Pro fide et patria»* были мои первые латинские слова... Рано вливался романтизм в мое душевное настроение...

Вечер, сумерки, ламп еще не зажигали. Бабушка на своем Эраре играет — грустно, протяжно, а всетаки как-то утешительно. Слушаю в блаженной полудреме; в левой руке жалоба как будто повторяется... Как-то раз она сказала, что это называется вальс, что это сочинил Шопен какой-то. Но тут я еще не знаю, что это, и сижу я не в гостиной, а в соседней, «колонной», комнате. В большие окна смотрит белый вечер северной весны. Что-то застылое в природе — туда не хочется. Как-то смирно там, за окном. Только самые верхние листочки на деревьях трепещут, темные против белого неба. Большой каштан, тяжелый, вырисовывается над обрывной пустотой; его посадила, говорят, старая тетка Захаржевская, тетка моей бабушки; она иногда гостит в Фалле, она такая же большая и тяжелая, как ее каштан; она курит особенные папироски из соломы: пахитоски называются; от нее хорошо пахнет... Там под обрывом растут те красные цветы метелкой, про которые мать рассказывала, что, когда она была маленькая, ей ее бабушка говорила, что, когда она была маленькая, ей одна древняя старушка говорила: «Всякий раз, что увидишь этот цветок, вспомни обо мне». И я всю жизнь, когда его видал, вспоминал и мою мать, и прабабку графиню Бенкендорф, которой никогда не видал, и древнюю старушку, которой имени не знаю. И еще на днях, в июне 1921 года, в садике одного дома на Сивцевом Вражке увидал я этот цветок и мыслью про-

* «За веру и отечество» *(латин.)*.

летел от нашего двадцатого столетия сквозь девятнадцатое в восемнадцатое, когда древняя старушка говорила маленькой моей прабабушке, чтобы помнила ее... Те цветы под неприступной крутизной или внизу у воды; к ним надо снизу подходить, а здесь, в «колонной» комнате — между колоннами и на окнах жардиньерки с тепличными цветами. Какие среди них красивые — как глубокие рюмки, лиловые и темно-малиновые; говорят, глоксинии зовутся. Старик садовник в прошлый раз брал лист глоксинии, разрезал пополам и каждую половинку листа втыкал в ящик с песком, и через несколько дней каждый кусок листа давал корень вниз и росток вверх. У старика садовника Риу внучка и внук, Валли и Рихард; мы с ними играем; один камень большой около пруда я назвал «Wally's Stein», а мать мне сказала, что это напоминает одно очень знаменитое имя...

На дворе совсем уже застыло все, недвижно, как стеклянное; только снизу, с долины, туман поднимается. Там, на той стороне реки, на лужайке под горой стоит из бронзы человек — Аполлон называют его; не видать, на чем он стоит,— облака у ног его, он точно на небе или небесный на земле... Я прильнул к окну,— холодное. Красиво терраса убрана цветами; но все стеклянное, без трепета. И сколько лет уже с террасы белокаменные львы вперяют недвижные очи в недвижные ночи...

А у бабушки в левой руке жалоба продолжается, но такая покорная. А на меня смотрит с окна большая мраморная дама с покрывалом; под ней на бронзовой доске написано, что это императрица Мария Феодоровна, «благодетельница всех и наша».

Вносят лампы. Больно, неприятно; все рассыпалось. Но и чай готов в столовой. Длинный-длинный стол, и простокваша, и чухонский серый хлеб «сэпик». В большой столовой на полках много старого серебра — кубки, ковши. А на стене, над буфетом висит картина, изображающая древнюю старушку: и положила голову к ней на колени маленькая девочка в рубашечке. Это портрет женщины, которую прадед мой, граф Бенкендорф, спас во время наводнения, воспетого в «Медном всаднике», а девочка — сестра моей бабушки, впоследствии княгиня Кочубей, владелица Диканьки... Тогда-то я этого еще не знал, но то, что узнаешь впоследствии, как-то просачивается в прош-

лое, и даже когда мы думаем о тех, кого нет, мы видим их в прошлом умершими. Трудно разграничить в памяти моменты знания, уловить ту точку, в которой кончилось «не знаю» и начинается «знаю», ту точку, когда именно было: «узнал»...

Много я *узнал* в Фалле, без усилия, без чтения — благодаря Фаллю, из внутреннего соприкосновения с внешними предметами, из того, что создавали вокруг нас мельком брошенное замечание бабушки или матери, рассказ, воспоминание, вздох или усмешка...

В «колонной комнате» стояло длинное старое фортепиано, несуразное и с совершенно стеклянным звуком; но его берегли — оно было под стать всей прочей готической мебели, и за ним пела, так говорили мне, знаменитая певица Зонтаг, в замужестве графиня Росси; она проводила лето в Фалле; в парке есть и скамейка ее имени. На этом неуклюжем фортепиано вечерами с матерью сперва учился, а впоследствии играл в четыре руки; переиграли Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вебера — каким стеклянным звуком и по каким старомодным изданиям!.. На этом же фортепиано играл однажды пасторальную симфонию с великим князем Константином Константиновичем, впоследствии К. Р., который кадетом приезжал в Фалль с прочими учениками Морского училища.

Несколько раз приезжали к нам кадеты. Как это было весело! Корвет «Варяг», клипер «Жемчуг» бросают якорь перед Фаллем; шлюпки на воду, а мы уже давно заметили, бежим навстречу. Высаживается человек семьдесят — кадеты, офицеры, а впереди адмирал Брылкин. Начинается гулянье, катанье, а дома готовят угощенье; кадетам под каштанами, а адмирал, в эполетах, с лентой через плечо, ведет бабушку к столу в столовую... Они платили нам за гостеприимство: мы ездили к ним в Ревель, жили на военных судах; в Балтийском порту видели маневры с пушечной пальбой. Раз вернулись из Ревеля на парусной шхуне «Компас».

Никогда не забуду одного пробуждения. Я спал в каюте на «Варяге» сладким детским сном. Какой-то грохот пробуждает меня, и, прежде чем успеваю сообразить, что это барабанный бой, я погружен в тихое блаженство хорового пения: на палубе команда поет «Отче наш»; и в окно каюты ослепительное серебро морского отражения шлет лучи победного све-

тила. О пробуждение! Вы любите утреннее пробуждение? Возглас Брунгильды: «Heil dir, Sonne, heil dir, leuchtender Tag!» Пробуждение! Залог будущего, залог того, что прошлое не прекратилось, залог возобновления и обновления. У какого-то француза читал: «Les reveils de l'enfance sont triomphants, les réveils de l'âge mûr sont moroses, ceux de la vieillesse sont lugubres» (Пробуждения детства торжествующи, пробуждения зрелого возраста унылы, пробуждения старости мрачны). Нет, не заметил я на себе этих разниц; и посейчас еще торжествую, когда утром просыпаюсь, и посейчас вскакиваю, потому что радостно день начинать, а в особенности когда хорошая погода или на столе рукопись начатая дожидается. Но такого пробуждения, как тогда на «Варяге», не помню.

Морская жизнь полна живописности, а эта морская живописность, вливающаяся в фалльскую живописность,— какая красота... Когда они уходили в море, вдруг пустело... Я сидел в «колонной» комнате и считал квадраты на паркете шашкою из дуба и черного дерева... А бабушка рассказывала, что вот у этой двери, когда она была девочкой, стоял и водил смычком по своему Маджини знаменитый Львов, автор «Боже, царя храни»; и его скрипка звучала как оркестр. Он был адъютантом моего прадеда Бенкендорфа и сколько хороший музыкант, столь хороший инженер. Есть в Фалле через реку Львовский мост: один пролет покоится на железных стержнях, которые концами уходят в берега; легкость удивительная. Николай I, когда увидел этот мост, сказал: «Львов через реку перекинул свой смычок».

С северной стороны дома, на лужайке,— роща, каждое дерево которой обнесено решеткой с надписью. Это деревья, посаженные членами императорской фамилии, начиная с Николая I.

В 1871 году приезжала в Фалль цесаревна Мария Феодоровна. Как запомнились мне подробности этого посещения. В шесть часов утра приехали два барона, Мейендорф и Буксгевден, предупредить, что цесаревна приедет из Гапсаля к двенадцати часам; с ней свиты человек шесть. Мать моя поднялась и за собой подняла весь дом. Все закипело, заработало; когда бабушка проснулась, ей только сообщили, что все готово к приему высокой гостьи. Помню, что послали на башню какого-то эстонца сторожить, с тем чтобы

уведомил, как только он завидит экипажи по дороге. Но этот пентюх не понял возложенного на него поручения или, вернее, понял его так, что он должен махать, когда завидит. И вот он на башне неистово махал, в то время как мать с бабушкой спокойно разговаривали в гостиной. Уже показалась в воротах коляска с казаком на козлах и за ней другая, когда я побежал в «колонную», чтобы запыхавшимся голосом крикнуть традиционное: «Едут!» Мать оказалась на нижней ступеньке крыльца, когда цесаревна выходила из коляски. Они поцеловались, потом цесаревна поцеловала бабушку. Приехали с ней: гофмейстерина княгиня Юлия Феодоровна Куракина, фрейлина графиня Апраксина, фрейлина императрицы Марии Александровны Жуковская, дочь поэта, генерал Стюрлер, князь Суворов и секретарь цесаревны Оом. Хорошо помню платье цесаревны — серой парусины, отделанное полосой красного бархата под кружевной прошивкой. Помню, у матери было белое легкое летнее платье и шляпа кружевная с листьями и черными ягодами; бабушка была в сером шелковом.

Пока гости пили чай, мы, дети, в саду около дома ждали выхода: неужели они пойдут гулять, а нас не позовут? Вышло все общество с террасы: впереди моя мать с цесаревной, а бабушка осталась дома. «Сережа! Петя!» — кликнула мать. Вмиг мы выбежали и, как два пажа, очутились за цесаревной. Пошли дорожками вниз, перешли через Львовский мост; поднялись к старой развалине над крутым берегом реки; спустились к другому мосту, который дети называли «длинный мост», хотя он был не длиннее, а только уже прочих; поднялись к «царской беседке» с бюстом Николая I в память его посещения и оттуда пришли к воротам, которые ведут в лес, где нас ждали экипажи для катания по парку.

Цесаревна была мила, в радостном, почти детском настроении духа. Она рвала цветы направо и налево от дороги; но вдруг увидела землянику — вот уж прямо как ребенок обрадовалась. Заметив это, мы с братом стали рвать землянику и подавать ей. Очень нас поразило, что она съедала все ягодки, даже самые зеленые... Когда мы сходили по крутой дорожке, что ведет от «царской беседки», я услышал, что она спросила мою мать:

— Vous ne l'avez pas vu? (Вы его не видели?)

— Mais non, pas encore (Нет еще).

— Je vais vous le montrer (Я вам его покажу).

Она остановилась и стала раскрывать под шеей медальон. В перчатках, без зеркала трудно было; мать моя помогла:

— Vous permettez? (Вы позволите?)—раскрыла медальон и воскликнула: — Quel beau garçon! (Какой красивый мальчик!)

— Кто это, мама? — спросил я.

— Это мой сын,— сказала цесаревна.

— C'est les premieres paroles que je vous entends prononcer en russe (Это первые русские слова, которые я слышу от вас),— сказала моя мать.

Когда подошли к экипажам, мать с цесаревной сели в первый двухместный шарабан, остальные расселись в трех других шарабанах. Мать взяла вожжи и кивнула мне, чтобы я сел на задние козлы. Мы поехали. Какой нарядный звук — звук колес по мелкому гравию. Фалльский парк огромный; в нем пятьдесят четыре версты дорожек. И как разнообразно: по берегу моря, сосновыми рощами, по зеленым лугам, вдоль реки, над рекою, спуски и подъемы. Я не знаю ничего, что мог бы сравнить с фалльским парком по красоте и прелести... Цесаревна очень восхищалась, то и дело просила остановиться, чтобы полюбоваться видом или нарвать цветов. У нее на коленях, когда мы отъехали, лежала синяя кофточка с бронзовыми пуговками с якорями. Мать взяла кофточку, положила мне на колени для хранения. Я заметил в кармане запечатанный конверт с красивым вензелем; ужасно мне захотелось увидеть ее почерк, а также — кому адресовано письмо. Всю дорогу меня мучило это желание. Но я не посмел перевернуть конверт. Почерк императрицы я впоследствии видал, но кому было адресовано то письмо, останется навсегда неразгаданною тайной... Когда приехали домой, был обед. Мы, дети, в этот день обедали в доме управляющего, Лильенкампфа... После обеда цесаревна лопатою, которой сажал свою березу Николай I, посадила каштан. Когда она очищала свои перчатки от земли, мать вынула у меня из кармана носовой платок и им обтерла ей руки.

Вот все, что могу припомнить. Конечно, после отъезда было много разговоров, делились впечатлениями дня. Заметил, что когда говорили о Жуковской, то

как-то понижался тон; мать сказала: «Она, бедная, конечно, садилась отдыхать на каждую скамейку». Много, много лет спустя я узнал, что она в то время была беременна от великого князя Алексея Александровича, что только за несколько дней перед тем они просили императрицу разрешить им повенчаться, но разрешения не получили. Она родила сына Алексея, который получил фамилию графа Белевского. Хотя я в то время ничего не понимал, но это-то я понимал, что не надо спрашивать старших, о чем они говорят, когда они говорят этим тоном. Только почему старшие не могут подождать, чтобы дети ушли, если им хочется говорить о таких вещах, о которых дети не имеют права переспросить?.. Вечером того же дня — сейчас вспоминаю, что это было 10 июля 1871 года,— когда мы с братом ложились спать, пришел к нам в комнату старый дворецкий Николай Рыбаков поделиться и своими впечатлениями. Он говорил вполголоса, трагическим шепотом:

— А какое упущенье!..

— Что такое?

— А все Эдуард виноват. (Это другой слуга.)

— Да что же случилось?

— Да ведь мы с ним уговорились, что он будет вилками и ножами заведовать, а он вот какой оказался недосмотрительный.

— Что же?

— Обнес я горошек. Смотрю: цесаревна не ест; на тарелке горошек, а сама не ест. Что, думаю, такое? Гляжу: а вилки-то у нее нет. И ведь не спросила,— вот какая нежная!

Это была единственная задоринка в церемониале этого сложного дня.

В Фалльском доме, таком светлом, приветливом, есть одна комната, в которую мы, дети, входили с некоторым страхом,— мрачная, молчаливая, в которой никогда никто не сидел. Это был кабинет моего прадеда Бенкендорфа. Перед большим письменным столом большое с высокой спинкой кресло; на столе бронзовые бюсты Николая I, Александра I, родителей Бенкендорфа. Вообще много бронзы — модели пушек, в маленьком виде памятники Кутузову и Барклаю де Толли; пресс-папье — кусок дерева от гроба Александра I, обделанный в бронзу, увенчанный короной. Мно-

го портфелей с гравюрами, планами; высокие шкафы с книгами, медали в память двенадцатого года.

«Царей портреты по стенам».

Висела там известная акварель Кольмана — декабрьский бунт на Сенатской площади: бульвар, генералы с плюмажами, с приказывающими жестами, солдатики с белыми ремнями по темным мундирам, и в пушечном дыму памятник Петра Великого. Как любопытно думать, что стоял перед этой картиной, смотрел на нее мой дед декабрист, когда по возвращении из Сибири проводил лето 1863 года у тещи своего сына... В этой комнате все вещи как-то особенно молчали. Там пахло стариной, большей давностью, чем в остальном доме; там всегда хотелось спросить кого-то: «Можно?» А между тем там никогда никого не было. Из единственного окна виден водопад; на той стороне реки, на горе сквозь деревья виднеется «изба» — дачный домик, который одна старушка, баронесса Милинька Саккен, называла «das Schweizerhaus im russischen Stil» (швейцарский домик в русском стиле).

Милинька Саккен! Какое дальнее воспоминанье! Ближайшая соседка Фалльская. По ревельской дороге в шести верстах большой белый казарменный дом с двумя пузатыми башнями по концам — Фена называется. Там она жила, незамужняя тетка владельца Штакельберга, и вела его хозяйство, сочетая предписания бережливости с поползновениями знатности. Маленькая, с красным носом на сморщенном лице, держалась прямо, с отменной выработанностью форм общежития: каждому поклон, каждому привет, каждому подобающее слово. Ее входы и выходы, приезды и отъезды, это были своего рода церемониалы. Расточая приветствия, как бы раздавая себя, она в то же время высоко держала голову, увенчанную невероятно большой прической, в которой были и локоны, и ленты, и сетка, и банты. Никогда не видал ее иначе; она говорила, что с утра одета так, что может принять императора. Она своеобразно говорила по-французски. Так, она сидела на балконе своего казарменного дома, глядела на большую дорогу, ожидая возвращения посланного из Ревеля; но она называла его не посланным, а «вестником» — «le messager». Штакельберг занимался молочным хозяйством; желая похвастать тем, что цены на молоко у ее племянника растут, она

сказала: «Et chez Ernst le lait monte toujours» (А у Эрнста молоко все поднимается, то есть что по-французски говорят о кормилицах). На одном из окон в Фалле стояла маленькая бронзовая статуэтка — Меркурий Джамболоньи; как известно, юный летящий бог без всякого прикрытия. Милинька Саккен называла его «la petite danseuse» (маленькая танцовщица). Она иногда страдала одышками, кровь ударяла ей в голову; она называла это «des bouffons» («шутники», вместо «bouffées»)... Сколько образов прошло через детство; прошло и кануло туда, в темную пучину прошлого... Вспомнил о Милиньке Саккен по поводу избушки, выглядывающей из-за леса над водопадом. В этом лесу, далеко от дома, на горе фалльские могилы.

Дивное место. На полугоре как бы природная терраса; книзу спускается зеленый луг, по бокам его лес, впереди, внизу за лугом, тоже лес, и за этим лесом море. Сзади гора и наверху горы огромный деревянный крест. Бабушка говорила, что крест всегда там был и что однажды, гуляя со своим отцом, она сказала: «Я бы хотела быть похоронена там, под крестом». Граф Бенкендорф умирал на пароходе, который вез его из Амстердама в Ревель. Последние его слова были: «Dort oben auf dem Berge» (Там наверху, на горе). Присутствовавшие не поняли; уже когда привезли тело в Фалль, бабушка разъяснила. Еще подробность. Прабабка, графиня Бенкендорф, поднималась на башню с подзорной трубой смотреть на прохожденье корабля, державшего путь на Ревель мимо Фалля. Она видела корабль, но он нес уже покойника...

Вспоминаю, как они женились. В Харьковской губернии, в старой усадьбе по имени Старые Водолаги, жила Мария Дмитриевна Дунина, урожденная Норова. Сама мать многочисленного семейства, она воспитывала еще двух дочерей своей сестры Захаржевской. Старая наседка, Мария Дмитриевна широко распространяла патриархальное владычество своих мягких, но и крепких крыльев. Дочери, племянницы выходили замуж, но яблочки падали недалеко от яблони: и с каждой новой свадьбой вырастал новый дом. Но к обеду все сходились. Там жили широко, и к обеду закалывали быка. Весь Харьков ездил на поклон в Старые Водолаги. Однажды приезжает в Харьков высочайше командированный молодой флигель-адъютант

Александр Христофорович Бенкендорф (тогда еще не граф). Ему говорят:

— Вы, конечно, поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?

— К Марии Дмитриевне Дуниной?

— Как? Вы не поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?

Он увидел такое изумление на лицах, что поспешил ответить: «Конечно, я буду у Марии Дмитриевны Дуниной».

Он поехал. Сидят в гостиной; отворяется дверь — входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколько влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу. Это была молодая вдова, Елизавета Андреевна Бибикова, рожденная Захаржевская, племянница Марии Дмитриевны Дуниной. Муж ее был убит в двенадцатом году.

Когда положение обрисовалось, Мария Дмитриевна нашла нужным собрать справки. Фрейлина Екатерины Великой, поддерживавшая переписку с императрицей Марией Феодоровной, она за справками обратилась не более, не менее, как к Высочайшему источнику. Императрица вместо справок прислала образ. Она хорошо знала Бенкендорфа; он был любимцем царской семьи. Его мать, рожденная Шиллинг фон Канштат, приехала из Вюртенберга с Марией Феодоровной. Екатерина ее не любила и хотела отослать обратно, а Мария Феодоровна выдала за Бенкендорфа, и она осталась в России. Сын ее, Александр Христофорович, будущий граф, шеф жандармов, основатель Фалля, был любимцем царской семьи с ранних лет. Он был пажем у императрицы Елизаветы Алексеевны; в Фалле была табакерка с ее портретом и надписью: «Моему амурчику».

Отец его был знаменит своей рассеянностью. Он был губернатором в Риге. Бабушка рассказывала, что однажды приехал Павел I и Бенкендорф забыл заказать обед. Посылает к знакомым с просьбой выручить; все поспешили прислать по блюду. Принесли блюда, крытые крышками; когда сняли крышки,— под каждой крышкой оказался гусь. Это было осенью, и всякий постарался прислать лучшее по сезону блюдо... Конечно, когда бабушка кончила свой рассказ, я спросил, как все дети, когда кончен анекдот:

«Ну и что?» Но ответа не последовало. Одни ли дети ставят вопросы? Одни ли детские вопросы остаются без ответа... «Остальное — молчание»,— сказал Гамлет, и остальное гораздо больше того, что сказано...

Была у моей прабабки Бенкендорф компаньонка Аделаида Петровна Ковалинская. Я помню приятную старушку, но я не помню ее мать; помню только странные рассказы про ту, которую звали «Старый Коваляк». Армянка по происхождению, шумливая, кипучая. Она всегда сосала леденцы и, насосавшись, вынимала изо рта и завертывала в носовой платок. Когда вытаскивала платок, чтобы высморкаться, на нем, как присосавшиеся пиявки, висели леденцы. Восторженная, пылкая патриотка, она во время турецкой кампании 1828 года с трепетом ждала всякого известия с театра войны. Томительно долго длилась осада Варны, больше двух месяцев. Наконец поздно вечером — она уже лежала в постели — ей приносят радостное известие: Варна взята. Она вскакивает, как была, в рубашке, кидается в переднюю, надевает калоши на босую ногу, накидывает первое, что попадается под руку,— это была одна из тогдашних лакейских ливрей с бесчисленным количеством воротников,— и в этом наряде бросается по лестнице вниз; выбегает на улицу — жила она в доме армянской церкви на Невском — и стремглав пускается бежать, размахивая руками, с криками: «Варна взята! Варна взята!» Она любила море, ходила в Фалле каждое утро купаться. Любила море, но боялась холодной воды. И вот, чтобы входить в финские волны, она надевала салоп. Вокруг нее кольцом стояли девушки и, пока барыня, боязливо взвизгивая: «Ой, батюшки! Ой, батюшки!» — бережно опускалась в воду, одни девушки поднимали фалды салопа, а другие из кувшинов лили в море горячую воду...

У прабабки моей было два брата, Захаржевские: смутно помню о них. Один был генерал; умер во время парада на площадке перед Зимним дворцом. Его жена — та самая тетушка, которая курила пахитосы. Она была урожденная Тизенгаузен, по-русски говорила плохо; ее русский язык не шел дальше придворных повесток, и то она их своеобразно передавала.

— Ma tante,— спрашивала ее мать моя,— est-ce que vous allez à la Cour demain? (Вы поедете ко Двору завтра?)

— Mais certainement, chère., C'est donc une de ces occasion où vont tous ceux qui sont «ossobovo pola» (Ну разумеется. Ведь это один из тех случаев, когда приглашаются все те, кто особого пола). Так она передавала официальную редакцию «особы обоего пола, ко двору приезд имеющие».

Другой брат моей прабабки жил холостяком в деревне в Харьковской губернии и был ночью зарезан в своей постели. Его родной племянник Николай Похвостнев был заподозрен и умер под этим подозрением. Но на суде выяснилась его непричастность — камердинер покаялся в преступлении...

У Бенкендорфов было три дочери; моя бабушка была средняя. Старшая, Анна, вышла замуж за венгерского графа Аппони. Я дважды навестил старушку в ее имении Ленгвель. В 1842 году покинувшая Россию, она жила далекими воспоминаниями и там, на новой родине, была окружена портретами. В далекой венгерской равнине она хранила память о холмистых долинах, о береге моря, о розовой башне в кудрявости лесной и о немолчном шуме водопада. В ее рассказах вставала странная Россия, сосредоточенная в Зимнем дворце, Петергофе, Фалле. Большая нарядная игрушка тогдашний Петербург. И все, что тогда строилось, все носило этот характер игрушки, беззаботности. Оставшиеся с того времени памятники, дворцы, павильоны пригаданы для нарядной жизни, за которой как-то не ощущается присутствие практических забот. Николаевская выправка была какою-то военной ширмой, которая отгораживала жизнь и обеспечивала ее спокойное теченье. Вся жизнь была парад, и никогда эту парадность я не ощущал так близко, как в рассказах милой тетушки Аппони. Она хорошо знала тогдашний Петербург, она стояла на виду, она была восхитительно хороша, несмотря на то, что косила, и она обладала редким голосом. Она была первой публичной исполнительницей львовского «Боже, царя храни». Это было в зале Дворянского собрания, на концерте Патриотического общества. Гимн исполнялся в первый раз; пел хор, но раньше хора каждый куплет пела она как запевала. Тетка Аппони намного пережила мою бабушку. Второй раз я навестил ее в 1898 году, за год до ее смерти. Она была слепая, но в восемьдесят четыре года такая же приветливая и живая, как прежде...

Третья дочь Бенкендорфов звалась София и была за князем Кочубеем, владельцем Диканьки. Я ее никогда не видал.

Обо всем этом вспоминаю перед могилами. Не много, пустяк, но и за этот пустяк благодарен скупому прошлому, что так мало отпускает алчущей памяти...

Нельзя себе представить более красиво-успокоительное место, чем Фалльские могилы. В детстве помню их две — прародители Бенкендорфы. Сейчас, в 1921 году, их восемь. Прибавились: моя бабушка в 1881 году, брат моей матери в 1895-м, жена моего двоюродного брата и ее малолетняя дочь; там же похоронены мои родители — мать в 1896 году, отец в 1908-м.

Образ Бенкендорфа витает над Фаллем, но с его образом вместе какая-то архитектурная официальность, подтянутость николаевского мундира. За романтикой непринужденного дачного житья чувствовался казенный шлагбаум; пока кисейные дамы и барышни вышивали по канве, в кабинет проходили адъютанты и по большой ревельской дороге скакали фельдъегеря. По этой дороге, в полутора верстах не доезжая дома, стоял крохотный розовый домик, в котором адъютанты оправлялись с дороги и переодевались. Парадность никогда не затмевалась и сопутствовала жизни даже в ежедневных мелочах... Все это, весь этот бенкендорфский Фалль, во мне живет где-то глубоко, в тех недрах человеческого сознания, где живет то, чего мы никогда не видели, в тех закоулках нашего существа, где реальное небытие находит субъективное подтверждение своего метафизического бытия. Не говорите, что это субъективно. Или нет, именно скажите, что это субъективно, но признайтесь,— ведь субъективность лучшее украшение объекта.

И после этого — другой Фалль; Фалль моей бабушки Марии Александровны. Этот Фалль живет в тех близких верхних слоях сознания, где живет то, что мы видели, знали, любили, так любили, что только с жизнью вместе угаснет любовь и только с любовью вместе угаснет ее свежесть.

Бабушка была самое аристократическое существо, какое я в жизни знал. Тонкая, хрупкая. Вижу ее в

белом гладком платье, с белой кисейной косынкой под соломенной шляпой, обстригает розаны или кусты. Оттуда любовь моя к деревьям и кустам. Она отлично знала названия, привычки растений. Сколько елок, сколько каштанов переслала она к нам в Павловку, в Тамбовскую губернию! Этих фалльских уроженцев мать моя называла латинским эпитетом Fallensis. Сколько любви, ласкового ухода вокруг деревьев и цветов! Когда бабушка находила на дороге кучку сухого конского помета, она протыкала зонтиком и на конце зонтика несла драгоценное удобрение, чтобы сложить его в цветочную клумбу.

Она по-русски плохо говорила. Она принадлежала к тому поколению, которое воспитывалось по-французски, а русский язык воспринимало в девичьей. Так выходило, что, тончайший цвет аристократизма, бабушка, говоря по-русски, употребляла такие выражения, как «в эфтом» и «с эстим». Да, она была очень аристократична, и иногда это проявлялось с некоторою узостью в отношениях к людям: вопросы внешних форм действовали отчуждающе. Но это было в мелких, безразличных обстоятельствах жизни; в больших, важных случаях она подходила к людям с той душевной широтой, которая именно и есть высшее проявление истинного аристократизма. Чужое горе, чужая болезнь заставали ее как солдата на посту. Мой брат Григорий готовился в Морское училище, жил в приготовительном пансионе в Ораниенбауме; вдруг заболел воспалением легких, а пансион переезжал в Петербург — был конец лета. Родители были заграницей, я и брат Петя были в гимназии. Бабушка приехала из Фалля, поселилась в маленькой одинокой дачке и выходила брата.

Однажды приехав в Фалль, где мы были уже раньше нее, она объявила, что с сегодняшнего дня будет говорить с нами не иначе как по-французски. О, как я благодарен ей за это столь напугавшее меня решение! Какая великая вещь знание языка; ведь мы не только обогащаем речь свою, мы обогащаем разум новыми понятиями, новыми соотношениями, новыми логическими категориями. Тут же мы начали с матерью читать французских стариков. Первая вещь была «Атали» Расина — мир красоты: и сами слова, и звуки этих слов, и мысли, и форма этих мыслей. Сознание формы вливалось в меня и от тех, с кем я жил,

и от того места, где я жил, и от того, чем я жил. Прекрасная библиотека фалльская восходила к началу восемнадцатого столетия своими изданиями и чудными переплетами. Я стал брать книгу и уходить в лес. Так роднились красоты стиха с красотами природы; какая-нибудь сцена трагедии сливалась с солнечным лучом, между деревьев падавшим на зелень подлесного ковра. Я перечитал всего Расина, всего Корнеля, всего Мольера...

Когда мы с братом, выдержав вступительный экзамен в шестой класс гимназии, приехали в Фалль, у почтового моста при выезде из Кэзальского леса нас встретила триумфальная арка из сосновых ветвей. Бабушка, мать, братья, сестра, няня — словом, все ждали нас под аркой, над которой было натянуто белое полотно и на нем, как мы узнали впоследствии, по выбору маленького еще тогда брата Саши красовалась надпись, которою Павел I встретил Суворова после альпийского похода: «Достойным достойное». Младшие братья поднесли старшим по лавровому венку; бабушка подарила по выдвижному карандашу в золотой оправе.

Одно лето я прожил в «избе», что на той стороне реки над водопадом из-за лесу выглядывает. Мне были приятны и самостоятельность и красивое одиночество. Утренняя радость, утренний гам лесной и первый брызг лучей сквозь росистые ветви обдавали меня, когда по каменной лестнице спускался к цепному мосту, чтобы идти в большой дом. Смолисто-хвойная задумчивость обнимала меня, когда в вечернем сумраке по каменным ступеням поднимался к своему жилищу. Уезжая в восьмой класс, прощаясь с бабушкой, положил на стол ключ от «избы»:

— Могу им еще когда-нибудь воспользоваться?

— Пока я на этом свете, всякий раз, как пожелаешь.

Но это был последний раз. Следующее лето я провел в путешествии, в Фалле не был, а осенью она умерла. С 1868 года мы так распределяли: одно лето в Фалле, а два в Павловке, и из этих двух одно бабушка проводила с нами. В 1881 году в сентябре мать проводила ее до Вержболова; она поехала в Рим. В октябре мы получили известие, что она больна. Мы с матерью выехали. Я только поступил в университет; благодарен, что отец меня отпустил.

Мы застали бабушку в живых еще в течение двенадцати дней. При ней была прелестная ее старшая сестра, тетка Аппони. Бабушка умерла в страшных мучениях от закупорки кишок; но она выказала изумительное мужество и, хрупкое, нежное существо, учила нас умирать. Она скончалась 4 ноября в шесть часов вечера. Она жила в Palazzetto Borghese, что против большого дворца Боргезе. Дочь ее сестры, графини Аппони, была за князем Боргезе; сестра ее жила здесь, здесь же поселилась и бабушка. Мы отвезли гроб на станцию и поставили в вагон; покрыли красным покровом, обложили пальмами; вагон запечатали. Печати сняли в Ревеле. Так, среди снега и мороза предстал под красным покровом и, обложенный римскими пальмами, проследовал в Фалль и стал в домовой церкви, в так называемом «церковном доме», гроб княгини Марии Александровны Волконской. Был мягкий зимний день. Гора была покрыта белым снегом и, белая, расстилалась книзу долина; черные из-под белых подушек глядели еловые ветви, в то время как зеленые пальмы ложились в могилу... Двадцать лет жизни изымались из реального существования и переходили в тончайший дым воспоминаний. И в то время как неумолимая земля заравнивала грань между настоящим и уходящим прошлым,— за белым саваном равнины я видел, поверх макушек внизу лежащего леса, как море сочеталось с небом...

Таков Фалль, дивный Фалль. Я не сказал,— но, может быть, это неинтересно,— что я родился там, 4 мая 1860 года, в шесть часов вечера, в большой спальне, что над «колонной комнатой»; там были кретоновые занавески с пассифлорами... Пожалуй, упомяну об этом. Я не люблю воспоминаний, которые начинаются — «Я родился там-то, тогда-то». Всякий человек родится где-нибудь и когда-нибудь. Но кончить этим главу можно:

«Я классицизму отдал честь;
Хоть поздно, а вступленье есть».

Теперь от фалльского дома остались одни голые стены; в 1918 году там стояли наши красные войска: остались голые стены. Жаль:

«Combien j'ai douce souvenance
Du beau lieu de ma naissance».

(Я вспоминаю с чувством умиленья
О дивном месте своего рожденья.)

Павловка

Помните ли вы, что такое было — после экзаменов, с пятеркою в кармане, садиться в вагон? Помните огромный свод вокзального навеса? Световую арку, перед которой пыхтит нетерпеливый паровоз, и за ней простор природы? А помните через два дня после этого приезд в деревню? Не можете не помнить,— это незабываемо.

Уже давно в открытое окно вагона ласкающее, пахучее прикосновенье степного воздуха. Направо и налево от полотна мягкое колыхание то ржи, то овса. Солнце садится, на него смотреть почти не больно: и какая-то между небом и землей разлита беззаботная благодарность... Поезд идет тихо. И сосчитать можно всю мерность его мягких поворотов и ровную повторность колесных ударов. Жаворонки взлетают, падают, реют, пропадают. Звонкий воздух допьяна звенит, исполосанный петлями летучих извивов.

Хорошо, но долго; медленно, слишком медленно катится вагон; слишком медленно пыхтенье, и так медленно, так равнодушно медленно стелются и тают клочья дыма... Свисток. Вот красная водокачка и вот наконец наша милая, грязная станция Волконская. Слезать с левой стороны.

Скорей, скорей через грязный «зал» на крыльцо. Подкатывает с бубенцами серая тройка; старый кучер поздравляет с приездом. Скорей, скорей вещи в коляску. Трогаемся. Опять бубенцы. Прогромыхала под колесами мостовая станционного двора, прогромыхали трясучие доски мостика — выехали на черноземную дорогу. Мягко, тихо... Сзади свисток; поезд пыхтит, раскачивается, пыхтенье напрягается, стук учащается, слабеет, пропадает... Где-то перепелка.

Как далеко все, что я люблю! Как далеко! Флоренция, Венеция! Ужели эти самые рельсы, по которым поезд сзади меня утонул в степной дали, ведет и к вам? Как далеко все тамошнее, каменное, велико-

лепное!.. Да, как далеко все, что я люблю, и как люблю все, что кругом! Родина, Родина!.. Здесь все мягкое, земляное, соломенное. Историк Соловьев делил Европу на каменную и деревянную...

Катится колясочка, и валек пристяжной задевает придорожную рожь. Вечереет. Вечерний воздух сыт цветущей рожью... Вечерние звуки кончающегося дня; утомленная покорность возвратного движенья. Запах соломы, дыма, навоза... Уходящий горизонт ничем не перерезан, разве встречною дугой... Гаснущий пожар закатного неба. Висящее в пыльном облаке напряженное блеяние; редкий щелк арапника. И вновь молчанье; и гаснет все больше, и мрак все гуще... Из темноты нежданный лай, нежданный фырк, нежданный вспых далекого костра...

Катимся. Звенят бубенцы, не то усыпляют, не то пробуждают. Пахнет лошадиным потом. Пристяжная звонкою подковой задевает о подкову. Катимся... И кажется, пространства нет, и времени не чуешь.

Но вдруг пахнуло зеленью, лесною сыростью: мы подъезжаем к парку. Темнее ночи на темном небе темнеют темные дубы. И обдает нас вдруг щелкающим гамом море соловьев: мы въехали в аллею. В конце аллеи огонек. То выбежали на крыльцо. Вот брызнул свет из окна столовой. Давно уже там ждали, и вдруг услышали в ночном молчанье ровный стук копыт, и кто-нибудь крикнул: «Едут!» И кто-нибудь повторил: «Едут! Едут!» И вышли со светом на крыльцо. Аллея кончилась, мы выкатили в обширный двор; огибаем большой зеленый круг — лошади остановились в полосе света.

О, первый ужин с укропом из собственного огорода!

«Прежде,— говорит Гоголь,— давно, в лета моей юности, в лета безвозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать». Должен сказать, что всегда, не только в детстве, во всяком возрасте мне было «весело подъезжать». Уже к седьмому десятку я приближался, и не улетучилась острота этой радости. И сейчас, когда начинаю уже свой седьмой десяток и когда ничего уже не осталось от этого прошлого, когда и в том уголке души, где цвели лучшие цветы, уже и полынь не растет,— не могу без

радостного трепета вспоминать, как подъезжал к милой нашей Павловке.

Часы поездов часто менялись на моей памяти. Затрудняюсь сказать, что я больше любил — приезжать ночью или днем, угадывать или видеть. Если днем — то обыкновенно приезжали часу в шестом. Какой прелестный час в усадьбе! Час, когда жар еще в земле, а с неба уже идет прохлада. Останавливаюсь на крыльце. Длинные тени от деревьев стелются по зеленым лужайкам; около дома поливают цветы — шум ведер и леек; над петунией и резедой жужжат пчелы, которые каждый год ютятся за обшивкой деревянного дома. С крыльца смотрю назад, откуда приехал. Зеленый круг посреди двора; посредине круга один из тех огромных глиняных, кирпичного цвета горшков, которые привез из Флоренции. Направо свесился через дорогу на круг, раскинул свою шапку огромный трехствольный дуб; огромный дуб: если его шапку очертить на земле, то будет круг шагов в двести. В ветвях этого дуба мы детьми готовили уроки. Под шапкой этого дуба, в тени ее, старый кучер Варфоломей Деич Ходыкин ждал, когда выйдут на крыльцо, махнут подавать лошадей... Через зеленый круг смотрю на аллею, по которой приехал. «Графская» зовется она, в память прежнего владельца Кушелева-Безбородко. Был у нас когда-то, в начале семидесятых годов, «эконом» по фамилии Каченовский; он старался перекрестить Графскую аллею в Княжескую, но, как он ни старался, старая аллея своего старого имени не отдала. Она длинная, почти в версту; деревья подстрижены стенкой, и только макушки свисают; живая изгородь, плотно подстриженная, окаймляет дорогу до конца аллей; два белых столба отворяют выход в степной простор. Там солнце садится; горячий луч сквозь всю аллею скользит на середину круга и зажигает яркую герань в флорентинском горшке... По этой аллее за пятьдесят два года сколько приездов и отъездов; кому встреча, кому проводы. Что может быть приятнее гостеприимства в деревне. Послать на станцию, готовить комнату, заказывать обед, угадывать любимое блюдо... Радостно впускают белые воротные столбы, да и выпускают в радости, потому что без тяжести гости уезжают; с крыльца платки машут, и из коляски дамский платок, мужская шляпа; уже тройка маленькая, почти скрылась, а в огненном

пространстве между столбов машет дамский зонтик или поднятая на палку мужская шляпа...

Напротив меня, влево от аллеи — белый флигель, так называемый «молочный дом», не по цвету своему, а потому что в нем когда-то был молочный ледник. Милый флигель, каменный, с высокой крышей; что-то готическое в нем. На заломе крутой крыши петух-флюгер. Под ним четыре буквы, вокруг него четыре страны света, но он подобен флюгерам в стихотворении Алексея Толстого, которые «не знают, в которую сторону им повернуться»,— так тихо в воздухе. Нет ему, петуху, причины куда-нибудь преимущественно смотреть, но он смотрит на запад, через аллею, туда, где солнце садится, где деревня Криуша, откуда всегда дождь; он, вероятно, так остался после последнего дождя... Ниже петуха, под фронтоном крыши большие часы показывают шесть без двух минут. Через зеленый луг к тому дому ведет цементная дорожка сквозь два ряда цветов, сгорающих в прощальной ласке закатного луча. По нарядной дорожке, переливаясь золотом и изумрудом, поколыхивая драгоценным своим хвостом, шествует павлин... Налево, по пути от большого дома к флигелю, наша милая старая кладовая: каменная белая постройка, старомодная, ампирная, с портиком из четырех колонн. Как дорог памяти моей железный визг ее дверей... Часы на «молочном доме» бьют шесть. Жарко на крыльце от стены, приявшей за день бессменный зной немилосердного солнца. Это большое крыльцо под балконом я нарочно построил, чтобы в утренней прохладе кофе пить; но сейчас жарко; пойдем на другую сторону.

В прихожей обнимает прохлада; ставни были заперты весь день; только сейчас их отворили, и под горячим лучом горят кирпичного цвета стены. Дубовая лестница с темно-зеленой дорожкой поднимается и заворачивает в портретную. На стене большая картина Паннини: морская гавань, корабли, башни — тоже закат солнца. С потолка висит медная лампа, лампада, какие в Венеции в соборе Св. Марка. Вот дубовая резная библиотека с двойным окном цельного стекла: в него вид на луг, на огромные дубы, на дальнюю долину, там дальше — на седые ветлы; за ними блестит полоса пруда, и за прудом опять деревья, дальняя опушка парка. Сзади себя на крыльце оста-

вил сухую степь, а здесь зеленый сок лесной... Милая библиотека! В ней три поколения коротали дождливые дни и долгие осенние вечера... Через большую двухсветную гостиную выхожу на каменную террасу — убрана цветами, и уже угадываю по запаху ядовитое присутствие туберозы... Перед террасой стоит в кругу десять исполинов дубов; задумались в прохладе поднимающейся тени; только самые последние листочки на макушках горят от солнца, что осталось с той стороны дома. Под деревьями сиденья — вторая гостиная. Под дубами мы, дети, любили обедать, ужинать. Направо с террасы, в прорехе меж деревьев, видна наша церковь — по ту сторону оврага, верстах в полутора: красивая, ампирная, очень красивая, 1806 года... Здесь тише, чем на той стороне; вечер стал, природа готова к ночи... С шумом крыльев, но без карканья проносится над высокими дубами туча грачей: полетели на дальний водопой... За большими дубами расстилается луг до края двух скрещивающихся оврагов; на краю стоит скамейка, перед ней площадка и цветник, и на пнях две огромные агавы, которые когда-то мать моя привезла маленькими в одном горшке с виллы Волконской в Риме...

В чем прелесть всего этого? Отчего мы так это любим? Много видал я мест прекраснее; и вся страна наша такая неприглядная, и климат сухой, и воды в парке другой нет, кроме двух прудов. Откуда же эта привязанность, корнями существа нашего вросшая в землю, влившаяся в каждое дерево, цветущая в цветах, обнявшая безбрежную однообразность степную? Не знаю, как другие, но отвечу за себя. Для меня это непрерывное творчество. Задумывать, осуществлять, видеть в каждый свой приезд упрочение и рост того, что сделал в прежние годы,— какое нескончаемое удовлетворение. Да, наша местность, как степная, уныла, но вокруг дома старый парк в двести пятьдесят десятин. Когда родители купили именье в 1863 году, все было в запустении; только большие старые деревья радовали глаз, но всюду крапива, лопух, хворост. Теперь все чисто, свежо, нарядно. Не было ни одного хвойного дерева; первые две елки приехали с нами в корзинках на крыше кареты; в 1868 году еще железная дорога доходила только до Тамбова. Привезли две елочки; они были не простые — бальзамические, и мать моя тут же их посадила во дворе направо

и налево от въезда. Они сейчас большие и точат дивно-благовонную смолу...

Мать моя не прекращала сажать, я продолжал. Нелегко ей было; мне было много легче. Во-первых, я работал уже на готовом фоне, во-вторых, в мое время рабочие уже приобрели некоторые навыки уважения по отношению к посадкам. Но как было трудно моей матери начинать! В посадках паслись телята, маленькие елки скашивались косой. Можно сказать, первые десять лет были более воспитательной работой, нежели созидательной. Шевырев сказал, что в «Слове о полку Игореве» выразилась в поэтической форме вековая наша задача — борьба с пустыней. Борьба с пустыней была деятельностью моей матери в Павловке, и, конечно, не одну природную пустыню тут следует понимать, но и ту пустыню, которую люди в природе делают, и ту пустыню, которая в самих людях. Нелегко ей было. Какое-то стихийное надвижение людского непонимания и даже людского издевательства сметало дело рук ее. Она не унывала; но только когда люди увидели результаты, тогда начали они понимать ценность того, чем результаты достигаются. Понемногу наступал период бережной работы. В овраге, возле ручья, я посадил папоротника, такого, которого прежде у нас не водилось; он отлично прижился — косари аккуратно его обходили.

Рощи, целые леса мы развели, и хвойных столько, что вечером иногда пахнет сосной, и уже грибы пошли такие, каких прежде в нашей местности не было. В глубоких оврагах нельзя было пешком пробраться сквозь кусты и цепкий хмель, а теперь в шарабане можно ездить на четверике гуськом или в автомобиле.

Какая красота в парке, где мягкие зеленые дороги вьются по лугам меж раскинутых древесных островов или в прямых архитектурных аллеях. Дубовая аллея — как внутренность готического собора, и в версту длиной. А кленовая — три экипажа могут рядом ехать, деревья сводом сходятся. Вы не можете себе вообразить эти аллеи ночью, и в них кататься в автомобиле с фонарями! Другой мир. Помню, когда приехал ко мне Модест Ильич Чайковский,— он приехал ночью,— я вышел за околицу парка встретить его и, вместо того, чтобы везти его аллеей прямо к дому, свернул после ворот влево, через так называе-

мый «сергиевский парк», в овраг. Дном оврага выехали в лощину, мимо седых ветел, мимо блестевшего в луне пруда и — в аллеи: в одну, в другую, в третью, в дубовую, в кленовую, в березовую, в малую дубовую, в малую кленовую, в «новую»... Как архитектурность аллеи выигрывает, как она определенно вырисовывается под движущимся светом фонаря, который озаряет лиственный свод впереди и сейчас же отдает его мраку назад, из мрака вырывает и в мрак перебрасывает. Волшебство непередаваемо, и удивительность этого первого впечатления неповторима. Так Модест Ильич и остался в уверенности, что в час приезда своего он видел такие места, которых впоследствии не мог найти...

Парк интересный в древесном отношении; одних хвойных пород больше двадцати. За последние тридцать лет мы перекинули лесонасаждения уже за пределы парка. В голой степи пошли рощи — и лиственные, и хвойные; переход из степи к парку стал постепенным; кто долго не был в Павловке, не узнает местности: то была голь, а то перелески, острова.

Одно место мы особенно любили — Степкину вершину. По обе стороны крутого оврага вспахано и засеяно лесом; уже лес совсем большой. Овраг рогатистый, с мысами, и чем дальше от его вершины идешь к устью, тем все шире и глубже, а в конце, за последним мысом, вдруг блеснет гладь пруда; над ней, закинув шею на спину, выставив длинный клюв свой, пролетает цапля. Еще голубые, как бирюза, сивоворонки летают с одного берега на другой и дерутся в воздухе с желто-черными иволгами. Лисицы, когда проезжает автомобиль, выходят на опушку поглазеть, вильнуть хвостом и юркнуть обратно в чащу... Степкина вершина от парка в двух верстах, но отсюда с высокого места видно далеко. Виден в долине ближний хутор Владимирский; дальше Мариинский, когда-то на пустом месте, а сейчас в рощах утопающий. За ним дальний лес тянется до горизонта. За лесом в очень яркую, жаркую погоду видны туманные очертания города Борисоглебска... Лес — старый, строевой, в котором Петр Великий строил свой азовский флот и спускал по Вороне в Хопер и Доном к морю. Лес и

посейчас называется Талерманская роща, от голландского слова «тиммерман» (плотник).

В детстве мы любили в лес ездить. Это не были пикники, это бывали переселения народов. В трех, четырех экипажах, а мы, старшие, с матерью верхом. Не доезжая леса, на сахарном заводе жила семья директора Островского; их было детей человек шесть, семь; забирали их. А сколько гувернанток, нянек, гувернеров, помощников управляющих, студентов, на побывку приезжавших... В лесу гулянье, игры; по Вороне катанье, в Вороне купанье, рыбная ловля; ужин, самовар, костры... И обратный путь под звездным небом... Теперь Ворона пересыхает; есть места, где можно вброд переехать; и с каждым годом все мельче... Есть места, где была река, а теперь подсолнух сидит и высасывает последние остатки влаги. Леса рубят, вода мелеет.

Да, пятьдесят лет любовного отношения к дереву не заразили местных крестьян; у них не только нелюбовь, у них ненависть к дереву. Если бы вы только видели жестокость, с какою обращаются крестьяне с деревьями. Прелестные молодые рябины, растущие пятью, шестью стволами из одного корня, всеми шестью стволами звездою на земле лежат: мальчики доставали ягоды. Подумайте только, если у вас есть сколько-нибудь склонности к философскому мышлению, подумайте, что это такое — из-за любви к последствию уничтожить причину... Крестьянин смотрит на дерево как на материал; его тень, его прохлада, а тем паче его краса ему не нужны. Он не сознает даже того, что рост дерева есть своего рода капитал и что как капитал начинается с копейки, так мачтовое дерево начинается с посаженного прутика. Крестьянин не понимает того, что в хозяйстве называется «рентабельность». Риск в хозяйстве ему чужд, и все имеет цену лишь с точки зрения единовременной наживы. Единовременность — вот гнусный и пагубный принцип крестьянского хозяйства, а следовательно, и хозяйственной жизни всей крестьянской России. Ничто не зиждется на прошлом, ни в чем нет расчета на будущее; посев — дальше не видит хозяйское око крестьянина...

Со Степкиной красиво домой возвращаться. Дорога идет по высокому, сзади остался молодой лес, а впереди развернулся во всю длину зелено-темный парк — как море дубовых макушек... Проезжаем мимо кладбища, которое я обсадил деревьями, а налево гумно, тоже обсаженное; островки древесные готовят к въезду в парк. Вот пошли постройки, амбары, мастерские, машины, молотилки, веялки, жнейки... Какая школа людская все это. Сколько за пятьдесят лет выпущено слесарей, машинистов, столяров, шорников, садовников, приказчиков, конторщиков, бухгалтеров... Об одном расскажу.

Раз захожу в контору нашего Мариинского хутора. Сидит за конторской книгой молодой парень; я невольно нагнулся — меня поразил почерк. «Ты писал?» — «Я писал». Стал его расспрашивать; он так мне стал рассказывать все приемы счетоводства, как будто это для него праздник. После того он поступил к брату моему в Саратовскую губернию. Года через два получаю в Италии письмо от Гаврилы Позднякова (так его звали) из какого-то захолустья в Польше; он на военной службе и просит, нельзя ли похлопотать, чтобы его перевели в Петербург — ему страстно хочется учиться. Пишу брату Александру, который служил в Главном штабе. Отвечает, что такие переводы невозможны. Проходит месяца три, получаю письмо от Позднякова из Петербурга: переведен в Главный штаб за почерк; просит помочь ему деньгами, чтобы поступить на бухгалтерские курсы. Прошу того же брата это для меня сделать. Через два года радостное письмо: курс кончил, имеет хорошее место на Николаевской дороге и даже просит разрешения вернуть мне деньги... Быстро пошел в гору. Одно время был заведующим конторой винных складов графа Воронцова-Дашкова. Во время войны был взят в канцелярию Главного штаба. Здесь аккуратностью и деловитостью своей настолько выдвинулся, что откомандирован в личное распоряжение военного министра, и Поливанов говорил, что он спокоен, когда Поздняков у него в кабинете. Благодаря своим бухгалтерским знаниям он изобрел способ, которым мог в три минуты времени доставить сведения о любом солдате русской армии. На третий год войны он приезжал домой, в село Криушу, и заходил ко мне. Он даже — о ирония судьбы! — сдал мне свой сундук на хранение; к сча-

стью, он вовремя его убрал. Последнее письмо от него имел в 1918 году из Бердянска... И сколько людей, пройдя через нашу контору или наши мастерские, увидали свет. А учиться начали в нашей усадебной школе, где первой учительницей была основательница ее, моя мать...

Едем дальше. Всегда, куда ни подъезжаете, есть последний поворот; огибаем домик священника; вот наша красивая церковь на большом выгоне, окруженном саженым лесом. Вот пошли направо конюшня, водокачка, скотный двор, налево — разгонная конюшня, людская. Все это широко, раскидисто. Вот ворота, другие ворота; въезжаем в аллею — другую аллею: в четыре ряда елки; стрижено, архитектурно. Выезжаем на спуске к плотине: налево пруд, и в пруду отражается белый флигель, «молочный дом». Он красив отсюда в зелени, но и оттуда красиво сюда смотреть, на эту сторону. Из окон моей спальни во втором этаже особенно красиво. Прежде здесь была пустыня, от которой хотелось отгородиться, а теперь красивые луга, окаймленные волнистыми линиями лесной опушки. Эту часть мы называем Александровский парк. Из окон спальни смотрю в бинокль на мною созданный пейзаж. Другая страна. Это ли тамбовская степь? Волнистая местность, дубняк, березняк, ельник; и среди рощ возделанные нивы. В бинокль вижу, смотря по времени года,— покорно-длинные вереницы подъяремных волов, трескучее подпрыгивание сеялки, пестрый цветник платков и сарафанов во время полки и крылатое вращенье жнейки, снимающей плоды предшествовавших трудов. Все это на фоне зеленых рощ, перед горизонтом из древесных макушек, я вижу из окна, из которого двадцать лет тому назад был виден пустырь и за ним степная голь... Вот то творчество, которое привязывает к месту. Как часто меня спрашивали: «Вы любите сельское хозяйство?» — «Нет». — «Вы любите охоту?» — «Нет». — «Что же вы в деревне делаете?» Уверяю вас, что мой день очень наполнен.

А мой дом, мой белый флигель, наш милый «молочный дом»! Такой несуразный, выкроенный из старого, но такой занятный. Моя спальня наверху; весь верх, в память детства, в память Фалля, разделан

под готику тридцатых годов; там все под стать, немножко сухо и очень уютно. Главная комната, та, где балкон, та, над окнами которой башенные часы,— это «николаевская», с портретом Николая I, с портретами и бюстами прадедов. Никто не скажет, что устроено,— всякий подумает, что так перешло в наследство; прабабка спросила бы: «Где моя работа? Я вчера ее здесь оставила». К этой комнате ведет коридор, «сибирский коридор». Тут воспоминания о декабристах: портреты, виды, документы, вещи, бывшие в Сибири. Поучительно; все это говорит, рассказывает: Благодатский рудник, Чита, Петровский завод, Ангара, Амур, виды казематов, дед мой и бабушка в своей камере № 54. Повесть страдания и терпения, высоты и смирения... Все это собрано, развешано в коридорчике, освещенном сверху через солнечное слуховое окно. Все это свежо, бело, только готические стеклянные двери просвечивают пестрыми пятнами средь этой белизны. Как мало кто знает это. Как мало вообще у нас интересуются. Ни разу ни одна школа из города не подумала совершить экскурсию. Ну как же не показать учащимся такой «сибирский музей», не говоря о парке, о деревьях, сельскохозяйственных орудиях и пр. Ну как не дать им прожить два дня среди природы, набрать цветов, наловить насекомых, на сене ночевать... Нет, несчастных детей водили в июле месяце смотреть железнодорожные мастерские!.. А все классовая рознь, через которую не умеют люди душой перешагнуть.

В нижнем этаже совсем неожиданная комната. Бывший ледник и погреб я превратил в зал. Из коридора пробита арка. Схóдите двумя ступеньками на платформу, с которой две лестницы сходят вниз, а направо и налево расходится галерея. Архитектурный план напоминает бассейн для плаванья, а кругом за колоннами ход. Внизу, кругом всей комнаты, полки с книгами и устроена гостиная, мягкая, уютная. Галерея за колоннами огибает весь зал; напротив входной арки, на том конце зала, огромное окно на юг и из него вид на другую, лесную сторону оврага, на Александровский парк, и из деревьев выглядывает белая колокольня церкви. Потолка нет, стропила наружу, как в старых итальянских церквах; от середины крыши до полу десять с половиной аршин. На правой длинной стене два окна на запад; красиво,

когда косой луч падает в нижнюю часть зала и под ним красным жаром на круглом столе пылает букет пионов; гостеприимно, когда на том конце зала, под большим окном, на крытом скатертью столе дымится самовар... Эта комната — как гостиная-библиотека, устроенная в трапезной какого-нибудь итальянского монастыря. Из двух боковых окон должен быть вид на итальянский дворик и на итальянский сад — когда они будут, если будут...

В этой зале мы устроили на второй год войны елку для всех служащих. Елка в восемь аршин стояла внизу, подвязанная к стропилу; между колоннами висели доморощенные, в кузнице сделанные люстры. Было чтенье, было пение, были подарки, было веселье... Перед тем за десять дней в той же зале была католическая обедня для пленных; сто двадцать человек пленных стояло внизу, в галерее за колоннами стояли наши «чины и власти». О военнопленных следовало бы мне рассказать, но это составляет такую особенность военного, предреволюционного и революционного времени, что в этих строках, повествующих о деревенском «мирном житии», не место говорить о них. Будет случай...

Я никогда не любил хозяйства; меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня. О, эти поездки по хуторам с управляющим. Как я скучал! В жару на дрогах мы ехали. И все, что говорили отец с управляющим, так меня не интересовало и было так далеко от того, что меня интересовало. Говорят о хлебах, о севооборотах, о сдаточных ценах, а я еду, смотрю на поле и любуюсь васильками и даже хлебным врагом — красным куколем. Я восторгаюсь развесистым дубом, а тут говорят о поделках, о распилке. Я не слушаю, что там за моей спиной, на другой стороне старшие говорят, а смотрю перед собой на бесконечные волны бесконечного оржаного поля. Жарко; над лошадьми овода... Истома ложится на природу, обнимает и меня. Очень меня занимает под хвостом у пристяжной потная шлея. Лошадь вальком задевает за рожь, и из спелых колосьев высыпаются зерна на подножку эки-

пажа. Смотрю себе в ноги: подпрыгивают оржаные зернышки. Они хитрые, они обманули человека; он их хотел взять, смолоть, а они с подножки на землю спрыгнут и дадут ростки. Я слежу за ними, глаз мой их провожает до того мгновенья, когда они прикоснутся к земле. Эта пляска зернышек меня интересует больше всяких хозяйственных разговоров... Но вот приехали на хутор, подъехали к конторе. О, эти заезды в конторы! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии «Нивы» по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце... Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей... Все это я вижу, слышу, но не смотрю, не слушаю. А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево, картинка, которую столяр вставил в рамку... Так с детства жизнь делилась на нужное, несносное, и на ненужное, приятное. С детства ощущал враждебную встречу Красоты и Пользы. И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересует. Тут встает и другой вопрос, который между прочим формулировал Шиллер. Он сказал, что о вкусах человека надо судить не по работе его, а по досугам. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые ему позволяют слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя.

Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня такое было ощущенье, что моя обязанность, мое призвание сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть «культурная ценность».

С крестьянами отношения хорошие. С конторой, с приказчиками, с управляющими они тягаются, но со мной всегда вежливы. В воскресенье утром у меня на крыльце своего рода приемный день. Тот просит «скостить», тот просит «отпустить», у того корова «похарчилась», тому соломки на крышу, тому хво-

росту на плетень, кирпичей на печку... Трудно иногда бывало разобраться в справедливости и искренности; священник в этих случаях был верным советчиком. Трудно и потому еще, что не нравится снисходительность владельца управляющим: это уменьшает доходность. Но я им говорю: «Ведь вы ставите благотворительность на приход; так о чем же разговаривать?» Есть и такие, что приходят просто посоветоваться, как быть в том или ином случае: дележ, приписка к обществу — вопросы, от которых я далек, но всегда ценил доверие. Особенные случаи воспитания, болезни приводили их ко мне. Одного слепого я взял в Петербург, поместил в приют, из него вышел певчий, и он плел корзины, делал щетки. За это я стал популярен среди слепых. У нас в округе их было довольно много, и, странно, они все на протяжении пяти, шести волостей знали друг друга. Один из них мне сказал, смеясь: «Слепой слепого издалеча видит». В семье Волосковых в деревне Павловке было два брата слепых; третий, зрячий, Егор, служил у нас в доме; редкой преданности человек; он пошел на войну и попал в австрийский плен. Через год вести о нем прекратились. Сколько раз старуха мать приходила просить: «Ну еще разок попытайся написать...»

У меня была целая переписка и с Красным Крестом, и с каким-то учреждением в Женеве. И не дай Бог, когда удастся известье получить,— тогда посыпятся просьбы. Даже из Саратовской губернии получал прошения разыскать такого-то. Какая удивительная сила обобщения живет в безнадежности: один удачный случай пробуждает тысячи надежд... Милого Егора Волоскова, приветливого, сияющего, будут помнить все, кто жил в моем доме.

И еще будем мы помнить Ивана Меньшикова села Посевкина. Был убит на войне. Он был сторожем моего маленького дома в Борисоглебске, и когда в годы войны я там устроил лазарет, он стал наблюдателем, курьером и пр. Какой прелестный человек. Как раненые его любили...

Был еще один Меньшиков в Посевкине, Егор. Он с ранней юности своей работал у нас в саду, с любовью относился к каждой своей работе, прямо, когда исполнял физическую работу, приходил в какое-то вдохновенное состояние. Раз пошел с ним в дальнюю часть парка, которую мы прозвали «Кавказ», потому

что там обрывистый овраг; со стороны степи я посадил лес, а дно оврага в некоторых местах приоткрыл. Таким образом, благодаря тому, что ровной степи не видать, можно подумать, что стоишь не на краю оврага, а на какой-то вершине. Там на одной лужайке среди сорной травы и мелкого кустарника я открыл прелестный дубок. Захотелось его высвободить. Пошли с Егоркой.

— Вот, Егорка, эту всю грязь вокруг дубочка мне скоси. Только смотри дубочка не смахни.

— Ну, нешто!..

Зашел с того краю, поплевал в ладони, начал косить. Что ни взмах, то чистый полукруг перед Егоркой раскрывается. Валятся сорные травы и мелкие кусты, ложатся кучками влево от него. Он входит в упоение, в ярость: гортанным дыханьем отмечает каждый взмах — «Раз! Раз!» Я стою против него, у другого края сорного места. Уже сзади дубочка все чисто. Вдруг взмах, и после гортанного «Раз!» — крик, в котором и ужас, и отчаянье, и раскаяние. Он замер. Мы смотрели друг на друга, развели руками... Однако дубочек не посмотрел на дело так трагично, как мы; он пошел от корня двумя ростками; я срезал один, оставив более сильный. Теперь он вдвое выше роста человеческого.

Егорка боготворил память моей матери. Он впоследствии был разъеден страшною болезнью. В последний раз, что он приходил, на него было жутко смотреть. Трудно было понимать его слова; но в гнусавых звуках, выходивших из того, что было остатком его лица, я разобрал, что каждый день он приказывает детям молиться за покойную княгиню...

И еще одного Меньшикова помню, тоже из Посевкина,— там было много представителей этого знатного имени. Было это на второй год войны. Приходит,— в ноги. За пятьдесят лет не могли отучиться. Впрочем, только те так делали, кто в первый раз приходил. Спрашиваю, чего ему. Забирают, а он вдовый и пять человек детей, ни матери, ни тещи, — кому их денет?

— Пришел к вам попросить письма.

— К кому?

— А там из Питера приехал набор производить Князь Великий.

А я слышал уже, кто приехал набор производить.

— Нет, говорю, не Князь Великий, а князь Енгалычев.

— Вы с ним знакомы?

— Знаком.

— Ну вот, к нему письмо пожалуйте.

— Слушай, ты мне веришь?

— А то.

— Ну так я тебе скажу, что письмо мое тебе нисколько не поможет. Когда набор?

— В воскресенье в Алабухи являться.

— Ну вот, забери ты всех пятерых своих детей, погрузи на телегу и так и поезжай в Алабухи и со всеми детьми прямо вали в воинское присутствие.

— Так ведь маленький и ходить-то не умеет.

— На руки возьми.

— Ну спасибо за совет.

Так он и сделал. Освободили.

Итак, по воскресеньям приходили крестьяне. Я к ним подходил вплотную. Тех, кто не знал меня, это, по-видимому, удивляло. Я заметил, что это удивленье, в свою очередь, создавало с их стороны новое средостение, но скоро оно пропадало. Отношение было хорошее; какое-то я чувствовал всегда с их стороны снисхожденье; они как будто прощали мне мои преимущества. А может быть, и этого даже не было, а просто в их глазах я был чудак. Трудно переселиться в чужую оценку, то есть в психологию, руководящую чужой оценкой... Одна баба сказала знакомой помещице, что ко мне крестьяне хорошо относятся, потому что я бедных «презираю». Конечно, я делал что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь.

Да, помещичья помощь крестьянину — это палка об одном конце, если можно так выразиться. Или скажем так: побуждение — одно, а результат — другое. С одной стороны, желание добра, а там — ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел такое ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение вещей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение, никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только — получить, он не понимает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенни-

чества. Губительный принцип единовременного пособия въелся в крестьянина, сидит глубоко. Мошенничество — один из видов единовременности, и мошенничество для него — условие хозяйства. За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой. Какой разумный, правдивый мужик Алексей Давыдов села Посевкина. Он каждый год берет у меня в долг, каждый год больше, всегда возвращает «на Николу». Завел себе скотину, инвентарь, по моему совету покрыл крышу цементной черепицей. Он каждый год веселеет. А все остальное — бездонная яма, один непробудный отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего моря. И всегда чувствовалось, что когда-нибудь прорвется. Но не чувствовал я, что когда прорвется, то им станет лучше, а еще меньше — что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее...

Когда я в таких мыслях, я ухожу в дальний угол парка. То есть все далеко, когда двести пятьдесят десятин, но говорю — дальний, потому что самый отдаленный от всякого жилья; ни служащему туда не за чем, ни рабочему туда путь не лежит. Это самая вершина одного из наших оврагов, называется Чумакова вершина. Это западная часть парка, еще молодая, так что при вечернем солнце еще залита горячим светом. Овраг в вершине рогатится надвое, со всех сторон мысы. Склоны их я обсадил елями, а на главном мысу, разделяющем два главных оврага, я посадил большой сибирский кедр. Он могуч, он виден издалека, его зелень бархатна, он царствует посреди елок. Туда люблю я уходить, когда разум мой предвидит, а душа предпочитает не знать.

Елки на склонах стоят вертикальные; четко ложатся их тени; они рассажены этажами, так что хорошо вырисовывается разной высотой их макушек волнообразие почвы. Здесь прижился большой заяц; всегда откуда-нибудь выскочит. Но это все, больше ничего живого; разве пушистый шмель над красно-бархатным клевером покружится, сядет, торопливо пососет и, оторвавшись от выпитого цветка, жужжливо негодуя, перелетит на другой...

Сколько у нас полевых цветов, и каких разнообразных! Вот розовые лепестки эспарцета, как составленные из мелкого горошка; а вот и прямо горошек, темно-красный, с завивающимися усиками. Какое разнообразие дикой гвоздики; есть маленькая красная, а то большая белая, перистая. Там длинные метелки желтой кашки, нежно-белые метелки того, что французы зовут «царица лугов». Выскакивает крепкий, как золотая елка, Соломонов скипетр. А колокольчиков сколько видов — и обыкновенный, и елкой, точно игрушка, увешанная китайскими позвонцами, и крупный, огромный, с жирными белыми тычинками в раскрытых губах крепкого синего цветка. И, наконец, нигде не виданный мною колокольчик, такой темный, что почти черный; по латыни называется Fritilaria Meleagris. А еще милая наша Clematis integrifolia — из четырех крепких сине-лиловых лепестков звезда, и посредине пучок белых тычинок; пахнет будто одеколоном; много его в клумбы пересадил. В мае сколько темно-лиловых ирисов! Синий усоп, как мягкий хвост, качается под ветром; к кустам прижимается желтая арника, и в дубравной тени, на тонком стебельке, красная, горит наша дикая вербена — «барская спесь», или «жгучая любовь»... А цветущие кустарники! Низкорослый бобовник, который цветет цветом абрикоса; приветливый шиповник; бересклет, к осени обсыпанный розовыми чашечками, из которых семена висят черными сережками; из них мы, дети, делали нашей няне Амалии Антоновне серьги. Белая акация, которой ни одной не было, а теперь леса. А вишни весной «как молоком облитые». Празднества, не краски, празднества, не запахи. Сколько таких празднеств от ранней весны, когда склоны оврагов голубели под голубыми подснежниками

«И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий»,

до поздней осени, когда, в предсмертной роскоши листвы, золотом блестит береза, клен пылает красным пламенем, лиловой темной кровью горит угрюмый вяз, коралловыми пятнами смеется бересклет. Сколько лиственных букетов под косым лучом горело осенью в итальянской зале на том столе, где весной пылали пионы!..

Да, наша флора очень замечательна и малоизвест-

на. Однажды, в начале семидесятых годов это было, мы с матерью посетили в Москве какую-то художественную школу. Нам показали среди прочих ученических работ «орнаменты на мотивы из русской флоры». Какое убожество! — ромашка, незабудки, мак, овес... Приехав в Павловку, мать моя стала зарисовывать цветы. У меня сохранился, случайно сохранился этот прелестный сборник; думал когда-нибудь его издать. Вместо обложки думал воспроизвести ее же рисунок: обливной посуды горшок, купленный на базаре в селе Алабухах в один из вторников, и в нем большой пучок ковыля. Волнистым колыханьем ковыля серебрятся в мае месяце поляны нашего парка...

Прохожу меж юных елок. Приветливо встречают деревца; у них нет различья в настроении, как у людей; у них бывают несчастья, болезни, но у них не бывает нервов. Они всегда приветливы. Люблю подходить к маленьким елкам, к таким, которых макушку можно еще тронуть... И всегда что-то приветливо прощальное я чувствую в этом западном углу нашего парка, в этой далекой Чумаковой вершине. Обхожу деревца, вижу, как будет через тридцать лет... Я нарочно посадил здесь так много елок, дабы

«...над ельником, из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков».

Обхожу деревца, снимаю повитель... Имею ли я право так любить все это и так глубоко всем этим наслаждаться? А на любовь разве есть право? Нет, на любовь не может быть *права,* на нее может быть только чужая зависть. Но зависть не дает ее тому, кто ее не имеет, и зависть ее не отнимет у того, у кого она есть...

В лощине я посадил несколько тополей; подрезаю, чтобы стрельчатее росли. Тут же посадил голубой ветельки; смотрю: принялась. Вон елочка вздумала разукрасить себя зелеными шишечками; в эти годы? Какая неосторожность; надо сорвать их — зачем деревцу истощать себя?.. Кедр великолепен. Устоит ли? Жарко, сухо здесь; иногда поливать приходится, а пруд далеко. Он выше всех, и молодой лес вокруг него не защита ему; легко может бурей его сломать. Он был подвязан на три стороны проволокой к столбикам — проволоку украли; подвязал веревкой — веревку украли; подвязал мочалкой — мочалку украли...

Солнце село. Иду вдоль оврага домой. Овраг налево все глубже становится, все сумрачней; большие дубы, со склонов и со дна поднимающиеся, все выше. Туда, вниз, не хочется: там сыро, там уже темно, там пахнет грачом. Здесь, наверху, сухо, здесь еще светло, здесь пахнет медом и сеном... Парк теряет дикости своей; все глаже причесаны лужайки, кусты; дорога, зеленая, мягкая, стала крепкая, кирпичом убитая. Вот стриженая изгородь к дому, вот цветники и вот крыльцо: плитки в шашку, удобные плетеные кресла...

Тишина. Уже кончили поливать. Аллея погасла, и потухла горячая герань на середине круга в флорентинском горшке. Жарко. Сухо...

— Мария Гавриловна!

Старушка экономка только что заперла визгливую железную дверь кладовой и валкой своей хлопотливой походкой направлялась к кухне.

— Можно простокваши?

— Сию минуту.

И сколько раз, когда мне подавали вкусную холодную простоквашу, я думал: «А может быть, это последний раз...» Но нет, не последний... «Но будет когда-нибудь последний», — всегда доканчивал я... И был последний, был.

Я вижу, что весь свой рассказ я вел в настоящем времени. Простите и поправьте. Везде, где стоит «есть», поставьте «было, было, было». И знайте, что из всего, что я описывал, сохранилась у меня только — и сейчас, пока пишу эти строки, она лежит передо мной — кедровая шишка от кедра, что остался там, на Чумаковой вершине...

Гимназия и университет. Об образовании и среде. «Интеллигенция». Министерство народного просвещения. Восьмидесятые годы

IV Ларинская гимназия была на 6-й линии Васильевского острова; мы жили на 4-й, в прелестном особняке (тогда № 17) с садом, с чудной верандой.

Экзамены — самая прелестная пора тех времен:

«Любовь земли и прелесть года,
Весна благоухала нам».

Готовились мы к экзаменам гурьбой, с товарищами, на веранде. Сирень кругом. День кончался, но ночь не надвигалась, стояла белая... Складывали книги, гурьбой бежали к Тучкову мосту и — в яликах на острова.

Петербургское взморье!.. Как мягко, низко земля подползает под воду; стелется белый песок под светлую струю, а светлая вода струйкой набегает, едва смачивает белый песок. Колючие высятся очертания резких елей. Тихий плеск воды, и в нем передержки соловья. На белом небе — звезда, тоже белая, влажная, как слеза... И вкусны же после зубрежа колбаса, и сыр, и «трехгорное пиво»! Скользим по глади; с весел капельки струятся. Кроме наших голосов только соловьиный щелк. И дивен темный лес, «неведомый лучам в тумане спрятанного солнца»...

Я больше обязан гимназии, чем университету, и в смысле приобретенных знаний, и даже в смысле методов мышления. Что самое важное в преподавании? Скажут: уметь научить. А я думаю, что преподаватель меньше всего учитель; он, прежде всего, пробудитель. Трех человек я должен помянуть благодарностью именно как пробудителей.

Виктор Петрович Острогорский был преподавателем русского языка и литературы. Это был типический шестидесятник со всей присущей шестидесятникам прелестью и со всей несносной узостью и теоретичностью их идеализма. Большая струя гражданской скорби и горькая капля сарказма. Это на кафедре проявлялось в очень сдержанной форме, но кто только умел слушать, видел между строк мысль его и под вицмундиром его душу. Несмотря на то, что многое в его подходах было не по мне, он был мне ценен; я не следовал за ним в ту дверь, в которую он меня приглашал, но он своей критикой помогал мне осознавать ту дверь, в которую меня тянуло. Литературные направления, литературно-художественные формы, вопросы соотношения формы и содержания, этики и эстетики — все это умел он затронуть, как садовник рыхлит землю вокруг корней. «Мысль, однажды пробужденная — сказал Карлайль, — уже никогда не заснет». Вот за что я благодарен Виктору Петровичу: не за то, что он указал мне мой путь, а за то, что указал на

существование путей. Он был мягкий, добродушный преподаватель; иногда бывал выпивши и тогда бывал особенно саркастичен. Фактической стороной преподавания он сильно пренебрегал; уроков ему не готовили, сочинения «жилили». Одно неподанное сочинение о Жуковском долго тяготило нашу совесть, и все мы боялись, что вдруг он вспомнит о нем. Однажды он по записной книжке делал обзор всего пройденного — и вдруг:

— А что, о Жуковском подавали?

— Подавали, как же, подавали.

— Да, тоже очень поверхностно было написано.

Чего же поверхностнее, подумали мы, и у всех отлегло от души. Через двадцать два года, когда я был директором императорских театров и пригласил его на какое-то заседание, за чаем я рассказал ему этот случай; он заливался смехом и захлебывался от удовольствия.

Преподаватель латинского языка Владыков был фанатик грамматики. Не скажу, чтобы ему я был обязан любовью к античному миру; не скажу, чтобы он воспламенил меня к поэтам древности; но он зажег меня уважением к грамматической точности; и поскольку грамматика есть ближайшее соприкосновение словесной формы с мыслительным содержанием, я обязан ему сознательностью своего словесно-мыслительного аппарата. Он был сух, невозмутим, говорил правила латинской грамматики скороговоркой, требовал такой же сухости и быстроты в ответах и за малейшую неточность ставил единицу. Очень горжусь тем, что у меня была в восьмом классе тетрадка латинских переводов, в которой была только одна четверка, остальные все пятерки.

Его сухость оказалась болезненной; злейшая чахотка свела его в могилу меньше чем в три месяца. Я навестил его в больнице. Он не знал о своем конце; с лихорадочным увлеченьем развивал он принципы той латинской грамматики, которую собирался издать, и замогильным голосом, с пламенным взором говорил о герундиве при глаголах utor, fruor, fungor, potior и vescor...

Третий преподаватель, о котором вспоминаю с признательностью, — Владимир Иванович Белозеров, учитель истории. Он готовил нас с братом в гимназию, и мы полгода просидели на греческой мифологии. У ме-

ня была тетрадка, где были записаны генеалогические дерева богов и героев. Все это жило эпитетами, сравнениями и было проникнуто настоящим классическим дуновением. Это, в сущности, было единственно классическое, что мне дала классическая гимназия; этим зажили мои детские воспоминания флорентинских музеев, мои первые впечатления итальянского Возрождения. Особую признательность сохраняю ему за то, что он показал мне форму конспектов, по которой все главные деления пишутся по левой стороне страницы, а все подразделения заполняют правую сторону — чем мельче, тем правее. До известной степени ему обязано мое мышление своей геометрической складкой. О, как мало ценится геометрия в кругу гуманитарных дисциплин. Как вообще мало подчеркивается связь разных дисциплин. Сколько логики в геометрии, сколько геометрии в логике. А декламация — какая дивная звуковая геометрия, когда знать ее законы...

Вот три человека, которых могу помянуть. Все остальное была вицмундирная рутина.

Было и у нас, конечно, комическое козлище — в лице преподавателя немецкого языка Карла Карловича Ольшевского, которого, когда он входил в класс, встречали трубным гласом и барабанным боем кулаков по столу. Он любил, чтобы его чествовали, и как фельдмаршал перед фронтом проходил на кафедру. Он был совсем глупый человек; иногда трудно было понять, чего он требует. Вызовет кого-нибудь: «Скажите предлоги с родительным падежом». Ученик говорит без запинки это бессмысленное чередование предлогов, положенное в стихи: «diesseits, jenseits, halber, wegen». Ольшевский слушает, на его лице читается разочарование: «Wie eine Mühle, wie eine Mühle!»* Иногда он говорил:

— Возьмите тетрадки, что-нибудь пишите. Думайте по-русски, пишите по-немецки.

— Позвольте, Карл Карлович, лучше думать по-немецки, а писать по-русски... Или тогда уж лучше сами нам продиктуйте, а мы переведем.

— Ну хорошо. Возьмите тетрадки. Пишите: моя сестра любит жениться.

Он, как видите, по-русски плохо знал и прибегал к нашей помощи, когда ему надо было разобрать письмо.

* «Как мельница, как мельница!» *(нем.)*.

Один бывший сослуживец по Сибири, где он прежде служил, писал ему оттуда; завидовал Карлу Карловичу, живущему в столице, «в водовороте событий, а мы здесь, несчастные, толчем воду в политической ступе». Очень, после того как он ее понял, очень Карлу Карловичу понравилась эта метафора...

Я сказал, что университет дал мне меньше гимназии. Это надо, конечно, понимать относительно; то есть если сравню то, каким я поступил в гимназию и каким я из нее вышел, с тем, каким я вошел в университет и из него вышел, то на стороне гимназии будет несравненно значительнейший плюс. По окончании гимназии я написал профессору Александру Николаевичу Веселовскому, у которого намеревался заниматься, прося его посоветовать мне, что мне прочитать, вообще, как подготовиться к слушанию его лекций; меня в особенности влекло к романской литературе. Но письмо мое осталось без ответа. Не знаю, как объяснить, что этот очаровательный человек, столь отзывчивый, так близко к студентам подходивший, не откликнулся на мой запрос; но это повлияло на все мое прохождение через университет; уже никогда я не сумел подойти ни к одному профессору. Интересы мои навсегда остались вне университета; университет стал какой-то повинностью, которую надо было отбыть и сбыть. И я отбывал ее, и без всякого внутреннего влечения. Ведь надо же университет пройти, надо кандидатом кончить. Последнее тоже мне не представлялось под видом внутренней необходимости, а вставало постулатом родительского требования. Отец мой, сам окончивший только иркутскую гимназию и через университет не прошедший, — то не его вина была: он просился, но когда Николаю I доложили просьбу сына ссыльно-каторжного, он сказал: «Будет с него и гимназии», — так, мой отец, сам в университете не бывший, был бы в отчаянии, если бы кто-нибудь из его сыновей-студентов не кончил кандидатом. Я работал для удовлетворения его желания, но до сих пор иногда вижу во сне, что мне осталось держать последний университетский экзамен; кошмар сгущается, и когда обступает меня ужас бесцельного усилия и неискренность в удовлетворении предрассудка ради сыновнего послушания, вдруг во сне я вспоминаю, что отца

уже нет в живых, что я его уже огорчить не могу, — плюю на экзамен, облегченно вздыхаю и — просыпаюсь...

Александр Николаевич Веселовский был живой, горячий человек. Высокий лоб, вокруг головы стоящие курчавые черные волосы, круглые навыкате глаза, толстые красные губы, которые как-то удивительно приятно, мягко, я бы сказал: вкусно говорили. Он читал нам языки испанский, итальянский, провансальский. Но ни он, да и никто из профессоров-филологов не умел заинтересовать предметом. Они все выносили на кафедру то, что лежало у них на письменном столе. Все суживалось, не было больших линий. Я уже не говорю о таких филологических крысах, как профессор греческого Люгебиль, который сидел на своей излюбленной «дигамме» и даже откопал, что ранее этой исчезнувшей буквы была в греческом алфавите еще другая; но даже такие светила, как Ягич, Ламанский, по славянским языкам, не сумели меня завлечь.

Таких профессоров, которые задавались художественно-ораторскими целями, могу мало назвать. Сухомлинов, по русской литературе, читал приятно, но это не было глубоко. Большим ораторским успехом пользовался Орест Миллер — читал о славянском эпосе, также по русской литературе. Маленький, горбатый, в очках, с большим оголенным лбом и большой черной бородой, — его звали Черномор. Он был немножко смешон на кафедре, которая его закрывала; всегда в полуобороте, с грозно сдвинутыми бровями, он сильно подчеркивал слова, которые хотел выделить, и иногда ударял по кафедре кулачком. Молодежь его любила, но и он заискивал перед ней. Это, впрочем, была общая тогдашняя повадка. Такие светила, как, например, Градовский, по государственному праву, которого я иногда ходил слушать на юридический факультет, всегда пригадывал кончить лекцию под рукоплескания и, выходя из аудитории, проходя коридором, оборачивался и раскланивался; с каждым поклоном рукоплескания вскипали.

То было неприятное время. В университет нахлынула волна политических брожений, и профессора этому не препятствовали, многие даже поощряли. Это был 1880/81 учебный год. Он прошел в нескончаемых волнениях, в непрекращавшихся сходках. Во второй половине этого года разразилось 1 марта, убийство

Александра II, самое отвратительное из всех политических убийств. В университете царило какое-то звериное настроение. Положение людей нашего круга было тяжело, а наше с братом положение осложнялось еще тем, что отец был товарищем министра народного просвещения. Сколько косых взглядов... Как странно, что именно те люди, которые проповедуют равенство, они-то больше всего против равенства грешат.. Помню, был у меня товарищ, Крыжановский, всклокоченный, в косоворотке. Он занимался изданием литографированных записок по лекциям Ягича и Ламанского. Я обыкновенно брал при раздаче и за себя, и за своего товарища Николая Струве (брат известного Петра), который давал уроки и не мог дожидаться раздачи. Но как-то так вышло, что два раза он был свободнее меня и взял мою долю. В третий раз тоже он был свободен, а я нет, и в шинельной, уходя, я подошел к Крыжановскому в то время, как он раздавал, и сказал:

— А мою долю, Крыжановский, пожалуйста, передайте Струве.

— Не передам.

— Почему?

— Потому что вы барствуете.

По лицам окружающих я увидел, что он должен пожалеть о своих словах, и по его собственному лицу я увидел, что он мою просьбу все-таки исполнит. Но вот как у этих людей во всем, даже в самых мелочах, было две меры и двое весов. Профессора этому потакали. На экзамене Минаева по языковедению я отвечал хорошо. Встаю, спрашиваю:

— Могу узнать, сколько?

— Три.

Как раз на углу стола сидел, готовился к своему билету тот самый Крыжановский. Не знаю, видел ли Минаев, как он, услышав это «три», привскочил; вся его фигура выражала — «быть не может». Через два, три дня один из товарищей был на дому у Минаева; разговорились об экзаменах.

— А вот вы говорите, что вы справедливы, а Волконскому три поставили.

— Ну, ему я за титул сбавил единицу.

И всю мою жизнь — в школе, в провинции, впоследствии в критике моих писаний, в оценке моей воспитательной деятельности — мне «сбавляли единицу за

титул». Всю жизнь я чувствовал, что тяготеет на мне обвинение в том, что я «князь», а теперь, во время большевизма, мне тычут в глаза, что я «бывший князь». Несмываемый грех в глазах тех, кто проповедует равенство...

Министерство народного просвещения было единственное ведомство, которое я имел случай поближе наблюдать. Оно было затхло. Мой отец был попечителем Петербургского учебного округа в последние годы царствования Александра II в министерство графа Д. А. Толстого и товарищем министра при Александре III в министерство Делянова, поэтому я многих знал. Нигде, никогда не чувствовал я себя столь чужим, как когда приходилось бывать в министерстве, говорить с людьми в синем вицмундире. Гимназия в то время осуществляла идеал толстовской «классической системы». Это было стройно, но сухо, а главное, совсем не классично. Главная пружина механизма, Александр Иванович Георгиевский, с самодовольством глядел на часы и говорил: «В данную минуту в пятом классе всех гимназий российской империи проходятся латинские неправильные глаголы». И это называлось «классическое воспитание». Конечно, я лично всегда буду благодарен родителям, что поместили меня в классическую гимназию. Но какую же я имел из дому подготовку, какой уже запас сведений, впечатлений. То, что я принес в гимназию, в смысле направления ума и душевных влечений, было, во всяком случае, не меньше того, что я от нее получил. Гимназия только пополняла; я бы сказал, что гимназия являлась казенным текстом к моим домашним, совсем не казенным иллюстрациям. Но что давала она заурядному гимназисту, такому, у которого не было такого дома, таких родителей, таких воспоминаний? Одно формальное выполнение программы, прибавлю — ненавистной программы; ибо не только безразличием дышало отношение учащихся к программе, оно дышало ненавистью: мы ненавидим всякое усилие, в котором не усматриваем целесообразности или от преодоления которого не испытываем награды. В Петербурге сквозь этот регламент иногда пробивался свежий дух, когда преподаватель обладал сколько-нибудь яркой индивидуальностью; но провинция! Что за сонное царство про-

винциальная гимназия! И как все это было не нужно. Я был впоследствии почетным попечителем гимназии в моем уездном городе Борисоглебске Тамбовской губернии. Какое противоречие с совестью моей сидеть на экзамене и хвалить за хорошие ответы. Накануне я в лавке ситец покупал, лавочник мне отмерял, а на другой день сын этого лавочника рассказывает о гоплитах и квиритах или о частицах μεν и γαρ. Изнемогая от жары в июне месяце, потеют несчастные мальчики над греческими аористами, а в трехстах саженях от гимназии рожь колосится... Какая ложь была во всем этом; оно столь же мало отвечало естественной пытливости ребенка, сколько требованиям среды. По окончании курса все это приводило или к разрыву с родительским домом, или к разрыву со всем, чему в течение стольких лет учился человек,—оно оказывалось неприменимо, для жизни не нужно. И это в городском населении, а в деревне! Эти юнцы, которых родители на последние крохи «выводили в люди»... Сколько я видал таких: по деревне с тросточкой гуляет; сыплет иностранными словами; когда его спрашивают — который час, отвечает с прибавкой — «по московскому времени». Несчастные родители не знают, гордиться или стыдиться, радоваться или сокрушаться. Сверстники их называют «беловоротники», старики, махнув рукой, говорят: «пахать перестал».

Так образование, вместо того чтобы вливаться в среду, выкачивало из деревни ее умственные силы, внушало к себе общественную вражду. Сколько мы слышали в свое время про темноту деревенскую. Да разве просветлеет деревня оттого, что пять, шесть человек из нее, побывав в гимназии, сидели бы в какой-нибудь канцелярии в Саратове, в какой-нибудь банкирской конторе в Харькове или в почтовом отделении в Тамбове? Слагалось такое понятие, что образование нужно не для деревни, а для того, чтобы выйти из деревни. Благодаря этому вылавливанию получалось нечто еще худшее: образование стало понемногу получать характер чего-то сословного. Эта сторона нашла себе наконец выражение в ужаснейшем слове «интеллигенция». Я хорошо помню, когда оно впервые раздалось, это безобразное, выдуманное на иностранный лад, на самом деле ни в одном иностранном языке не существующее слово. Тогда оно имело определенно полемический характер и противопоставля-

лось «аристократии». Наш брат не признавался за интеллигенцию; «интеллигенция» — это был класс, ставший между «высшим классом» и «народом»; он был к высшему классу настроен враждебно, к народу дружелюбно. Теперь, после всех встрясок революции, когда все, что культурно, сколько-нибудь выше известного уровня, *одинаково* испытывает последствия своей зарубежности,— теперь содержание слова «интеллигенция» расширяется до пределов какого-то духовного братства, в котором сглаживается сама память о прежних косых взглядах; те самые, кто смотрели вверх враждебно, а вниз дружелюбно, теперь смотрят вниз враждебно, а вверх союзно. На почве общности житейских и гражданских условий возникает стремление к признанию какой-то слитности, какой-то неделимости в том самом, где прежде в лучшем случае царили недоверие и отчуждение.

В моем уезде я был единственный «князь», я был владелец десяти тысяч десятин. Господа эсеры не теряли ни одного случая, чтобы представить меня перед глазами населения в таком свете, какой, по их видам, соответствует «князю», «помещику», «аристократу» и пр. На собрании по вопросам сельского хозяйства один из них, с присущим этим людям пылом и с подобающей данному случаю яростью, громил помещиков нашего уезда за то, что они изводят леса. Я сидел в публике; после собрания написал ему письмо, в котором говорил, что он мог бы в своей речи сделать, во всяком случае, одно исключение — для нашего имения, где более двадцати лет идет правильная рубка с семидесятилетним оборотом и где за сорок лет владения облесено искусственным насаждением по крайней мере шестьдесят десятин в голой степи. При встрече он извинился, что «забыл». Странная забывчивость со стороны человека, который специально занимался приведением в ясность условий лесного хозяйства в нашем уезде. Но эффект был произведен. Pereat mundus, fiat — injustitia *. Таков был их внутренний, невысказанный лозунг.

Достаточно было доноса двух пьяных крестьян, чтобы последовала официальная бумага о том, что «у князя Волконского по полям разъезжают воору-

* Пускай погибнет мир, но да свершится неправосудие (*латин.*).

женные пленные и препятствуют крестьянам убирать хлеб»; бумага кончалась просьбой «принять немедленные меры». К счастью, прежде немедленных мер было произведено следствие, которое выяснило нелепость подобного обвинения. Но опять-таки — волнение произведено, и, вместо обычного «что и требовалось доказать», люди могли сказать: «чего и требовалось достигнуть». Так вот, я к тому веду, чтобы сказать, что эти самые люди, которые выказали такую осведомленность относительно моей личности, говорили впоследствии, и совершенно искренно, что единственный дом в Борисоглебске, где они отдыхали душой,— это дом «Сергея Михайловича». И тот самый, который «забыл» упомянуть о лесном хозяйстве в моем имении и который требовал «немедленных мер», пришел ко мне в Тамбове просить четыреста рублей, чтобы бежать от большевиков. Не знаю, можно ли такому сближению давать какую-либо положительную ценность. Ведь и волки во время наводнения взбираются на один холм с ягнятами; значит ли это, что они друзья?..

Такое же случайное, даже насильственное соединение неоднородных элементов вижу под покровом слова «интеллигенция». И не только в силу указанных выше соображений порядка нравственного, общественного представляется мне ложным такое объединение под общим термином, но и в силу соображений чисто умственного характера, то есть таких соображений, которые, казалось бы, больше всего должны играть роль в таком слове, как «интеллигенция». В самом деле, когда мне под одной кличкой преподносят профессора философии Ильина и барышню, которая в каком-нибудь «Субвохозе» на машинке стукает, а вечером «посещает» балетную студию,— воля ваша, я не понимаю такого объединения. Он интеллигент и она интеллигентка? Позвольте, что же в них общего? Ведь слово это указывает на свойства умственного порядка (хотя часто слышим мы и такое выражение: «он, судя по одежде, интеллигент»). Так в чем же одинаковость профессора Ильина и барышни-машинистки-балерины? Оба не безграмотны. Но право же, этого недостаточно, чтобы быть одного поля ягодами.

Я немножко ушел в сторону, но трудно не блуждать вкривь и вкось, когда сам предмет кривой. Да,

умственное развитие и образование у нас выводили, выбрасывали людей из той самой жизни, которая больше всего в них нуждалась. У нас никогда не было настоящего представления о труде; думали, что есть труд благородный и неблагородный; не понимали, что труд сам по себе благороден. Оттого отчуждение, оттого люди друг друга чурались. Я знал во Франкфурте сапожника; у него было три брата: один был инженер, другой был профессором, третий, старший, наследовал хозяйство отца в деревне и был крестьянин. На Рождество братья съезжались к старшему. Никому, конечно, в голову не приходило деление семьи на интеллигентных и неинтеллигентных. Сословность умственного развития,— какое безрассудство!..

Вернемся вспять, к министерству народного просвещения. Аппарат, созданный при Александре II железною рукой графа Толстого, никого не удовлетворивший, всех озлобивший, при Александре III перешел в мягкие руки Делянова. Иван Давыдович был удивительное явление в русской чиновной летописи. Чем он взял? За что выдвинулся, дослужился до Андрея Первозванного, до графского титула? Он рос, как растет дерево,— не в силу каких-либо заслуг, а в силу растительной инерции. Его мягкость, слабость, безволие — уж не знаю, как назвать — нельзя даже описать. Мой отец говорил, что если бы компромисс не существовал, то Иван Давыдович его бы выдумал. Нам, детям, всегда было тяжело сознание, что отец состоит товарищем при таком министре. Как сейчас помню,— когда отец получил предложение. Мы обедали в Павловке, «под дубами», когда подали телеграмму. Отец распечатал, сказал: «От Делянова» и передал матери. Помню, что был кто-то посторонний и потому я по-французски спросил: «Des offres de camaraderie?» (Предложения товарищества?) Отец кивнул. Он не долго колебался. Он пробыл на этом посту лет двенадцать.

Это было грустное время — мало удовлетворения и очень сомнительный почет. Отец и сам это ощущал, однако для него дисциплина служебная была на первом месте, и он никогда не высказывался. Не то грустно было, что Делянов был тряпка, что ни одного вопроса он не умел отстоять, в заседаниях дремал,

а на приемах у себя щипал себе бровь, чтобы не заснуть, но то было печально, что Делянов являлся типическим представителем того умственного направления, которое во время Александра III создалось под кровом всесильного тогда обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Уваровская формула «православие, самодержавие и народность», которая в первые времена провозглашалась с трубным гласом, так сказать, при веянии знамен, понемногу принизилась, упростилась; из политического гимна она превратилась в школьную прибаутку. Смешение принципов национального и религиозного достигло последних пределов уродства. Только православный считался истинно русским, и только русский мог быть истинно православным. Вероисповедной принадлежностью человека измерялась его политическая благонадежность. Ясно, что такое отношение к важнейшим вопросам духовной жизни низводило их на степень чего-то служебно-зарегламентированного, в чем проявлению личности не было места и в чем открывался необъятный простор лицемерию. И вот, я не могу иначе назвать всю тогдашнюю систему, как школой лицемерия. Это было политическое ханжество, в предмет которого никто в душе своей не верил. Удивительно, как ложная постановка этих вопросов приводила прямо к какому-то искажению мысли.

Помню такой случай. Инспектор Ларинской гимназии, Константин Матвеевич Блумберг, был представлен к директорству. Великолепный эллинист, отличный педагог, очень уважаемый человек, кажется, все, что нужно. Вдруг осечка — он лютеранин; официально это называлось — «иноверец». Долго это длилось. Помню, он мне сказал, когда зашла об этом речь: «Не могу же я менять религию, чтобы получить повышение по службе». Наконец он был назначен. Как раз в это время бывшая моя гимназия справляла какой-то юбилей. Поднимаюсь по лестнице с Блумбергом; обгоняет нас чиновник министерства Анашкович-Яцына, человек близкий к канцелярии министра, хорошо знающий, куда ветер дует и как нос держать. Подает Блумбергу руку, шумно поздравляет с назначением и в конце комплиментов прибавляет: «Ну и вас, конечно, уже никак нельзя причислить к иноверцам». Если он мог так говорить, то не мог же он этому верить. И однако, до таких абер-

раций умственных, до таких изворотов нравственных доводила людей тогдашняя формула политической благонадежности и стремление ей угодить. Угождение стало нервом деятельности. Можно себе представить нравственный уровень таких людей. Есть глубокая связь между разумом и совестью; я думаю, что нельзя поддерживать абсурд, не кривя душой, и что кто сознательно погрешает против логики, тот неминуемо грешит против совести.

Весь этот логический и нравственный ужас, обнимавший тогдашнюю жизнь, мало кем ощущался. Люди, его творившие, жили в ими же создаваемой атмосфере и, как рыбы в воде, не замечали, что мокро. Другие просто шли по проторенной дорожке и не рассуждали. Очень тяжело было нам, детям, видеть, что отец наш принадлежал к последним и в своих убеждениях он был стоек и непоколебим; мать же моя дышала чистым воздухом незатемненной логики и свободной личности. Эта двойственность в родителях определяла собой ту нервность, некоторую полемичность, с которой семья наша переживала события жизни общественной и политической. Должен сказать, что все мы, дети, оставаясь в согласии с нашей природой, думали и чувствовали так, как думала и чувствовала мать. Ничего не хочу здесь сказать неблагожелательного по отношению к отцу, но он любил службу; выходец из Сибири, сын государственного преступника, он с первых шагов службы заявил себя и до конца дней своих остался человеком правительства; в нем никогда не было фронды. А затем скажу: это был самый нефилософский ум, какой я знал; обобщение было для него неприятно, почти синоним верхоглядства; для него факт был фактом, почти никогда симптомом; во всяком случае, в вопросах, над которыми он не задумывался, симптоматичность факта для него не существовала.

Я сказал, что Делянов был типический представитель тогдашнего политически-умственного трафарета. Вот маленький случай, крохотный случай, но и крохотный признак может быть симптомом серьезной болезни. Я был назначен комиссаром министерства народного просвещения на выставку в Чикаго в 1893 году. Помогал мне в собирании материала старичок Сентилер, чиновник министерства. Когда я взялся за дело, он показал мне уже до моего вступле-

ния утвержденную министром виньетку, которою предполагалось украсить переплеты посылаемых на выставку учебников. Виньетка была довольно милая: посредине щит с белым пространством для занесения на него заглавия книги, кругом дубовые и лавровые листья, в нижней части земной шар, и видна на нем Россия, наверху — двуглавый орел и над ним в лучах сияющий крест. Этот крест на обложке латинских и греческих грамматик, учебников математики, химии, естественной истории не давал мне покоя. Между тем рисунок утвержден министром; имею ли право изменить? А просить разрешения — может целый скандал разыграться. Наконец собираюсь с духом, отправляюсь в картографическое заведение Ильина.

— У вас рисунок для книг министерства народного просвещения, которые посылаются на Чикагскую выставку?

— У нас.

— Еще не отпечатан?

— Нет еще.

— Можно маленькую перемену внести?

— Сделайте одолжение.

— Так вот, пожалуйста, вместо креста поставьте императорскую корону.

Когда я передал о своем распоряжении старичку Сентилеру, он покачал головой: «А Ивану Давыдовичу так понравилось. Он сказал, что так хорошо, что крест,— православная Россия». Ведь вот что получается, что крест, символ вселенского христианского единения, монополизируется как символ исключительного народного избранничества. Чувствовал я, как и всегда, когда говорил с чиновником иностранных кровей, что в Сентилере в ту минуту было два существа: человек и русский чиновник. Первый меня одобрял, второй покачивал головой перед моей слишком легкомысленной правдивостью. В тот же вечер я рассказал отцу о моем превышении власти; он только сказал, что «ничего», и не сделал ни одного замечания.

Что бы сказал сам Делянов, и не придумаю. Это было такое безразличие ко всему! Когда ему что-нибудь рассказывали, докладывали, он, пощипывая бровь, только повторял гнусавым голосом: «Да, да, да, да». Маленький, низенький, с крючковатым носом, лысый совершенно и только с несколькими волосами, которые он зачесывал из-под воротничка, он двигал

челюстями, жевал губами, но почти не говорил. Однажды был в Петербурге всемирный конгресс врачей. Приходит к нам кто-то и с важностью сообщает:

— Иван Давыдович открывал конгресс и сказал речь по-латыни.

— Что ж,— говорит мой брат Петя,— а вы думали, что он заговорит на живом языке...

Однажды он был болен. Справляются у одного чиновника: как Иван Давыдович? «Ничего, слава Богу. Значительно поправился; еще не все бумаги читает, но уже все подписывает».

Приспешники говорили о доброте Ивана Давыдовича; но в широких кругах эта репутация не могла держаться. Все знали, что он охотно обещает, но редко выказывает ту же охоту в выполнении. Одна моя знакомая из города Борисоглебска, очень энергичная особа, поехала в Петербург хлопотать за детей-сирот одного доктора. Делянов слушал, обнадеживал и наконец сказал: «Ну, хорошо, я запишу». Вдруг, как ужаленная, она выставляет свою руку между его рукой и блокнотом:

— Нет, только не записывайте!

— Почему?

— У нас в провинции говорят, если кто попадет на вашу записку, то уж наверное ничего не выйдет.

— Ну, тогда вы дайте мне записку.

На этот раз обещание было исполнено.

Два случая припоминаю из рассказов отца.

Однажды в Государственном совете Победоносцев говорил длинную речь, в которой критиковал представленный Деляновым проект. Отец сидел тут же, наклоняется к Делянову:

— Иван Давыдович, ведь он проваливает наше дело, что же вы не отвечаете?

— Ну что старика обижать...

Иногда он бывал в благодушно-учительском настроении и как искушенный опытом мудрый старец наставлял отца в служебных приемах, охлаждал его пыл: «Ах, князь, вы все думаете, что дважды два четыре, а оно часто, очень часто бывает и пять, а в ведомстве императрицы Марии дважды два всегда пять». Ну разве не верно, что он выдумал бы компромисс, если бы его не существовало? Он был апостол компромисса.

Вокруг Делянова группировалась затхлость — люди, боявшиеся носом двинуть, пока не почуют ветра, люди, не имевшие убеждений, но говорившие как убежденные. Всесильной пружиной министерства был директор департамента Николай Милиевич Аничков, человек себе на уме, двуличный, с чрезвычайной выработкой внешних приемов и с темной душой. Он был обязан своим служебным выдвижением моему отцу, который ценил его «деловитость». Он гнусно отплатил ему за покровительство. Когда он уходил из департамента, получив пост товарища министра (отец уже был не у дел), он говорил речь провожавшим его сослуживцам. Я, как причисленный к министерству, пошел на эти проводы против воли, но чтобы удовлетворить желание отца; и не пожалел. Он говорил речь, в которой сделал обзор всем деятелям министерства за его время. Чередовались портреты с эпитетами глубокомысленными, произнесенными с таинственностью, в которой трудно было отличить благоговение от иронии. Он давно уже в своей речи спустился от высших чинов министерства к скромным деятелям департамента, когда мой сосед нагнулся ко мне и сказал: «Неужели он так и не назовет вашего отца?» Так и не назвал. Он стал обходить присутствующих; два раза ему лежал путь на меня, он делал вид, что не видит, и сворачивал. Тогда я сам пошел на него. Он поднял брови и с снисходительным удивлением молвил: «Ах, князь!» Как будто за этим следовало — «и вы тут!» «Да, счел долгом поблагодарить вас за всегдашнее внимание. Знаю, что обязан им не себе, а тем отношениям, которые связывают вас с моим отцом». Скушал. Я повернулся и ушел. Несколько человек из министерства поехали прямо к моему отцу выразить свое сочувствие и — негодование. Последнее приняло такую огласку, что Аничков почувствовал потребность написать отцу. В этом письме он извинялся за забывчивость и сваливал вину на свое волнение...

Ужаснейший тип, совершенно ничтожный, но тем самым типичный, был Иван Петрович Хрущов. Он был отвратителен на вид — какой-то курчавый клоп; в нем было что-то и от жабы; елейные приемы и мелко-злющее нутро. Нежданно для всех и для себя он получил назначение попечителем Харьковского учебного округа. Вот случай, который мне рассказывали.

На каком-то концерте или общественном балу в Харькове Хрущов замечает студента, который, в то время как все прочие отвешивают ему поклоны, стоит, невозмутимо озирая и толпу и его. Несколько раз он проходил мимо непочтительного юноши и наконец не выдержал; подходит и самым язвительным тоном, на какой только способна его мелкая природа:

— Позвольте, молодой человек, представиться: попечитель здешнего учебного округа.

— Очень приятно. Такой-то, студент Московского университета.

Время, о котором пишу,— восьмидесятые годы,— было трудное для человека с ясным, не насилованным сознанием. Как оно перейдет в будущее, как будут подведены ему итоги, и будут ли когда? То, о чем говорю,— сторона жизни довольно трудно уловимая для того, кто сам в то время не жил. Вряд ли проникли в какие-нибудь серьезные книги те умственные течения, которыми определялось и самооправдывалось тогдашнее мировоззрение в области гражданского воспитания. Серьезные люди науки его не разделяли; критиковать было невозможно. Только обратным путем, так сказать «от противного», можно из некоторых писаний вывести картину того, что было обиходным тогдашним мышлением в правящих сферах,— из того невольного полемического характера, которым проникнуты они, из той настойчивости, с которою доказываются очевидности. Все работы Владимира Соловьева в кругу вопросов о национальности и национализме не что иное, как полемическое выступление во имя духовной, научной и житейской правды против официально утвержденных образцов.

Избранничество русского народа перед всеми другими, национальное самомнение, утрата национальной объективности в суждениях и замена ее националистической субъективностью, смешение принципа религиозного с национальным и отсюда оправдание политических преследований в делах веры, постепенное выделение идеи «народа» не как общей государственной массы, а как культурно незатронутой обособленности, носительницы специальных даров, внушающей бережность к этой самой незатронутости и в конце концов — священная идея «народа-богоносца» и ка-

кой-то духовный культ духовной некультурности. Вот что понемногу вырабатывалось, вот что двигало тогдашними отношениями к вопросам жизни общественной и государственной; все это проникало собой тогдашние официальные теории воспитания, тогдашние мероприятия и даже тогдашнее законодательство. Большой грех на душе тогдашних людей — они играли в опасные игрушки. Понятно, что подобные начала не могли найти места в сколько-нибудь серьезных трудах,— они исповедовались людьми неспособными на серьезное мышление. Поэтому не в книгах найдут будущие следопыты формулы тогдашнего чиновного миропонимания, а в брошюрах, в юбилейных речах, в протоколах заседаний, в циркулярах.

Что увеличивало отрицательный характер всего этого, была та неискренность, которая владела всеми говорившими. Люди так говорили не потому, что так думали, а потому, что так было нужно говорить, чтобы быть одобренным, чтобы выделиться, чтобы попасть в число «кандидатов». Все это было совершенно лишено той горячности, которою дышит всякая искренняя проповедь. То, что провозглашалось, провозглашалось как учительство, назидание, с поднятым указательным; и все, что говорилось, было прилажено к пониманию «малых сих»; все это было ad usum Delphini*. А сами говорившие были авгуры, друг другу внутренне подмигивавшие.

Однажды в Государственном совете, а может быть, в выделенной из Государственного совета комиссии для рассмотрения вопроса о сокращении праздничных дней зашла речь о том, что следует положить предел возникновению праздников, нецерковных, но с религиозным характером, по случаю разных событий возникающих. Вопрос обсуждался очень непринужденно и клонился в сторону сокращения. Но вдруг кто-то, очевидно из чиновно мыслящих и благонадежно верующих, говорит: «А как же такие случаи, как 17 октября?» (То есть избавление царской семьи во время крушения поезда на станции Борки.) «Ну да ведь это единичный, даже единственный случай»,— возражают ему. «Позвольте, он может повториться». Маленькая заминка; собранье смущено. Оратор настаивает: «Ведь чудо всегда может повториться». Кто-то отвечает:

* Для пользования дофина *(латин.)*.

«Если чудо, то конечно». «Ну, понятно,— говорит другой,— когда чудо, то о чем же говорить». Голоса все громче, все свободнее, неловкость прошла, у всех отлегло. Так и постановили, что когда чудо Божие, то — праздник. Это мне рассказывал мой друг князь Александр Андреевич Ливен, о котором скажу ниже. Разве не авгуры? И как близка эта серьезность от шуташничества, и как близко это лицемерие к провокации...

Я сказал, что это было время игрушек, опасных игрушек. Об одной такой игрушке здесь расскажу,— маленькой игрушке, но типической и которой в правительственных кругах придавали серьезное значение.

Был в Петербурге такой генерал Богданович. Он был ктитором Исаакиевского собора и составил себе имя благодаря картинкам для народа, которые сочинял на разные события политической жизни, раздавал на паперти собора после обедни, рассылал в другие церкви, в другие города. Человек богомольный, можно сказать, лбом достукавшийся до заметного положения в кругах правительственных и чиновного духовенства. У него бывали, с ним советовались. Он жил в известном доме Мятлевых, красном доме на углу Исаакиевской площади и Почтамтской улицы, и часто можно было видеть у подъезда с колоннами запряженную четверкой цугом митрополичью карету. «Картинки генерала Богдановича» — это документ тогдашней летописи. Опишу вам одну из них — по случаю учреждения Крестьянского банка. По пашне, за сохой, за своей лошаденкой идет мужичок; вдали село, церковь. Он остановился и смотрит вверх. Там, в лазури небесной, висит русский государственный герб; двуглавый орел веревочками подвязан к распростертым крыльям белого голубя, Св. Духа. Мужичок осеняет себя крестным знамением. Внизу соответствующее стихотворение о том, что царь позаботился о крестьянине; стихотворение в обычно присущем этой литературе тоне елейно-умильной слащавости. Такие картинки рассылались по лицу земли родной, и раздача их приобрела характер события. В газетах появлялись телеграммы: «После обедни на паперти собора роздано народу столько-то тысяч картинок генерала Богдановича. Народ с интересом рассматривал

и с умилением читал». С трудом верится, но этим игрушкам придавалось серьезное значение. Я сказал одному товарищу министра внутренних дел:

— Ну как вы можете не только поощрять, но выносить нечто подобное?

— Что ж поделаешь,— отвечал он,— это у нас единственное средство борьбы с подпольной литературой.

Какая слабость — думать, что это есть сила... Но генерал Богданович был величина; его завтраки славились; на какой-то свой юбилей он получил Высочайший рескрипт. Всем было известно, что он беззастенчивый взяточник; он торговал своим заступничеством перед сильными мира сего. Один родственник его жены передавал мне как достоверный такой факт. Богданович ждал какого-то просителя, очень богатого и очень в его заступничестве нуждавшегося. Он научил своего сына (кажется, он был офицер) войти к нему в кабинет и при посетителе рассказать, что он соблазнил девушку и что отец девушки требует с него выкупа...

Богданович был одним из тех удивительных явлений, которыми довольно богато последнее двадцатилетие нашего императорского периода. В какой-то пьесе Островского сваха говорит, что нонче можно, не служа, в генералы попасть. Целый ряд людей, не занимавших никакого служебного положения, достигли высокого звания царских советчиков; одни пользовались официальным признанием, другие находили возмещение за отсутствие гласности в большей близости к личности царя. Таковы: князь Мещерский, издатель «Гражданина», генерал Богданович, оккультист француз Папюс, заменивший его, чуть не парикмахер, Филипп; предсказатель погоды Демчинский, темный князь Андронников и, наконец,— Распутин. Интересная галерея для будущего историка. Это, конечно, ступени, которыми самодержавие сходило в могилу...

По поводу Богдановича припоминаю такой еще случай. Это было весной 1900 года. Тогда государь с императрицей проводили Страстную неделю и Пасху в Москве. Газеты проливали слезы умиления, «Московские ведомости» печатали статьи под заглавием «Царь посреди народа», в то время как в Петербурге известный ядовитостью своей рифмы поэт Владимир Мятлев писал:

«В Москве столпотворенье,
В Кремле мироваренье».

Не мог же генерал Богданович не откликнуться. Появилась картинка, где в середине был изображен Успенский собор в пасхальную ночь, а кругом медальоны, изображавшие разные моменты царского говения; между прочим — государь на коленях под епитрахилью священника в момент отпущения грехов. Я был в Москве в то время; я был директором театров; на Пасхе государь бывал в театре. Когда я увидал это новое изобретение богомольного генерала, я полетел к Александру Александровичу Мосолову, директору канцелярии министра Двора. «Да,— сказал он,— мне тоже это показалось неудобно, но барон Фредерикс сказал, что, как лютеранину, ему неловко высказываться отрицательно по таким делам. Разрешение на выпуск картинки было дано. Через два дня кто-то опять говорил с бароном, он приказал задержать, но было уже поздно: картинка вышла и раздавалась». Удивительно было то, что никто как будто не удивлялся; люди религиозные не возмущались, люди правительственные находили это естественным. Отец мой, когда я рассказал ему, сказал:

— Что ж тут удивительного? Крестьянин должен знать, как государь говеет.

— Почему же ему не знать, как говеет исправник?

— Это он и так знает.

— Значит, он знает и то, как государь говеет.

— Нет, не знает.

— Все люди одинаково говеют.

— Ну вот это и надо, чтобы он знал.

— Он это знает и без кощунственных картинок генерала Богдановича.

Есть споры, которых не следует начинать; и если они начались, то велика заслуга того, кто первый прекращает. Мой отец всегда первый прекращал. Когда же я прекращал (не ставлю этого себе в заслугу), я делал вид, что соглашаюсь или вроде того. Это давало моему бедному отцу повод считать меня податливым, мягким, «добрым», в то самое время как в сознании моем доводы вставали и щетинились как стальные лезвия... Так вырабатывалась жизнью двойственность характеров, двойственность отношений. Понемногу все люди для меня стали делиться на тех,

кто это понимает, и тех, кто этого не понимает. Может быть, и читателю моему не совсем еще ясно, что я разумею под словом «это»? Нужно было жить в то время; но и нужно было чувствовать; кто прочувствовал, тот поймет с полслова, а для тех, кто сами не прошли через муки того времени (а таковы, я думаю, будут большинство моих читателей, если когда-нибудь у меня читатели будут), так для тех, думаю, из последующего моего рассказа многое выяснится, и обрисуется, надеюсь, та атмосфера, в которой протекала наша молодость в восьмидесятых годах.

Единомышленники

Хочу назвать некоторых людей, которых вспоминаю и всегда буду вспоминать как единомышленников в области вопросов, о которых говорил. Это поспособствует и разъяснению самих вопросов.

Прежде всего мой близкий друг Петр Петрович Извольский. Мы были товарищи по университету; мы были филологи — он по средней истории у профессора Васильева, я, как уже сказал, по романским языкам у Александра Николаевича Веселовского. Из всех людей моего поколения я, может быть, ни с кем не сходился в такой полной одинаковости интересов, суждений, оценок. Странно, я никогда не мог сходиться со сверстниками. Хорошо помню, что в ранней молодости я сам себе казался много моложе их, я считал себя отставшим; а во второй половине жизни то же чувство молодости, которое тогда держало меня, как бы сказать, на запятках, вдруг выдвинуло меня на двадцать лет вперед — точно природа приберегала меня, и когда она меня выпустила, мои сверстники вокруг меня были старики. С Извольским я всегда чувствовал себя одного возраста, хотя он был тремя почти годами моложе меня. Последнее зависит, с одной стороны, от той особливой молодости, которою угодно было природе наделить меня, а с другой стороны, оттого, что он был отцом семейства, проделал длинную, тяжелую служебную карьеру, да и здоровьем не был крепок. Начав с инспектора народных училищ, он был

попечителем, товарищем министра народного просвещения и в первое десятилетие Николая II в течение двух лет даже обер-прокурором Святейшего Синода.

Попав в самые затхлые два ведомства, он сохранил неослабною ту свежесть впечатлений и ту чуткость в соприкосновении с чужою совестью, которые так затаптывались тогдашней официальной современностью. Вот что более всего привязывает меня к нему. Теперь, озираясь на длинный ряд годов нашего умственного общения, ясно чувствую, что не то ценно, что на заре юности мы вместе упивались литературой и поэзией, что под руководством моей матери читали вместе Данте в подлиннике, что он знал и любил Италию так же, как я, а то, что в водовороте служебном, соприкасаясь с вопросами народности и вероисповедности, щекотливость которых так сильно проступает, с такой жестокостью обостряется на почве воспитания, он никогда не отказался от своих принципов, никогда не пожертвовал требованиями человечности в угоду чиновничьего кодекса. Когда он уезжал на одно из своих мест служения, мать моя, прощаясь с ним, сказала: «Et restez propre» (И оставайтесь чисты). Он остался. Инспектором в Киеве, впоследствии там же попечителем, при таких представителях власти, как граф Игнатьев и генерал Драгомиров, он смело заступался за право сектантов на свободное исповедание своих религиозных убеждений. Попечителем в Риге он заслужил благодарную память балтийцев в то самое время, когда в петербургских «сферах» шла травля на окраины, поднимала голос проповедь человеконенавистничества.

По этому поводу припоминается мне один его рассказ. В каком-то заседании он сидел рядом с министром народного просвещения Кассо. Рассматривался вопрос о языке в народных школах юго-западной окраины. Кассо настойчиво требовал введения преподавания с самых младших классов исключительно на русском языке. Извольский, сидевший с ним рядом, наклоняется к нему и вполголоса спрашивает:

— Ведь, кажется, у вас в Бессарабии имение?..

— Да.

— Что же, крестьяне понимают, когда вы с ними по-русски говорите?

— Ни слова.

Петя Извольский женат на княжне Марии Серге-

евне Голицыной, дочери известного Сергея Михайловича, которому принадлежали знаменитые подмосковные Кузьминки и Дубровица. Она была прелестный человек и мужу своему настоящая спутница жизни. Они на фоне петербургского чиновничества выделялись; они были чужды снобизма в какой бы то ни было форме. В их семье царил чистый, ничем не зараженный воздух, куда бы ни забросила их судьба; все равно как в доме их, где бы они ни устраивались,— в скромной ли квартирке на Моховой, в оберпрокурорских ли палатах на Литейной,— у них всегда веяло чистым воздухом деревни: ситцевые занавески, белая балконная мебель. Судьба часто нас разлучала: они жили на окраинах, я в Петербурге, заграницей или в деревне. Но долгие промежутки времени не клали никакой прослойки в отношениях, и мы встречались, как будто разошлись вчера.

Как я рад, что мне довелось хоть раз побывать у них в деревне, в дивной их Голуни, Тульской губернии, Новосельского уезда. Прелестный старый дом с колоннами издали виднелся за кудрявостью лесной; красивая внизу круглая гостиная и такая же над ней во втором этаже спальня. Я попал на освящение школы. Редко видал более обильное, более разностороннее излучение, чем то, что исходило от их дома во все стороны. Теперь там не осталось камня на камне...

Там была прелестная местность: три реки, много источников. Помню красивую картину. Мы с Извольским шли по берегу реки, краю воды. В стороне от нас, повыше, шел статный крестьянин с котомкой за плечами. Вдруг он очутился перед небольшой лоханью в крепком песчанике; круглая лохань у ног его была глубокой темной воды, и светлой струйкой эта вода сбегала вниз, мимо нас в реку. Странник снял со спины котомку, положил наземь, осенил себя широким крестным знамением, стал перед водой на колени, уперся руками в края лохани и, припав широкой грудью к светлой глади темной воды, стал пить студеную струю. Никогда ни одна картина, ни одно произведение искусства не давали мне такого сжатого слияния человека, Бога и природы. Все вдруг слилось и в этом слиянии получило смысл...

В последний раз я видел Извольских в Ялте в

феврале 1917 года, накануне «мартовских событий». Они были заняты устройством только что приобретенной ими маленькой дачки...*.

Другой мой приятель, заслуживающий упоминания, князь Эспер Эсперович Ухтомский, тоже товарищ по университету, филолог — по философии. Это странная фигура. Что-то обаятельное по природным данным и вместе что-то раздражающее, способное в отчаяние привести по практической неприложимости. Маленький, сутуловатый, с беспорядочными черными волосами, очень неряшливый во внешности своей, он говорил как-то мелко, рубленно и с преимущественным уклоном к анекдоту. В силу последней привычки он бывал иногда забавен, иногда несносен. Чрезвычайно начитанный, с красивым поэтическим талантом, он, однако, ничего не сделал. Мы долго взирали на него как на человека, который скажет свое слово, заявит о себе. Но он так и остался при обещании. Как в стихах своих он никогда не мог удержаться в рамках выбранного им размера, так и вся жизнь его была полна перебоев. Про него можно сказать то, что говорили про члена французской палаты Дешанеля: «Un brillant avenir derriere lui» (Блестящая будущность за спиной). Только Дешанель все-таки побывал президентом республики; правда, он кончил печально: как известно, он в припадке нервного возбуждения выскочил из вагона на полном ходу; подобравшая его жена стрелочника дала телеграмму, что выскочил из поезда какой-то сумасшедший, который воображает себя президентом республики... Но Ухтомский остался за флагом.

Одно время он всплыл довольно своеобразно на поверхности общественно-государственной. Наследник, будущий Николай II, отправлялся в кругосветное плавание. Нужен был человек, который бы мог служить путеводчиком и впоследствии составить описание путешествия; прежде бы сказали — «историограф». Моя мать через свою тетку княгиню Елену Павловну Кочубей, в то время бывшую обергофмейстериной при им-

* Это писалось в Москве. С тех пор, после моего бегства из большевистского плена, мы встретились в Париже. Они тоже бежали и после невероятных мытарств жили в Париже в большой нищете. Там Петр Петрович Извольский принял священство. Он назначен настоятелем православной церкви в Брюсселе.

ператрице Марии Феодоровне, обратила внимание на Ухтомского. Он был назначен в свиту наследника. Впоследствии вышла его книга, громоздкая, тип русского «роскошного издания»: огромный формат, лоснящаяся бумага, тисненый коленкоровый переплет и безвкусные иллюстрации Каразина. В пути установились у наследника довольно близкие отношения с Ухтомским; эти отношения продолжались и по возвращении и не прекращались первое время по воцарении. Многие возлагали надежды на эту близость. Ухтомский в то время был редактором «С.-Петербургских ведомостей». Государь сказал ему, что будет читать его газету каждый день.

Газета Ухтомского была единственная, касавшаяся вопросов инославия и иноверчества в тех пределах безбоязненности, которые вообще были допустимы по тогдашним цензурным условиям. Кроме того, Ухтомский имел разрешение письмом испрашивать себе свидания. Он вкладывал свои письма в номер газеты, который посылал государю. Много «истин» доходило таким путем до уха царского, но все-таки ничего из этого не вышло. С одной стороны, все разбивалось о безразличие, которым отличался характер государя, с другой, и сам Ухтомский себе повредил. Его сгубил — анекдот. Ведь анекдот хорош между двух людей одинаково мыслящих; тогда он является сокращенным способом общения, избавляя от чрезмерно подробного изложения. Но когда говоришь с человеком, который, что называется, «не в курсе», анекдот и не убедителен и не смешон — он надоедлив. И я думаю, Ухтомский в Царском просто надоел.

В обществе, однако, его полуофициальные посещения царского дворца возбуждали пересуды; никто, собственно, не знал ни цели их, ни результатов, если таковые были. Расскажу здесь один любопытный случай. Был в Петербурге известный публицист, фельетонист Амфитеатров; он писал в газете «Россия», в то время соперничавшей с «Новым временем». Кажется, это было в 1903 году зимой, но поручиться не могу. Когда-то все это было у меня записано — со всеми именами, всеми числами; пять тетрадок было у меня. Но все мое у меня было отобрано и уничтожено... Так вот, однажды утром весь Петербург был всполошен фельетоном «России» — «Семейство Обмановых». Рассказывается жизнь молодого помещика, живущего в

уединении, и кого он до себя допускает. Всякий сейчас же под Обмановыми подставит Романовых. Слишком все было ясно; под видом дядек, лакеев, кучеров проходили портреты государственных деятелей. В числе прочих навещавших нелюдимого помещика был «мальчик-стрелочник», живший под насыпью железной дороги и вечерами тайком забегавший в барский дом с заднего крыльца. В этом стрелочнике все узнали нашего Эспера. Удивительно, что, несмотря на такую прозрачность, цензура проморгала, и министр внутренних дел Сипягин узнал о фельетоне от австрийского посла. Весь день царил переполох. Номер «России» возрос до баснословной цены. Говорят, Амфитеатрова споили сотрудники, чтобы вырвать у него рукопись. Помню, вечером был бал у Орловых-Давыдовых в их великолепном доме на Сергиевской; был государь и весь двор. Все только об этом шептались, что вносило неловкость в общее настроение, тем более вследствие присутствия царской семьи, а также иностранных представителей. Но тут же скоро распространилось, что Сипягин доложил государю, что он распорядился выслать Амфитеатрова в Вятскую губернию, и что государь ответил: «И прекрасно сделали».

И все-таки раза два-три наш скромный «стрелочник» получал и исполнял официальные поручения дипломатического характера. Он всегда питал тяготение к Востоку, знал дальневосточные страны, и этой его склонностью государь несколько раз пожелал воспользоваться. Однажды он ездил в Тибет вести переговоры с Далай-Ламой, другой раз был во главе почетного посольства к Богдыхану; он состоял при Лихунг-Чане, когда тот приезжал на коронацию, и даже был послан навстречу ему в Аден. Восточные люди любили его, он умел с ними говорить: что было в нем детского и молодого, как-то встречалось с тем, что в них есть мудрого и стародавнего. Из своих путешествий он привозил ценные подарки и приобретения; его коллекция буддийских идолов была впоследствии приобретена музеем Александра III. Его квартира на Шпалерной походила на какой-то храм: занавески, идолы, драконы, бронза, яшма, нефрит, лак; в аквариуме крокодил. Все это могло бы быть смешно, но вокруг нашего «Ухтомчика» это была наивная сказка, а для посещавших его восточных людей это была близкая им родная действительность. Ки-

тайцы, тибетцы, сиамцы, индусы и наши буряты — все являлись к нему на поклон. Идолы и крокодил в их глазах свидетельствовали о его любви к Востоку, а портрет Лихунг-Чана, с собственноручной подписью по-китайски, свидетельствовал о том, что Восток его ценил...

По поводу Сиама маленький эпизод из путешествия наследника. Из всех государей Дальнего Востока наш Двор особенно благоволил к королю Сиамскому; ему желали оказать преимущественное внимание. Князь Барятинский, сопровождавший наследника, вез ему знаки Андрея Первозванного в великолепной шкатулке, которую нес в руках, высаживаясь на берег. Сиам всегда сказка; можно себе представить, что такое Сиам, когда этот солнечный король принимает сына северного царя. Наследник со свитой высадились. Под золотыми арками расстилалось красное сукно, и по нем шел навстречу им сиамский король... с Андреевской лентой через плечо! Быстро Барятинский спрятал шкатулку в карман... У нас по канцеляриям не значилось, или не справились о том, что сиамский король уже имел Андрея Первозванного...

Тут припоминаю рассказ, слышанный от испанского посла, маркиза Вилья Гонзало. Когда сиамский король со своим наследником объезжал европейские дворы, испанская королева-регентша за обедом спросила его:

— У вас есть и более старшие сыновья, почему же принц такой-то ваш наследник?

— Потому что те не королевской крови, они от придворных дам, а этот королевской крови — он от моей сестры.

Вернусь к Ухтомскому, чтобы сказать, что у него был прелестный сын Дий, умерший очень молодым. После него осталась вдова, дочь философа и поэта князя Дмитрия Николаевича Цертелева, близкого друга Владимира Соловьева. В последний раз имел известия от Эспера зимой 1919 года. Он писал из Царского Села, где жил в большом уединении и занимался исследованиями по русской истории удельного периода...*.

* Когда перед бегством из России провел три месяца в Петербурге, он в то время заболел воспалением легких и скончался в половине ноября 1921 года.

Александр Петрович Саломон был из числа самых близких друзей Владимира Соловьева. Человек глубокого философского образования, тонкого литературного вкуса. Он отлично владел стихом и оставил замечательный, к сожалению не конченный, перевод «Божественной Комедии», прямо жуткий по приближению к подлиннику. Его ум был несколько диалектичный, он любил спор ради спора. Он был во время турецкой войны ранен в обе руки, его мизинцы были сведены; когда он спорил, он поднимал руки, и эти оттопыренные кусочки мизинцев придавали что-то неприятно педантическое всей фигуре спорщика, когда он был серьезен, но что-то мило-юмористическое, когда он смеялся. В нем было много юмора; он любил смеяться, но не скажу, чтобы он умел смеяться; у него было неприятное подергивание в лице, и смех, усиливаясь, переходил в подергивание и искажал его. Он был одно время управляющим тюремного ведомства. Помню по этому случаю, что во время студенческих беспорядков зимой 1899 года он получил от заключенных студентов благодарственный адрес за гуманное к ним отношение тюремного начальства. Любопытно, что за то же самое он получил благодарность и от государя. Студенческие беспорядки 1899 года были значительны и серьезны по последствиям. Собственно, с тех пор волнение не улегалось. Кое-что о тогдашнем расскажу.

В то время был министром народного просвещения Боголепов, бывший попечитель Московского округа и рекомендованный в министры московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем. За несколько дней до 8 февраля, когда справлялся университетский акт, государь выразил Боголепову надежду, что студенты в этот день не будут ходить через Дворцовый мост, распевать песни и вообще шуметь, так как императрица больна — это ее обеспокоит. Боголепов передал желание государя ректору Сергеевичу. Сергеевич не нашел ничего лучшего, как вывесить в университете объявление о том, что студенты приглашаются не шуметь, а кто не исполнит, будет подвергнут мерам полицейского воздействия. Это, конечно, не остановило тех, кто хотел произвести шум, но разобидело тех, кто вовсе ни о каких демонстрациях не думал. Уже давно наша университетская жизнь страдала от постоянного вмешательства поли-

тических протестов, нарушавших мирное занятие тех, кто хотел заниматься. Начальство принимало меры против революционных проявлений, но вместе с тем, по укоренившемуся по отношению к молодежи недоверию, не давало возможности здоровым элементам сплотиться для противодействия. В глазах начальства слово «студенты» имело огульный характер, и потому, когда выказывалась строгость к меньшинству, оскорблялось большинство. Настроение стало горячее, и начальство, в лице министра и попечителя округа Зверева, не решилось присутствовать на акте. Были почетные гости, министр финансов Витте, митрополит Антоний, но хозяев не было. Беспорядки выразились только в свистках при входе ректора на кафедру и выходом свиставших из залы. После этого все прошло гладко, даже по-семейному. Митрополит Антоний раздавал медали; сам потом рассказывал: «Подходит студент, я спрашиваю: вам какую? Говорит: золотую. Ну и даю ему золотую. А кто его знает, так ли...» Вот в каком духе прошел этот акт, которого так боялось начальство. Странные, разноречивые рассказы ходили тогда по городу. Будто, когда Боголепов пришел на доклад к государю, государь его спросил:

— Вы были на университетском акте?

— Никак нет, ваше величество.

— Ах, вы не были?..

Повернулся и ушел.

По другим сведениям, Боголепов объяснил государю, почему не был: что, предвидя беспорядки, он своим присутствием не хотел отягчать виновность студентов; государь будто бы нашел его действия правильными. Такое противоречие типично для Петербурга. И это не были пустые сплетни, а пересказы из достоверных источников: первый рассказ от обер-гофмейстерины, княгини Марии Михайловны Голицыной, второй от великого князя Сергея Александровича... Кому верить? Впрочем, область разговоров неинтересна, а после этого пошли уже факты прискорбные и разлившиеся последствиями своими по всем учебным заведениям Петербурга и всей России. По выходе из университета после актовой церемонии студенты были встречены на улице нарядом конной полиции. Их начали теснить, направлять на Неву; возникли пререкания, конный врезался в толпу, пошла руготня, свистнула нагайка, полетел камень — и в

конце концов «беспорядок» разыгрался вовсю, всех повели и заперли в манеж. Обхождение конной полиции со студентами в этом случае было позорно; это я знал от свидетелей и пострадавших...

После этого беспорядки перешли уже в чисто политически-революционное движение, охватившее все высшие учебные заведения и перекинувшееся в другие города. Много тогда говорили об участии во всем этом агентов-подстрекателей. Пошли шумные сходки; стали разгонять, стали учебные заведения закрывать. Ища помещений для своих собраний, говорят, в Москве студенты собрались однажды в Сандуновских банях и устроили сходку в бассейне для плавания; при выходе, в то время когда банщики их поздравляли «с легким паром», они были арестованы. Все это было началом того большого, грозного движения, которое с перерывами, то успокоения перед открытием Думы, то патриотического подъема в первые месяцы войны, продолжалось, собственно, в непрерывном возрастании и кончилось тем, что мы все теперь знаем...

Об этом вспомнил по поводу того, что Александр Петрович Саломон тогда в подведомственных ему местах заключения призревал провинившихся студентов. Возвращаюсь к нему лично. В качестве сотрудника Ухтомского по редакции «С.-Петербургских ведомостей» он много содействовал нахождению материалов по интересовавшим нас вопросам свободы вероисповедания. Помню, однажды приезжий из Западного края рассказал, что в одной деревне, где население смешанное, православные и католики, справлялся праздник, во время которого, по местному обычаю, совершалось в реке благословение рабочего скота. В этот раз православный батюшка замешкался в соседней деревне; уже день клонился к вечеру, и крестьяне загнали свою скотину в реку заодно с прочими под благословение ксендза. На другой день становой пристав составил протокол на ксендза — «за благословение православного скота». Я умолял Саломона принять от меня корреспонденцию об этом случае. Он не соглашался; он находил, что это слишком горькая пилюля для гражданской власти. Тогда я принес ему корреспонденцию, так сказать, с другого конца — будто бы писанную человеком, который восхищается, умиляется этим случаем. Я думал, не пройдет ли горькая пилюля под

сладкой облаткой. Но он и на это не согласился. Он был очень осторожен и, как человек служащий, знал, что можно и что нельзя.

Я назвал три центральных имени нашего немногочисленного кружка. Той же умственной дорогой, тем же душевным руслом шли многие другие, вокруг них тяготевшие. Был Александр Столыпин, брат знаменитого Петра Аркадьевича, тоже писавший в газете Ухтомского. Его впоследствии переманило «Новое время», где он стал писать маленькие ежедневные «заметки», за что получал значительное по-тогдашнему содержание. Но он разменялся на мелкую монету, исписался в каламбурах и ничем себя в жизни общественной не проявил. Он обладал прекрасным даром стихотворства, писал настоящим стихом пушкинской традиции. Язвительный в сатире, он заставлял нас хохотать на ужинах и пирушках своими экспромтами. Но в литературе его имя не останется.

Вообще, озираясь на наше поколение, изумляюсь бесплодности его. Это были ненужные люди. Их мысли — это была живая вода, но они падали и уходили в песок; их чувства были непонятны окружающим, часто смешны; их дарования были неприложимы. Когда я говорю, что они были не нужны, то не с общечеловеческой точки зрения говорю, даже не с точки зрения России, но в *тогдашней* России, среди тогдашних вершителей русской жизни они оказались не нужны. Не нужна ясность умственная там, где царствует туман, где начеку стоят оглядка и расчет; не нужна искренность там, где награждается лицемерие. И они были не нужны, а в глазах многих даже опасны...

Еще упомяну милого нашего «Ершика», Михаила Дмитриевича Ершова. Тонкого-претонкого ума и толстого-претолстого тела. Все он понимал, все ценное ценил, все достойное уважения уважал. Только высказывался он плохо, то есть очень метко, но подыскивал долго, и чем живее чувствовал, тем труднее говорил. Моя мать, очень ценившая его, называла его «moineau constipé» (воробей с запором). У него был прелестный смех, сдержанный, но из глубины. После университета он был инспектором народных училищ во Владимирской губернии. Но прямолинейность его природы недолго ужилась в тамошней тьме. Он

был забавный рассказчик. Из уездной глуши Владимирской губернии он привез массу рассказов. Надо было бы тогда записывать... Однажды в гостинице уездного города наш инспектор народных училищ, проснувшись, позвал служителя и приказал ему чай подавать. Служитель не двигается.

— Что же ты?

— Да я жду-с.

— Чего ж ты ждешь?

— Да чтоб вы встать изволили-с.

— Да я встану, а ты только чай подавай.

— Да как же я стол буду накрывать, покуда вы в постели?

— Да мне не мешает.

— А простыня ведь под вами-с.

Помню бесконечные рассказы о двух местных дамах. Одну звали Дудкина, а другую Куткина, и у Куткиной была дочь; их звали «Куткина мать и Куткина дочь».

Впоследствии Ершов унаследовал имение в Тульской губернии и стал помещиком и отцом многочисленного семейства. Его жена была небезызвестная по школьной своей деятельности Штевен. Каждый раз что он приезжал в Петербург, он поражал новым приростом своих размеров вширь; он был низкого роста, и мы говорили, что его поперечное измерение больше продольного. Летом 1916 года кто-то привез мне поклон от воронежского губернатора Ершова, а я и не знал, что он получил такое назначение. Больше о нем не слыхал и только на днях узнал от графа Сергея Львовича Толстого, что он был в Москве летом 1918 года, поехал на юг и умер от сыпного тифа...

Упомяну еще о князе Александре Андреевиче Ливене. Мы были знакомы в самой ранней юности, но судьба нас разлучила и свела только в конце девятидесятых годов, года за три до его смерти. После долгих лет разлуки, когда он жил в провинции, мы встретились на Высочайшем выходе в Зимнем дворце. Он только что получил назначение директором Дворянского банка. Он был женат на Елене Петровне Васильчиковой, сестра которой, Мария Петровна, была за покойным Алексеем Стаховичем, о котором говорю в другой части моих воспоминаний, а младшая се-

стра, Евгения, вышла за моего брата Александра; ее покойный Стахович называл «мудрая».

Удивительная эта семья из пяти сестер. Оставшись без матери на попечении тетки, графини Марии Владимировны Орловой-Давыдовой, впоследствии игуменьи основанного ею монастыря Добрынихи, эти девушки, воспитанные в холе и роскоши, казалось бы, вдали от жизни, явили впоследствии, каждая в своем роде и под разным воздействием житейских условий, наилучший тип настоящей русской женщины. От детства к старости, от рождения к смерти шествуют они сквозь жизнь, ничего не обронив, ни от чего не отказавшись и все время утверждаясь, все время обогащаясь... Если не распространяюсь о них, как они того заслуживают, то потому, что мы в близком родстве.

Итак, Саша Ливен был женат на Олесе Васильчиковой; их помолвка даже совершилась в нашем доме, зимой 1883 года. Потом мы съехались весной, после коронации, в васильчиковском имении Коралово, Звенигородского уезда, на свадьбу Сашеньки Васильчиковой с Милорадовичем. Это была самая веселая свадьба, какую я видел. Была масса молодежи; все флигеля, чердаки, все закоулки были заняты. До поздней ночи стоял гвалт, утром возобновлялся. Главным запевалой был наш добрый товарищ Алеша Васильчиков. Огромный детина с серьгой в ухе; что-то бесшабашное, беззаветное было в его веселье и в его иногда очень косолапых шутках. Однажды мы, спавшие во флигеле, были утром разбужены его звонким смехом, кстати сказать, совсем своеобразным смехом, напоминавшим уток на пруде. Мы вскочили и увидели, что несчастный наш жених мечется по постели и трет себе глаза. Алеша посреди комнаты неистово квакал по-утиному. Оказалось, что он ему, сонному, насыпал на глаза березового толченого угля, какой употребляется вместо зубного порошка... Запомнилась мне одна прогулка поздней ночью. Мы встали с постелей и с песнями пошли и вошли в поле ржи; она была совершенно мокрая от ночной росы. После этого своеобразного купанья, во время которого мы во все глотки заливались песнями, у меня сделалось кровохаркание от лопнувшего сосуда. Вследствие этого меня осенью снарядили на зиму во Флоренцию. Это была та поездка, о которой рассказываю в одной из глав моих «Странствий».

Когда Ливены приехали в Петербург, они жили в чудной квартире здания Дворянского банка на Адмиралтейской. Там столько прелестных вечеров за двумя фортепиано. Ливен прекрасно играл и отлично разбирал. Это был, конечно, один из самых богато одаренных людей, каких мне пришлось встретить. Совершенно удивительное сочетание несовместимых, казалось бы, способностей. Управляющий банком, администратор, человек совершенно делового склада, бывал способен накануне доклада у своего министра Витте проиграть со мной в два фортепиано до второго часа ночи. Иногда жена приходила и тушила электричество. Человек редкой художественной отзывчивости и воспламеняемости. Но не за эти минуты я ему больше всего обязан, а за то, в силу чего и его включаю в число «единомышленников». Странно, он не был мыслителем; философское мышление было ему совсем чуждо, мысль сама по себе его интересовала фактами, и факт своей нравственной стороной прямо зажигал его. Редко встречал я такую способность к негодованию, как у него.

Вот тоже отличие наших «единомышленников» от окружающего моря людей — способность к негодованию. Она не существовала в те дни, о которых говорю, или так была запугана, затоптана, что не только не высказывалась, но и не просыпалась в людях. Души были окутаны какой-то паутиной видимого благополучия. Всякое прикосновение к язвам современности почиталось непристойным. Впрочем, не знаю, почему говорю в прошедшем времени. И посейчас вижу много людей, не имеющих силы ясным взором посмотреть на прошедшее. Революция их ничему не научила, и прежнее довольство прошлым только упрочилось в них перед страшными картинами настоящего. Да, они негодуют, но на что негодуют? На то, что люди позволяют себе осуждать то, что подлежит осуждению; они возмущаются тем, что человек поднимает покров, вместо того чтобы возмущаться теми язвами, которые этот покров раскрывает. Да, и революция ничему не научила, даже негодованию, ни от чего не отучила, даже от снобизма. Какие еще нужны уроки, какие потрясения?..

Еще раз скажу, что редко встречал такую способность к негодованию, как у Саши Ливена, но принципиальная сторона этого негодования как будто ус-

кользала от него, и формулировка принципа его даже раздражала. Помню, например, глубоко его возмущала вся наша тогдашняя инородческая политика, это непременное желанье из эстонцев, финляндцев и прочих инородцев сделать русских. Но когда я ему, в виде принципиальной формулы, обнимающей разрозненные случаи, вызывавшие негодование, сказал удивительное изречение Владимира Соловьева, что между *национальностью* и *национализмом* та же разница, что между *личностью* и *эгоизмом,* это ему показалось пустым набором слов; он меня даже обругал за увлеченье фразой; я его обругал за бедноту мыслительных способностей, и мы пошли к нашим инструментам, сели за сюиту Аренского. Я не мог из него сделать мыслителя, а он не мог меня сделать человеком практической жизни. Но зато он мне давал много жизни. Благодаря своему служебному положению он знал всех и все, и через него и я знаю всех и все — все, что делалось и говорилось в Государственном совете, в комитете министров, все эпизоды, предшествующие и сопутствующие мероприятиям, назначениям и пр. Все это было у меня записано в тех пяти тетрадях...

Саша Ливен сильно подбивал меня принять пост директора императорских театров, если он мне будет предложен. В то время, когда зашла об этом речь, я был заграницей, навещал больного брата Григория около Киля, на берегу моря. Там получил от Ливена телеграмму, в которой он предупреждал, что, запрошенный, он за меня дал утвердительный ответ. О директорстве моем говорю в одной из последующих глав; здесь только скажу, что Саша Ливен был мне в течение этих двух трудных лет верным другом и советчиком. На втором году моего директорства, зимой 1900 года, он заболел невыносимыми болями в правом локте. Его отправили в Египет, потом он переехал в Италию, в местечко Акви. У него оказался рак в спинном хребте. Недель через пять после прибытия в Италию он скончался в страшных мучениях. За несколько дней до смерти ему передали о моем выходе из дирекции театров и тех обстоятельствах, при которых он совершился. Он сказал: «Молодец Сережа, трипль* молодец».

* От: triple *(франц.)* — тройной, трижды.

Тело Саши Ливена привезли в Россию; я поехал встретить его в Варшаву. Похоронили его в монастыре Добрынихи, где игуменьей графиня Мария Владимировна Орлова-Давыдова. Был чудный день, из таких, какие он любил (да и кто же не любит такие дни); мы очень измучились от путешествия и долгого обряда; было прекрасное угощенье после похорон, и я все время думал, как бы он наслаждался этим похоронным обедом...

Таковы люди, с которыми соприкасался душевно и умственно в большей или меньшей степени и разными сторонами своего существа. Когда подвожу равнодействующую всему лучшему, что было в нас, то встает, как венчающий купол, как свод, в устремлении к которому сливаются струи кадильные,— встает имя Владимира Соловьева. Он был близок к моей матери. Однажды она сказала: «Я люблю Соловьева больше, чем кого бы то ни было». Тут же она спохватилась и прибавила: «То есть, конечно, я больше всего люблю вас, детей моих, но для приволья души моей никто мне не дорог, как он». Для нас Соловьев — это была высшая истина, это было зеркало, в котором вместе с отраженьем событий преломлялся и смысл их. Рано умолк его голос. Да и когда звучал, не умели слушать его. А сколько раз Победоносцев налагал на него печать насильственного молчания! А с другой стороны, когда он говорил, как сам себе мешал! Иногда великолепно, а иногда тянул, мялся, читал по записке, близорукий, искал, перекладывал перепутанные страницы... Какие картины неудовлетворенной жажды бывали некоторые его лекции... А иной раз незабываемые. Он мог глаголом жечь сердца людей; но глагол его был или под запретом, или стеснен. Уже двадцать один год как он умолк, а почти каждый день спрашиваешь себя: что бы он сказал? Да, что бы он сказал сейчас, он, который больше двадцати лет тому назад писал:

«Гонима, Русь, ты беспощадным роком,
Как некогда неверный Валаам.
Заграждены уста твоим пророкам,
И слово вольное дано ослам».

Не смею говорить о Владимире Соловьеве как о

философе — не моего познания дело, не могу судить и о том, в чем истинная его сила,— философ или публицист, но скажу, что среди русских публицистов, людей, занимавшихся вопросами общественно-государственными, ни один не принес на служение родине более высокого мыслительства, согретого более пламенным духом любви, чем Владимир Соловьев. И не слышу слов уже, но слышу этот голос, немного глухой, подернутый дымкою, с тем особенным, ему присущим чем-то апостольским, в оболочке ежедневной простоты. Но, несмотря на эту простоту, никогда не мог я подойти к Соловьеву так, как подходил вообще к людям. Он не был для меня физической сущностью; когда я пожимал его руку, я пожимал духовную руку. Больше, нежели одухотворенная материя, вся внешность его была материализованная духовность. Вижу удивительное его лицо, все живущее в верхней части — во лбу, в глазах. И вижу такую картину: в густой толпе, под белым сводом монастырских ворот, серебристо-черными прядями обрамленный лоб и голубой пламень глубоких глаз — на фоне золотой парчи. То было в воротах Александро-Невской лавры; он подпирал плечом гроб Достоевского. И под этой картиной хочется подписать и к нему же отнести его же слова:

«Высшую силу в себе сознавая,
Что ж толковать о ребяческих снах?
Жизнь только подвиг, — и правда живая
Светит бессмертьем в истлевших гробах».

Говоря о единомышленниках, не могу не упомянуть трех моих братьев: Петра, Александра и Владимира. В затронутых выше вопросах все чувствовали глубоко, видели ясно и судили верно — каждый по-своему и все одинаково.

Ум брата Петра проникал действия людей и побуждения их, как какая-нибудь кислота; он был язвительно-критичен; он был «эксцентричен» в выражении своих суждений; он кипел, шипел, свистел, и весь блеск его юмора становился союзником его негодования.

Брат Александр сжимался, морщился, был «концентричен» в своих проявлениях; в его осуждениях всегда чувствовалось — «да не судимы будете».

Брат Владимир чувствовал всей гармонией своего существа; он не судил, не осуждал — это просто было ему неприемлемо. У него это было осуждением в си-

лу каких-нибудь соображений — государственных, религиозных; для него вообще это не было вопросом соображения, это было простое, естественное проявление его природы. Он не принимал. Как тот контуженный, про которого я рассказываю ниже, в главе о войне, который передавал цветок товарищу, чтобы понюхал, потому что у него «не пропущает», так и у брата Володи — не пропущала его природа.

Брата моего Владимира знала вся Россия — он был вице-председателем Государственной думы при председателях Хомякове и Родзянко. Его тактом, его сдержанностью восхищались все. После одной из сессий пришли к нему в кабинет предводитель крайней правой и предводитель крайней левой: оба благодарили за беспристрастие, с каким он вел собранья. Твердость его поведения и уважение, которое он внушал, поразительны, когда принять во внимание сравнительную молодость его. Никогда не забуду мановения его руки с думской кафедры и как бурное море волнующейся залы ему повиновалось. Между прочим, помню, я был в первом заседании Думы после смерти Льва Толстого. Левые намеревались поднять скандал, правые готовились к шумному отпору. Открыв заседание и огласив заявление ораторов, желающих говорить на эту тему, брат сказал: «К могиле надо подходить со скорбью и в молчании». Послышались, на густых низких нотках, одобрительные возгласы, и, прежде чем кто-либо успел протестовать, он предложил секретарю перейти к очередным делам. Скандал не удался, а мог выйти громадный. Только после заседания брат увидел, чего он избежал: к нему подошел Пуришкевич, известный enfant terrible* крайне правой, и со словами: «Спасибо, вот от чего вы меня избавили» — вынул из кармана автомобильный гудок. Как видно, он явился во всеоружии...

Впоследствии брат был товарищем министра внутренних дел. Он пережил их четырех или пятерых. Государь каждому новому министру говорил: «Берегите Волконского». Николай II хорошо его знал, они в детстве вместе играли; государь звал его «Володя». Но положение становилось все невыносимее. Честность должна была задохнуться или уйти. Помню, что почти за год перед тем я ему из деревни иносказательно

* Ужасное дитя *(франц.)*.

писал: «Тебе пора переезжать: в квартире воняет, и ремонтировать нельзя»... Брат ушел. Все хорошее в нем оказалось *не нужно*. Лучшие люди целого поколения оказались не нужны...

В посмертном письме, которое она нам оставила, наша мать писала: «Тяжело положение тех, кто призван судьбой жить в переходные эпохи». Мы это испытали и продолжаем испытывать. Но я думаю, что только тот может понять все недавнее, только тот способен осознать всю роковую причинность явлений, кто пережил душой и разумом мрак восьмидесятых годов. Только тот может понять, скажу более, только тот имеет право судить, кто *перестрадал*, а кто в те времена благодушествовал, тот пусть себе желает возвращения того, что невозвратимо, — того благодушия он никогда не обретет. И слава Богу, что не обретет, потому что то благодушие покоилось на незнании самых глубоких корней жизни. Только тот поймет — *откуда* и *почему*, кто пережил, перечувствовал и перестрадал «переходную эпоху».

Сейчас подойдем к затронутым вопросам еще ближе, но прежде сделаем маленькое отступление.

Из чиновничьего прошлого

Я упоминал уже о том, что в конце восьмидесятых годов я начал вести заметки. Тетрадки эти, количеством пять штук, пропали, как и все, что у меня было. Но вот приехав после бегства из большевистского царства в Рим, я, к удивлению своему, нашел одну из этих тетрадей. Хочу воспользоваться находкой, чтобы прервать свой рассказ и сделать здесь вставку, которая осветит затронутые вопросы не с философской, умозрительной стороны, а с практически-житейской, и притом в легкой, почти юмористической форме. Сама по себе командировка уполномоченного Красного Креста в голодную губернию не такое уж важное событие, но вокруг нее возникают портреты, характеры, мировоззрения, и все сливается, чтобы дать картину того русла, по которому шла деятельность того, что в те времена называлось правительственною благонамеренностью. Чиновное раболепство, отсутствие собственных убеждений, заискивание путем лицемерия — все это

есть плоды той коренной болезни нашей, о которой говорю: смешение принципа национального с религиозным, смешение принципа благонадежности с набожностью, принципа церковного с полицейским. Оставляю весь свой рассказ в том виде, как я тогда его написал; не меняю даже настоящего времени глаголов — это придает рассказу живость и близость сегодняшнего дня.

В ноябре 1898 года мой брат Петр получил приглашение от Главного управления Красного Креста ехать в Рязанскую и Тульскую губернии. В тот год был голод; ему поручалось обследование продовольственного положения и подача помощи населению. Приглашение мотивировалось тем, что брат близко знаком с Тульской губернией. Он действительно туда ездил предыдущим летом в качестве сотрудника некоего Клопова. Для точного воспроизведения всех условий, при которых совершилась поездка брата, и для полного изображения общественных и административных настроений необходимо два слова о клоповской экспедиции, ибо, как сказал бы какой-нибудь герой Достоевского, оттуда все и пошло.

В октябре и ноябре не было в петербургских гостиных другого разговора, как о Клопове. Много шуму, много пыли подняла эта личная командировка государем маленького, неизвестного человека в целях выяснения, насколько донесения администрации об экономическом состоянии согласуются с действительностью. Больше всего негодования вызвало то, что командировка состоялась помимо министра внутренних дел, без предупреждения местных властей и приобретала, таким образом, внешний характер негласной ревизии. «Сферы» заволновались. Министр юстиции Муравьев сказал, что нужно быть таким (не повторяю), как Горемыкин, чтобы не подать в отставку. Витте, министр финансов, сказал: «Пусть только сунется в мое ведомство». По вечерам вокруг карточных столов у Сипягиных, у Александры Николаевны Нарышкиной сановники сливались в общий хор негодования; дамы, брезгливо искажая рот, спрашивали: «Qu'est-ce que c'est que* Клопов... Хлопов...» — «Клопов, madame». — «Клопов? Quelle horreur»**. «Клопов — est une création des frè-

* Что это такое *(франц.)*.
** Какой ужас *(франц.)*.

res Wolkonsky» *, — сказала графиня Анастасья Федоровна Нирод (сестра известных братьев Треповых). Вероятно, это же самое повторяли другие. Слишком, однако, большое значение придают братьям Волконским, если думают, что они способны «создать» кого-нибудь. Достоверно следующее. Анатолий Александрович Клопов, мелкий чиновник министерства путей сообщения, по специальности статистик, прекрасный знаток России, изъездивший ее вдоль и поперек, изучивший все промыслы и способный до самозабвения увлечься всяким делом, в котором чувствует биение истинной жизни, через брата Петра познакомился с великим князем Николаем Михайловичем, через него — с Александром Михайловичем, а последний устроил у себя свидание с государем. «И представьте, — восклицали наши барыни, — какие глупости рассказывают, будто он сказал государю: «Вы, ваше величество, ничего не знаете, не можете знать». Вовсе это не глупости. Не знаю, было ли это и как было, но кто хоть раз слыхал Клопова, тот знает, что он на это совершенно способен, что он способен государя и к стене прижать и за пуговицу взять (как Песталоцци Александра I), что если он сделает разницу между государем и простым смертным, то лишь в том смысле, что он ему скажет больше, чем всякому другому, потому что он знает, что государь может больше, чем всякий другой. Результатом этих свиданий и разговоров было то, что несколько губернаторов увидели в подведомственных им губерниях незнакомого господина, разъезжающего по городам и селам, собирающего сведения в учреждениях, делающего опрос обывателям. Когда его спросили, в силу чего он действует, он вынул из кармана лист, пред которым власти молча преклонились.

В числе лиц, которых Клопов просил помочь ему, находился и брат Петя, и выпала на его долю Тульская губерния, губерния, оказавшаяся замечательной, и не тем замечательной, что в ней жил Лев Толстой, а тем, что в ней губернаторствовал губернатор Шлиппе. Кстати, по поводу Льва Толстого. Клопов был у него, долго беседовал; провожая его, Толстой сказал: «Если бы я еще верил в эти обряды, я бы и государя и вас перекрестил».

«А в те времена, — говорит Курюков в «Федоре

* Это создание братьев Волконских *(франц.)*.

Иоанновиче», — и меж бояр великие разрухи чинилися». Великие разрухи чинились в Туле прошлым летом, и брат, что называется, попал в переделку. Администрация и земство или, вернее, часть земства резко разошлись по вопросу о голоде; земство доносило о нужде, выставляло необходимость своевременной помощи; Шлиппе же, сообщивший Сипягину при проезде из Крыма в Петербург, что все обстоит и будет обстоять благополучно, был заинтересован в том, чтобы оправдать свое предсказание. Не буду останавливаться на подробностях, скажу только, что все, что есть в губернии раболепного, жаждущего аттестации в благонамеренности или «консерватизме», сплотилось вокруг губернатора Шлиппе, чтобы дать отпор живым силам земли в лице таких людей, как Писарев, Долгорукий, Бобринский. Большого шуму наделало открытое письмо председателя уездной земской управы графа Владимира Бобринского губернатору Шлиппе, напечатанное в «Петербургских ведомостях» у Ухтомского. В этом письме председатель уездной управы изобличает беспечность и нерадение губернатора, оставлявшего без ответа самые настоятельные донесения, письма, даже телеграммы. Письмо это, вызванное желанием Бобринского оправдаться в возведенных на него и напечатанных в «Губернских ведомостях» обвинениях, произвело необычностью своей большой переполох в петербургских «сферах»: разве может «подчиненный» печатно оправдываться, да притом путем обвинения начальства. Все спрашивали себя: что будет; выражали — одни опасение, другие надежду, что после предстоявших осенью выборов Бобринский не будет утвержден в должности; да это еще в лучшем случае, а то и суд... Государь сказал Ухтомскому: «Я надеюсь, что Бобринский будет утвержден, — такие люди нужны на местах». Увы, царские «надежды», как и царские «желания», уже мало что значат. Припоминается мне, рассказывал Ухтомский, что представлял государю прошения сектантов о прекращении на них гонения, о возвращении отобранных детей, — государь всегда говорил, что сделает «все возможное», но время проходило, прошение не получало движения. Один семидесятилетний старик, баптист, два года тому назад высланный из Курской губернии на Кавказ, просит позволения вернуться, чтобы умереть на родине; это третье его прошение на Высочайшее имя. «И почему это, —

говорится в прошении, — когда нас забирают или когда детей наших отбирают, творят это дело ночью? Дух дьявола все дела свои творит ночью... И для кого это творится, и где сидит тот человек, которому это нужно и который такие приказания отдает, — в министерстве ли, в Сенате ли, в Синоде ли?» Не похоже ли это на человека, который с ужасом спрашивает себя, кто сошел с ума — окружающий мир или он сам. И всегда был один ответ: «Постараюсь сделать все от меня зависящее». А через несколько месяцев прошение повторялось...

Вот почему «надежды» государя на утверждение Бобринского мало кого подбадривали. Петербургские гостиные перешептывались, «сферы» глубокомысленно молчали. Все ждали. Результат: «Петербургские ведомости» получают предостережение и приостановку розничной продажи, Шлиппе получает звезду, Бобринский не утвержден. По поводу пожалованной губернатору звезды забавно отметить, что на торжественном обеде в честь губернатора Шлиппе губернский предводитель дворянства Арсеньев так закончил свой тост: «Звезда на груди вашего превосходительства да будет нашей путеводною звездой». Да, уткнуться в губернаторский пуп — вот весь горизонт многих провинциальных «деятелей»...

На такую-то жгучую почву вступил брат Петя через два-три месяца после описанных событий, уже не в качестве частного сотрудника статистика Клопова, а в качестве официального делегата от Красного Креста, по личному указу императрицы Марии Феодоровны. Шлиппе принял командировку брата как «личность» против себя; по его приезде дал ему аудиенцию в десять минут и затем ни на одном заседании Красного Креста не был. Этим ограничилось содействие губернатора уполномоченному. Все, что было искренно заинтересовано делом и не снедаемо личным честолюбием, соединилось вокруг брата и принесло ему навстречу весь запас сил, накопившийся под долгим давлением административного недоверия и упрямства, и свежую бодрость проснувшихся надежд. В числе оказавших ему поддержку был и местный архиерей, преосвященный Питирим. Между прочим он обещал брату разослать подведомственному ему духовенству циркулярное приказание об оказании ему содействия. Но и он боялся выступить официально ранее, чем опреде-

лится, за кем победа: циркуляр был разослан лишь три месяца после обещания. Интересно, что в самый разгар административного гонения на Бобринского архиерей печатал в «Епархиальных ведомостях» свою речь, произнесенную на освящении одной из открытых Бобринским школ, в которой выражал надежду, что плодотворная деятельность графа по народному образованию будет продолжаться и впредь на пользу населения. «Петербургские ведомости», перепечатывая речь архиерея, прибавляли: «К сожалению, пожеланиям преосвященного не суждено сбыться, так как гр. Бобринский в должности председателя управы не был утвержден губернатором». Немало было потрачено и юмора среди всех этих печальных, а для многих тяжелых обстоятельств. Так, например, Бобринский, жалуясь в письме к товарищу обер-прокурора Св. Синода Саблеру на то, что Шлиппе не утвердил одной ассигновки на школу, просил его «оградить дело народного образования от гонения со стороны чуждого нам по вере и народности губернатора». А иноверный губернатор, кстати сказать, отправляясь на первую ревизию, посылал вперед приказание, чтобы народ выходил его встречать с образами и хоругвями. Он просил и колокольного звона, но архиерей не разрешил.

Работа в Туле закипела, но надо было много терпения и веры, чтобы довести ее до конца. Тем временем партия пресмыкающихся, в особенности знаменитый Чернский уезд с предводителем Сухотиным во главе, соединилась вокруг «путеводной звезды». Для характеристики этих людей заимствую из дневника брата следующий эпизод. Все губернские предводители дворянства съехались в Москву ко дню открытия памятника Александру II. Князь Трубецкой, московский предводитель дворянства, должен был от лица всех говорить речь государю. Арсеньев, тульский губернский предводитель, заявил Трубецкому, что он своим дворянством не уполномочен что бы то ни было передавать, «так как тульское дворянство реформам Александра II не сочувствует». Он же позволял себе в многолюдных заседаниях предлагать и преподносить дворянские ходатайства «под соусом Александра III». Как ясно в этих словах сказывается глумительное отношение человека к тому самому, пред чем он в данную минуту считает выгодным преклоняться. Понятно, почему некоторые так настойчиво делят род людской на

консерваторов и либералов: более естественное деление на порядочных и непорядочных было бы им слишком невыгодно.

На почве смешения принципов патриотизма и православия, политической благонадежности и церковной обрядности чиновное подхалимство дает невероятные по уродливости проявления. Вот несколько примеров. Вновь назначенный министр народного просвещения Боголепов, прошлой весной объезжая Прибалтийские губернии, в речи к Рижскому епископу выражал надежду, что представители церкви будут проводниками русского языка. Он не знал, значит, или считал более выгодным, более соответствующим данному политическому моменту — забыть, что в Писании сказано: «Шедше научите все языки», а не сказано: «Шедше научите русскому языку». Он забыл и то, очевидно, что у того же архиерея есть подведомственные ему священники из эстонцев, которые учат эстонцев поэстонски основам православной веры, а не русской грамоте. Никогда смешение понятий не выразилось с большей ясностью формулировки, чем в появившейся недавно в «Московских ведомостях» статье за подписью «Русский» по поводу открытия в Вильно памятника Муравьеву. Усердствующий патриот предлагал увековечить память сего русификатора западной окраины медалью, на которой изобразить генерал-губернатора с крестом в руке! Тогда почему на обратной стороне не изобразить священника с нагайкой?

Директор одной из петербургских гимназий, Груздев, на публичном акте при распределении наград объявлял, что такому-то ученику определяется стипендия «не за успехи, а за благочестие и усердие в храме Божием». Ученик продавал свечи, заправлял кадило, разносил просфоры.

Один директор Киевского округа в аттестате ученика под рубрикой «поведение» писал: «Замечается особенное благоговение к особе государя императора».

Я нарочно беру примеры из разных областей, но ясно чувствую: корень всех грехов один. Еще не могу не упомянуть о докладе главноуправляющего Кавказом, князя Голицына, в котором он настаивает на том, чтобы переселенцы, вселяемые из России на Кавказ, были непременно православного вероисповедания. Хочется спросить: в целях чего? Более успешной русификации или поднятия земледелия?

Если чиновники гражданские считают долгом выказать рвение к делам церкви, то весьма естественно в служителях церкви стремление отличаться на поприще национализма как верного средства засвидетельствовать свою благонадежность. В торжественном заседании Общества ревнителей русской древности небезызвестный протоиерей Смирнов в порыве религиозно-чиновничьего экстаза призывал внимание присутствующих на то, что к русскому народу так часто прилагается название «Новый Израиль», и находил, что это «полно глубокого смысла». К этим вопросам подойдем ближе в следующей главе, а сейчас возвращаюсь к рассказу о командировке брата.

Итак, работа брата натыкалась на всевозможные препятствия. Все было пущено в ход, чтобы помешать делу и замарать тех, кто им занимался. В декабре появилась статья в «Гражданине», газете известного князя Мещерского, об одном из «тульских правдоискателей», который, приехав в губернию, спознался с «либеральными болтунами», вместо того чтобы обратиться к мудрому совету уважаемых консерваторов, «поседевших на службе трем царям». Статья эта, как говорят, вышла из сотрудничества Мещерского, Сипягина, графа Кутузова (известный поэт) и Соловьева (конечно, не Владимира, а служившего в ведомстве по делам печати консервативного прихвостня). Любопытно, что после состоявшегося вскоре после того общего собрания Главного управления Красного Креста, в котором брат читал свой доклад, доклад, произведший прекрасное впечатление, Мещерский как-то встретил Ухтомского: «Скажите князю Волконскому, что я не знал, что *он* ездил в Тулу уполномоченным»... Работа продолжала кипеть, но и змий не дремал: когда брат вернулся в Петербург, в министерстве внутренних дел лежало на него сорок семь доносов. Тульский губернатор требовал отзыва уполномоченного Волконского. Горемыкин внемлет просьбе Шлиппе, настаивает на отозвании брата; последний получает письмо от председателя Главного управления Красного Креста, генерала Кремера, в котором ему объявляют, что «так как, по сведениям, полученным из МВД, нужды в Тульской губернии больше нет», то его командировка прекращается. Что было делать? С его удалением из Красного Креста не только приходил конец всему начатому и поставленному на ноги делу, но, очевидно, приш-

лось бы пострадать всем тем, кто ему в работе помогал. Брату оставалось одно — просить доклада у императрицы. Кремера как раз в то время не было в Петербурге; между тем мешкать нельзя было — императрица уезжала. Брат обратился за разрешением представиться к состоявшему при Марии Феодоровне князю Владимиру Анатолиевичу Барятинскому. Через день, накануне отъезда в Данию, он был принят. На следующий день в министерстве внутренних дел получается бумага из Красного Креста: «По личному приказанию ее величества государыни императрицы Марии Феодоровны, одобрившей все действия князя Волконского в Тульской губернии, его командировка продолжается».

Весь описанный эпизод считаю важным в общем ходе моего рассказа потому, что он, мне кажется, с ясностью показывает, как неверное решение, ложная постановка коренных вопросов духовной жизни, просачиваясь в сознание и деятельность людей, приводит к нравственному уродству и несправедливости. Мы увидим сейчас, что они ведут и к жестокости.

Свобода вероисповедания

> Je ne viens pas prêcher la tolerance; la liberté la plus illimitee de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot *tolérance* qui voudrait l'exprimer me parait en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l'existence de l'autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté de penser par cela même qu'elle tolère et qu'ainsi elle pourrait ne pas tolérer.
>
> *Mirabeau*

> **Не терпимость я проповедую; свобода верования, самая неограниченная, в моих глазах настолько священное право, что слово *терпимость* в применении к ней уже мне кажется в известной степени насильственным, ибо существование такой власти, которая может терпеть, посягает на свободу мысли тем самым, что она терпит и что, таким образом, она могла бы и не терпеть.**
>
> *Мирабо*

Ясно ли проступает из предыдущего двойное значение тех вопросов, которых касаюсь? Двойное их проникновение в жизнь? Одно дело — вопрос по существу, другое дело — воспитательное влияние того, под каким углом вопрос решается, как к нему подходят, как с ним обходятся. Скажу, что второе значительно важнее первого. Существо вопроса не многих интересует, но пути, которыми он разрешается, задевают всех — и думающих и не думающих, и пути эти создают те ходячие приемы мышления, которыми устанавливается наша жизнь. И действительно, образовалась у людей особого рода мыслительная складка, создалось особое, официально одобренное мышление. Оно было мелко, оно не просачивалось в почву вопроса; оно провозглашало очевидность, когда еще ничего не было доказано. Иногда мышление прямо перескакивало через факты и самую очевидность, не стесняясь, толковало в желательно-официальном духе. Маленький пример.

Когда государь сочетался браком, для молодой им-

ператрицы была составлена книга на английском языке — «The Russian Statesman's book» (Книга русского государственного человека). В этой книге была между прочим глава, посвященная вопросам инославия и иноверия как они поставлены русским законодательством. Вся глава состоит из перечня запретительных законов: из православия переходить нельзя; из иноверия в иноверие, например, из лютеранства в католичество или наоборот, нельзя без разрешения министра внутренних дел; ограничительные законы относительно детей от смешанных браков и т. д. все в том же духе. И знаете, как эта глава была озаглавлена? «Religious Freedom» (Религиозная свобода). Что сказать на эту беззастенчивость? Вероятно, в целях оправдания этого заглавия, после всех запретительных параграфов, один, последний, параграф гласил, что переход из инославия в православие «however» (все же) не воспрещается. Помню, я рассказал это Соловьеву и говорю, что слово «все же» не совсем передает английское «however»; а он вдруг выпаливает: «тем не менее однако» и разражается своим ржущим смехом, который мы так ценили и который «тем не менее однако» по звуку был так неприятен.

На гнилом фоне этого официального мышления свежими пятнами проступали наши немногие «единомышленники». Правда, нашего полку прибывало, мы друг друга узнавали, но что же это в сравнении с окружающим морем потемок... Должно быть, в 1901 году основались в Петербурге «соловьевские обеды». Человек двадцать и больше сходилось в ресторане Донона у Певческого моста, вкусно обедали, приятно беседовали. Каждый раз читался кем-нибудь доклад, потом обсуждался, и — «беседа затягивалась заполночь». Были доклады на чисто философские темы, но большей частью они вращались вокруг наболевших вопросов иноверия и инородчества. Много жизненно-жгучих фактов приносилось сюда — наблюдения, письма, разговоры... Все это было у меня записано, но... Всему этому велись подробные отчеты, но... И было это двадцать лет тому назад...

Случилось в то время одно событие, которое не прошло бесследно, во всяком случае, оставило полосу в тогдашней жизни. Михаил Александрович Стахович,

брат моего покойного приятеля, осенью 1902 года прочитал на миссионерском съезде в Орле доклад о свободе вероисповедания. Михаила Стаховича я знал очень мало и никогда не подозревал в нем «единомышленника». В то время он был Орловским губернским предводителем дворянства; впоследствии он стал видным членом Государственной думы. Его речь прокатилась из конца в конец земли русской; она произвела впечатление бомбы; о ней говорили и в иноземной печати. Я в то время был во Флоренции, погружен в свои записки по тем же вопросам. Узнав о совершившемся из русских газет, я восчувствовал прежде всего сильную радость при мысли, что я не один, что человек решился и нашел случай вынести эти вопросы на арену общественного обсуждения.

Понятен прилив интереса, но прибавлялся для меня новый интерес: как отзовутся на речь Стаховича? Как откликнется духовенство, что сделает правительство, что скажут газеты? Ведь это же в первый раз люди приглашались высказаться. Каждый день я прочитывал все, что относилось к этому делу; газеты, журналы, письма с родины были полны речью Стаховича, и все это заполняло страницы моих тетрадок. На основании всего этого накопившегося материала я по приезде в Петербург составил доклад, который предназначался в Религиозно-философское общество, в то время Победоносцевым скрепя сердце разрешенное. Но я его читал перед тем во многих местах: на соловьевском обеде, у принцессы Елены Георгиевны Альтенбургской, у великого князя Владимира Александровича; отдельно читал его старику графу Константину Ивановичу Палену и другим. В свои тетрадки я заносил впечатления от этих чтений, отзывы, вопросы и пр. Получилась интересная картина тогдашнего светского, чиновного и духовного мышления. Всего этого у меня уже нет, но доклад мой был напечатан в журнале «Новый путь» за 1903 год в протоколах заседаний Религиозно-философского общества. В библиотеке Румянцевского музея я нашел нужные мне номера этого журнала. Извлекаю из них мой доклад и выписываю его целиком.

К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести

В сентябре 1902 года перед собранием учителей и ревнителей Христовой церкви и Христова учения один человек произнес слово.

Он высказал, что несправедливо преследовать человека за то, что он верит так, как ему верится, а не так, как другие хотят, чтобы он верил; что жестоко наказывать человека за его религиозные убеждения в надежде, что наказание может просветить заблуждающегося; что позорно насильственными мерами пополнять стадо Христово; что для самих представителей церкви тяжело — должно бы быть тяжело — сознание такого положения вещей, при котором паства их, рядом с людьми искренно верующими, переполняется людьми, причисляющимися к господствующему вероисповеданию ради тех преимуществ, коими оно обставлено; что не может пастырь радоваться многочисленности своей паствы, верить в искренность ее, когда принадлежность к этой пастве обставлена житейскими обеспечениями и приманками; что, наконец, для пасомых, для мирян не может не быть тягостным такое положение, при котором подвергается сомнению искренность каждого православного, ибо каждый православный в ответ на свое исповедание веры рискует услышать насмешливое восклицанье: «Да, как бы не так. Так мы и поверим, что вы по *убеждению* православный; докажите, что вы по свободному выбору сердца исповедуете православие, а не ради благ земных. Вот такой-то, например, — верю, что он по убеждению: он страдает в своей службе, он страдает в своих гражданских правах, потому что он католик; но он не хочет быть иным — верю в искренность его убеждений. Вот этот человек страдает в правах гражданина, семьянина; он влачит свои дни в изгнании, оторванный от детей, потому что он сектант, но он предпочитает все сносить, чем умереть в другой вере, — верю в искренность его убеждения. А вы, под прикрытием закона, под охраной власти, тоже уверяете, что вы по *убеждению*. Извините. Вот когда вас начнут преследовать, как других, или когда другие сравняются с вами, ну тогда мы поговорим об убеждении, а до тех пор не поверю; вы православный страха ради иудейского». Вот под каким нареканием поставлен, собст-

венно, каждый православный в России. Только человек вполне безразличный к вопросам духовной жизни может не страдать от подобного положения вещей и не чувствовать оскорбительности и жестокости его.

Содействовать разъяснению этих вопросов в духе учения Христова — обязанность каждого из нас, тем более пастырей и миссионеров церкви. Первый и существеннейший к тому шаг — ходатайство об отмене уголовной кары за отпадение от господствующего исповедания.

Таков смысл слов, которые произнес на Орловском миссионерском съезде один, как его впоследствии назвали, «светский, посторонний съезду человек». Буря, поднявшаяся вокруг этой речи, длилась более двух месяцев и уже в последние дни, к сожалению, утихла, прекращенная цензурными распоряжениями. Вечные и великие вопросы о свободе совести, о церкви, о государстве, о их взаимоотношениях, которые среди этой бури подвергались обсуждению, конечно, интересны, но интересна и сама буря, то есть то, что по поводу этих вопросов проявилось, обрисовалось, — различные течения мысли в различных кругах: правительственных, духовных, общественных. Предвидя, что «орловский инцидент» подаст повод к проявлению многого такого, что дремлет в нашей общественной совести; что он вызовет к сознанию многое, что лишь смутно ощущается; что зашевелится наконец тот ужасный хаос, который царит в умах относительно вопросов духовной жизни человека; предвидя, что мы вступаем в интересный момент для характеристики общественных мнений, — я начал со дня появления первой газетной заметки отмечать все, что мне по этому поводу попадалось в печати. Составилась как бы летопись вопроса с критической оценкой слов и событий, с примерами, анекдотами и пр. Если позволите, поделюсь с вами кое-чем из накопившегося материала.

Прежде всего несколько фактов; это, во-первых, введет нас в самую сердцевину вопроса, а во-вторых, это в значительной мере обеспечит одинаковость отношения к нему: ведь мы можем быть различны по убеждениям политическим, религиозным и иным, но разность убеждений не сгладила в нас общей нам всем человечности; и вот к человеческому чувству моих разнообразных слушателей я обращаюсь, приглашая их призадуматься над некоторыми фактами. Беру из моих

воспоминаний, так сказать, врассыпную. Есть и вопиющие, есть и смехотворные.

В прошлом году я ездил в Варшаву. Дорогой читал местные газеты. В большинстве номеров, то из одного города, то из другого, в отделе «происшествий» попадались известия вроде следующего: «Такого-то числа, по улице такой-то, в доме номер такой-то полицией обнаружено собрание человек в двадцать пять, сошедшихся для чтения Св. писания и для молитвы. Имена их переписаны, и виновные будут привлечены к ответственности». Один представитель судебного ведомства мне передавал, что в протоколе одного исправника значилось, что у задержанных «отобрана книга, именуемая Евангелие». Стало быть, теперь это даже не скрывается; об этом печатается среди краж со взломом и мошенничеством. «Идеже двое или трое собраны во имя Мое», — тут и городовой.

Года два тому назад мне пришлось видеть кипу прошений от разных лиц, так или иначе пострадавших за веру. Запомнились мне два. Одно от бывшего фельдфебеля, сектанта; просит вернуть двух отобранных у него дочерей, сданных на воспитание чужим людям в православную семью в соседнем селе. Другое прошение семидесятилетнего старика сектанта, два года как высланного из Курской губернии на Кавказ: просит позволения вернуться, чтобы умереть на родине. Это третье его прошение на Высочайшее имя...

Один вновь назначенный генерал обходит свою часть; около обоза видит бравого с седыми усами фельдфебеля:

— Сколько лет на службе?

— Сорок, ваше превосходительство.

— Отчего же до сих пор при обозе?

— Виноват, ваше превосходительство, к сожалению, я католик.

Вот что произошло в одной из западных губерний летом 1902 года. Об этом говорилось в местной газете и перепечатано в одной из столичных. Двадцать человек крестьян, «обнаруженных», были привлечены к ответственности. У мирового судьи они назвали себя баптистами. Но судья усомнился: а может быть, штундисты? Это далеко не то же самое «по последствиям». Как разобраться? В самом деле, решение таких вопросов требует чуть ли не богословских сведений, которых образовательный ценз мирового судьи, во всяком слу-

чае, дать не может. И вот на суд в качестве эксперта приглашается священник. Экспертиза признает обвиняемых баптистами. Баптисты официально разрешены, и потому они от «ответственности» избавлены. Однако «дело» тем не кончилось. Хорошо не помню, каким образом и в силу чего, но вопрос пошел на рассмотрение высшего начальства. И вот — следующее разъяснение. «Баптисты действительно разрешены, но баптисты — немецкая секта, разрешается немцам, русских же баптистов с точки зрения закона не может быть: такие-то подсудимые не баптисты, а выдают себя за таковых, будучи на самом деле штундистами, а потому ответственности должны подлежать». И они были оштрафованы по 18 рублей каждый. Здесь еще более, чем самый факт оштрафования, ужасна аргументация: «русских баптистов *не может быть*». Да я завтра сделаюсь баптистом, разве я перестану быть русским? Я понимаю, если бы баптисты были какой-нибудь политической партией на пангерманской подкладке; тогда бы, конечно, русский, сделавшись баптистом, тем самым переставал бы быть русским. Но религиозные верования разве снимают национальность? И как же запретить человеку причислять себя к тому или иному верованию? И кто же здесь, наконец, судья? Для диагноза физической болезни нужен посторонний эксперт, но о вере своей свидетельствует человек сам. Один член суда, служащий в Западном крае, рассказывает случай из своей судебной практики. «Представьте, является свидетель. Ну, имя, фамилия и пр. Какой, спрашиваю, религии? — Католик. И врет, подлец, — он в списках значится православным». По-моему, список подлец. Если бы человек, будучи католиком, ради благ земных назвался православным, вот тогда он заслужил бы упрек; но тогда не стали бы упрекать, а поспешили бы поправить список.

О своей вере человеку в России не позволяется свое суждение иметь. «Русский не может быть баптистом». *Не может*. Это выражение имеет здесь совсем особенное значение, другое, чем в иных подобных случаях. Например, русский не может быть католиком, это значит, ему это не разрешается, а если он перейдет, то рискует потерпеть наказание по закону. Так, когда при Николае I князь Гагарин перешел в католичество, один его родственник подал прошение, чтобы согласно закона имение отступника перешло к нему. Государь

положил резолюцию: «Проситель подлец, но поступить по закону», и здесь опять скажу: проситель просителем, а, собственно, закон «подлец». Но, во всяком случае, это понятно: русский по закону не должен быть католиком, и в этом смысле можно сказать — «не может быть». Но вышеприведенным разъяснением выражение «не может быть» употреблено не в смысле запрещения, оно констатирует невозможность по существу: ни за какие наказания, ни ценою каких угодно штрафов не может быть; «с точки зрения закона не может быть русских баптистов», как с точки зрения науки не может быть треугольник о четырех сторонах. Это «не может быть», конечно, одно из самых странных слов, когда-либо произнесенных. В нем есть своего рода вдохновенье: что хочу, то и положил; положил, что не может быть, значит, не может быть; а объявлю, что может, — и будет, и треугольник объявлю о четырех сторонах.

Приведенный случай относится к категории фактов, являющихся последствием укоренившегося у нас пагубного смешения терминов «русский» и «православный». Это могло бы составить предмет интереснейшего исследования: сколько у нас, благодаря смешению этих терминов, проникло в жизнь логически абсурдного и нравственно жестокого. Здесь ограничусь несколькими примерами.

В столице Японии есть великолепный православный собор, выстроенный стараниями известного епископа Николая. В этом соборе православное богослужение совершается на японском языке. Секретарь нашего посольства, с которым я был у всенощной, никак не мог разобраться в своих впечатлениях: «Странно, не правда ли? Совсем даже не по-русски». Ну да, конечно, не по-русски, коли по-японски. Но смешение терминов, если так можно выразиться, синонимизация терминов «православный» и «русский» так глубоко укоренилась, что нашему секретарю казалось, что тут, как говорится, «что-то неладно». Есть люди, для которых это представляется чем-то вроде метания бисера. Одна дама высоких качеств ума и сердца, но типичная представительница национальной религии, когда услышала про православный собор в Японии, воскликнула:

— Ну уж все эти миссионерства и обращения других, совсем это не нужно. Для чего это?

— Однако, позвольте, ведь если бы не было проповедников, то и мы бы не были христиане.

— Да зачем заниматься японцами; и своих довольно.

— Потому что Христос сказал: «Шедше научите вся языки», а не сказал: «Шедше научите русский народ».

На каждом шагу можно встретить в газетных некрологах выражения вроде следующего: «Покойный был по крови и по вере совершенно русский». Все это читают, повторяют, и никто не видит всю несообразность подобного сочетания слов, как — «русский по вере». Во-первых, если уже признавать, что верою определяется национальная принадлежность человека, то в силу той же самой веры покойный с таким же успехом мог бы быть — по вере — совершенный грек. Но как же не понять, что это есть бессмысленное сочетание слов: по вере, по религии — и потом название национальности. Ведь это из двух разных областей, это все равно что связать существительное из ботаники с прилагательным из зоологии. «По религии совершенно русский», «по религии испанец», «по религии бельгиец» — это то же самое, что «весом совершенно зеленый», «цветом совершенно квадратный». К сожалению, такое искажение мышления воспитывается в нашем обществе систематически и поддерживается неустанно и печатью, в особенности так называемой «охранительной», и духовной литературой, и администрацией.

Одно высокопоставленное лицо, объезжая Прибалтийский округ, в речи, обращенной к местному епископу, выражало надежду, что православное духовенство будет проводником русского языка. Оно не знало, значит, что если священник хочет исполнять предписания своей церкви, то он учение ее должен переводить на все языки земного шара; оно забыло, что апостолам было сказано: «Шедше научите вся языки», что церковь, к которой он обращается, даже в учебниках именуется Вселенской. Высокопоставленное лицо не знало, очевидно, и того, что у этого самого архиерея есть подведомственные ему священники из эстонцев и латышей, говорящие проповеди по-эстонски и по-латышски, чтобы по-эстонски и по-латышски распространять православную веру, а не русскую грамоту. Или все это не важно, а истинное дело епископа Вселен-

ской церкви и подчиненных ему иереев — русификация Прибалтийского края?

Что же удивительного, что люди простые, мало думающие, повторяют абсурды, когда учители наши вводят в соблазн. Разве не слышали мы от пастырей той церкви, которая учит, что «нет иудей, эллин и язычник», возобновление ветхозаветной теории об избранном народе в применении к русскому народу, причем прибавлялось, что это «полно глубокого смысла»? Разве не слышали мы из уст того же высокопоставленного лица, приглашавшего народных учителей и учительниц Харьковской губернии воспитывать в учениках дух христианской любви, что задача их облегчается тем, что русский человек по природе склонен к принятию духа христианской любви: «Будь он язычник, по природе он всегда христианин»? Разве не слышали мы из уст епископа Вселенской церкви, той самой, которая говорит, что Бог составил народ во имя Свое из всех народов и что во всяком народе боящийся Его приятен Ему, — разве не слышали мы из уст епископа этой самой церкви, что русский народ есть народ святой, хранитель истины, что это непреложно, как непреложен Господь и Его Божественное слово? Красноречивую эмблему этих теорий мы видели на одной из картинок для народа генерала Богдановича, где русский государственный герб подвешен к крыльям Святого Духа.

Смешение понятий внедряется в общественном сознании все более и более. Только православный — истинно русский; неправославный уже не настоящий патриот. Недавно один господин в газетах защищался против того, что его назвали поляком. «Правда, мой род польского происхождения, но уже мой дед»... Вы думаете, что? Говорил по-русски, а по-польски не говорил? Или переселился в центральные губернии, или проливал кровь свою за русское отечество? Одним словом, доказал свою принадлежность к русской *народности?* Нисколько: «Мой дед уже похоронен в выстроенной им православной церкви». Логика: мой дед православный, ergo* — я русский. Переходящий из православия в другую веру не только отступник от своей церкви, но предатель родины, а человек, поднимающий голос за непреследование других религий, — потрясатель основ...

* Следовательно *(латин.)*.

Позволю себе привести пример, ценный в том отношении, что в нем одинаково выступают и корень зла с особенной ясностью, и последствия его в каких-то прямо трагических размерах.

Во всеподданнейшем отчете обер-прокурора Святейшего Синода за 1898 год есть отдел об определении вероисповедной принадлежности бывших униатов (в главе III, озаглавленной «Об утверждении веры и благочестия»). Оказывается, человеку, если он бывший униат, не дано право иметь свое суждение о том, к какой вере он принадлежит, а это определяет и решает за него Холмско-Варшавское епархиальное управление, которому преподаны в 1892 году «руководственные правила». Кто недоволен своей классификацией, может пожаловаться в Святейший Синод. «Означенные жалобы подаются в двухмесячный срок со дня объявления просителям решения епархиального начальства». Те, которые за уничтожением унии все-таки желают записаться в католики, называются «упорствующими». Таких «упорствующих» в отчетном году было, по всеподданнейшему отчету, 83 000 душ обоего пола. Это — официальное признание; но, по словам одного местного архиерея, их более 122 000. Нравственная тяжесть всего этого увеличивается практически еще тем, что католический священник, совершивший требу над упорствующим, подвергается ответственности как за совершение требы над православным. Целые поселения в Западном крае лишены церковной помощи. В одной губернии было еще два года тому назад (не знаю, как сейчас) одиннадцать католических приходов без священника. Люди рождались и умирали как скоты. К довершению всего возникает целая масса гражданских процессов. Отец умирает, дети рождены вне брака, племянники предъявляют права на наследство. Суды завалены процессами такого рода... Все это положение вещей вырастает на почве смешения религии и национальности, так как во всех административных мероприятиях кладется в основу тот принцип, что поляки *могут* быть католиками, а русские *должны* быть православными.

Думаю, что фактов достаточно. Думаю также, что не найдется человека, будь он русский или не русский, той или иной веры, верующий или не верующий, который бы не смутился этими фактами. Но кольми паче должно быть тяжело — так по крайней

мере всегда думалось мне — представителям и в особенности служителям той церкви, ради торжества которой такие насилия творятся. Среди словесной бури, возникшей вокруг орловского инцидента, мы многократно слышали — я мог бы сказать: голос церкви, но в слышанных словах было так много противоречий, что предпочитаю сказать: голоса из духовенства. Однако, в общем, дух их далеко не отвечал только что высказанному мной предположению. Остановимся на некоторых перипетиях этой бури. Но сперва еще одно замечание.

Обыкновенно говорят, что насилие над совестью, хотя и не отрицается его прискорбность, необходимо для благополучия большинства. Пусть меньшинство страдает: этим оберегается благо большинства, православных, коренных, истинно русских. Официально это называется покровительство господствующей церкви. Считаю такой взгляд как нельзя более ложным. Насилие над другими имеет *развращающее* влияние на совесть того самого большинства, ради которого творится. Яд, направленный против других, имеет возвратное действие. Когда мачеха преследует падчерицу, это не способствует развитию высоких чувств в душе родной дочери. Но более растлевающим образом, чем насилие над другими, действует тот характер обязательности, которым обставлена для русского принадлежность к православному исповеданию,— следовательно, насилие над самим большинством. Что же касается церкви, то это не только не поддержка, а прямо обратное: это должно вести к ее полному ослаблению. Нельзя же в самом деле признавать внутренней органической силой ту насилием обеспеченную безопасность, в которую церковь поставлена мерами гражданской власти.

Теперь перейдем к полемике, вызванной орловским инцидентом.

С самого начала стало заметно стремление свести вопрос с его настоящей почвы и завести спор не о вопросе, а вокруг него. Первый фазис полемики был политический; даже того менее — фазис определения полицейской благонадежности говорившего. Помещик Нилус кричал в «Московских ведомостях», что Стахович — Робеспьер; Суворин в «Новом времени» клал руку в огонь, что он не Робеспьер.

Со статьей преосвященного Никанора в «Москов-

ских ведомостях», где доказывалось, что совесть — судья, судья же ограничен законом, следовательно, «сказать — свобода совести значит сказать абсурд», вопрос переносился на философскую почву. Епископу Орловскому возражал Розанов, философ, критик, публицист. И вот мы стали свидетелями, собственно, неслыханного явления: в одном из основных вопросов религиозной жизни светские люди принимались поучать духовных пастырей. «Светский, посторонний съезду человек» поднял вопрос о свободе вероисповедания перед синклитом пастырей почти в тот момент, когда они уже собирались расходиться. Они объявили, что не могут принять предложение докладчика об отмене уголовных наказаний по преступлениям против веры не только «по несоответствию его с задачами съезда, но и по существу». Церковь в лице своих представителей, таким образом, сперва как бы уклоняется отвечать, а затем устами епископа прямо отвечает отрицательно; она не только осуждает стремление к свободе совести, она ее самой не признает. Среди всего этого психология православного духовенства мне представляется в некотором роде трагической. Ему во всеуслышанье, всенародно предъявляются факты насилия, совершаемые во имя той веры, коей оно есть провозвестник, факты, не только с его ведома совершаемые, но, согласно закону, по его инициативе возбуждаемые, и оно, духовенство, не может осудить тот принцип, в силу которого насилия творятся, не может — вследствие своей зависимости от светской власти. В душе, может быть, многие (даже, может быть, и каждый) возмущаются и сожалеют, что им приходится быть пособниками,— но нельзя, начальство приказало так поступать, а раз мы так поступаем, то надо же и обставить свои поступки; начальство требует: говорите, пишите, доказывайте, что поступки ваши правильны. И вот создается литература, отчасти заготовленная на все случаи вперед самим начальством,— «понеже,— как говорил Петр Великий епископам Синода,— не всяк епископ слово чисто сложить может»,— отчасти составленная из писаний по каждому данному случаю, либо по приказанию, либо от себя, усердствующим автором. Два типа писаний наблюдается в этой литературе, два приема. Или фактическая сторона уменьшается до минимума, сводится до размеров «прискорбного случая»,

в котором почти сходит на нет (батюшка, говорящий, что «не говорил», или «не так» говорил, или «не там»); или вопрос переводится на отвлеченную почву, где, для отвода глаз, пускается в ход такой аппарат философских терминов вперемежку с елейно-умиленными, что в этой смеси все пути мышления теряются и, что называется, все концы в воду.

Все, что пишется и печатается в этом духе, не может быть выражением взглядов всего духовенства. Это видно и из разговоров, и из того немногого, что иногда проникает в печать. И вот где трагизм целой корпорации, поставленной между требованиями и побуждениями совести. Смотрит ли священник на свое служение с точки зрения «жены и малолетних детей» или служит по убеждению, ему одинаково должно быть стыдно и невыносимо от той роли, которую его заставляют играть, и положение его трагично. Но орловским инцидентом трагизм обострен до последней степени. Все ждут, смотрят, вопрошают... Что отвечать священнику?

Отсюда вижу батюшку где-нибудь в уездном городе, в доме предводителя дворянства например. Молебен только что отошел; с завернутым в епитрахиль Евангелием псаломщик ушел; батюшку просят откушать. В ожидании завтрака батюшку в гостиной «занимают». Уж чья это вина, не знаю — самого ли батюшки, или его начальства, или всего общества, каждого из нас,— только замечательно, что батюшку у нас всегда «занимают». Ни мы с ним не умеем, ни он с нами не умеет просто разговаривать. Он такой, как бы сказать, неучастник нашей общей жизни, что для него нужны специальные темы, особенный разговор. В присутствии батюшки как бы останавливается наша жизнь, и только по уходе его мы со вздохом облегчения к ней возвращаемся. Кто виноват, не знаю; свидетельствую лишь о грустном факте... После нескольких вопросов о здоровье матушки, о том, где псаломщик научился так хорошо петь, о том, как освящаются просфоры, о том, где лучше поставить новую икону, привезенную с Афона по подписке купечества, хозяин вдруг спрашивает: «Ну а что вы, батюшка, скажете о речи орловского предводителя к миссионерам?» А что ему сказать? «Резко как будто». Или: «Ведь это, скорее всего, вопрос полицейский». Или: «Что же нам сказать? Это вопрос высо-

кий, можно сказать, философский». Или просто вздохнет батюшка и, покачав головой, скажет: «Да, прискорбно, прискорбно...» А что прискорбно: то ли, что такие дела делаются, или то, что такие речи говорятся,— это остается неизвестным... Среди неловкого ожидания более пространного пастырского ответа раздается голос хозяйки: «Батюшка, закусить пожалуйте». О речи на миссионерском съезде больше ни слова. Только по уходе батюшки земский врач вдруг говорит хозяину: «Однако коварный вы батюшке вопрос задали»...

Что не все священники отмалчиваются, а с другой стороны, не все говорящие думают согласно образцу, утверждаемому «охранительной печатью» и «Миссионерским обозрением», тому пример письмо священника Черкасского в «Петербургских ведомостях», замечательное по ясности взглядов, смелости их изложения, а также как голос самокритики из среды духовенства, как вопль церкви о самой себе. Кстати, вот еще одно совсем непонятное явление. Защитники настоящего положения вещей все время клеймят тех, кто стоит за свободное, непринужденное исповедание веры, именем противников церкви; требование отмены уголовного наказания за отпадение от православия называется антицерковным движением. Не мне опровергать это после прекрасной статьи присяжного поверенного Плевако «Своя своих не познаша». Прибавлю только, что, по моему мнению, наоборот: защищать настоящее положение вещей, оправдывать принудительное исповедание православия и уголовное преследование отпадения можно только становясь в противоречие с духом Вселенской церкви. Впрочем, это станет ясно, когда подойдем к статье священника Потехина в ноябрьском номере «Миссионерского обозрения»; теперь обратимся к письму священника Черкасского. Вот что он говорит по существу вопроса:

«Не тяжело ли для всей нашей Русской земли и для нашего православия, что мы, вступая в XX век, до сих пор не можем отрешиться от обычая преследовать тех людей, которые не одинаково с нами мыслят, веруют и исповедуют иную веру? У нас отменено рабство телесное, но неужели можно спокойно смотреть на порабощение духовное?.. Если человек есть действительно свободное, разумное существо, то дайте же ему возможность свободно избирать веру и

исповедовать ее. Не преследуйте его, если он совсем отказывается от внешнего исповедания веры или переменил ее на другую».

Статья священника Черкасского — второе слово из среды духовенства в этом направлении. Было еще коротенькое скромное письмо в «Новом времени» под инициалом «У», в котором смелый батюшка заявляет, что преосвященный Никанор ошибается, а г. Розанов пребывает в полном согласии с апостолом Павлом.

К сожалению, в печати эти два голоса остались единственными из духовенства. Все остальное было в совсем ином и, должен сказать, безотрадном духе; и безотрадно не только направление, а самые способы мышления, приемы полемики. Прямо руки опускаются перед этой путаницей понятий, туманностью рассуждений, неточностью и произвольностью терминологии. Все, что появлялось на страницах «Московских ведомостей» за подписями Рождественских, Знаменских, Симанских и других, ряд возражений, опубликованных в «Орловском вестнике» и перепечатанных в других газетах, все это канцелярское богословие — какая-то логическая немощь, облекающаяся в елейно-благолепную церковность на подкладке политической благонадежности. Эта последняя нота так сильна, что она пробивается сквозь всякую другую аргументацию, лезет вперед, и теперь уже не только всякий церковный, но всякий философский вопрос на богословской почве превращается в вопрос полицейско-политический; это какой-то заколдованный круг, из которого никто выйти не может и в который непременно всякого хотят втащить. Вселенская церковь Христова больше не упоминается, христианство упоминается не в смысле доктрины — «вы мыслите, чувствуете по-христиански или не по-христиански»,— но в смысле организации, корпорации, и тут в смысле тела Христова нам говорят только об одном: *русская православная церковь,* и всякий вопрос, возникший на почве религиозной, переводится на почву «русскости». Все пускается в ход, чтобы это смешение понятий не только укрепить, но как бы освятить свыше. Уже апостолы, видите ли, знали, намекали, предвидели, предсказывали. Апостол Павел говорит, что антихрист придет, когда будет взят из мира «удерживающий». Оказывается, под «удерживающим» апостол

разумел русское самодержавие. В Апокалипсисе говорится о Деве с Младенцем во чреве. Оказывается, что эта Дева — православие, а Младенец во чреве — Россия. Что же удивительного, что, с одной стороны, простой народ говорит: «Известное дело, все святые говорили по-русски», а с другой стороны, г. Скворцов в январском номере «Миссионерского обозрения» называет требование свободы и непринуждения в делах веры подкопом под русскую государственность. Можно спорить против мнений, нельзя спорить со смешением понятий...

Через месяц после орловского инцидента появилась проповедь отца Иоанна Кронштадтского. Выписываю то, что было в газетах.

«В наше лукавое время появились хулители святой церкви, как граф Толстой и в недавние дни некто Стахович, которые дерзнули явно поносить учение нашей святой веры и нашей церкви, требуя свободного перехода из нашей веры и церкви в какие угодно веры.

Что это такое? Отречение от христианства, возвращение к язычеству, к одичанию, к совершенному растлению нашей природы? Вот куда ведут наши самозванные проповедники.

Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести потому именно, что он существо падшее, растленное, и у человека страстного и совесть грешная, и свобода растленная, а у иного и совсем сожженная.

Благодаря проповедуемой ныне Стаховичами свободе совести многие стали совсем жить без совести: юноши, женский пол, мужья и жены, торговые аферисты, банкиры,— отсюда жалкое растление многих.

Вообще жизнь утратила у многих христианский характер и стала хуже языческой. Отсюда происходят убийства, самоубийства, частые поджоги; отсюда неповиновение детей родителям, юных старшим, подданных начальству. Выходит все наизнанку...

Вот свобода совести к чему приводит».

Не подвергая разбору слова иерея, замечу только, что он под свободой совести разумеет нечто совсем другое, чем другие ее противники, так как говорит о ней как о чем-то, что у нас уже существует...

Малое знакомство публики с терминами и безразборчивое с ними обхождение полемистов внесло не-

мало туманности в полемику. Епископ Никанор и отец Иоанн прямо употребляют слова «свобода совести» в смысле «распущенность»; за ними и многие другие отождествляют требование свободы исповедания с требованием безнаказанности за всякие бесчинства и изуверства. На это даже и отвечать не приходится: пусть говорящие проверят сами себя.

Наконец вышел знаменитый ноябрьский номер «Миссионерского обозрения». В нем целый отдел посвящен орловскому инциденту. Статьи расположены в следующем порядке: 1. В. А. Тернавцева «Вопрос о свободе совести на Орловском миссионерском съезде». 2. Текст доклада Стаховича. 3. Епископа Никанора «Свобода совести как христианская основа». 4. Священника-миссионера Потехина «В чем находят себе оправдание меры государственного принуждения и воздействия на раскольников и сектантов». 5. Воронежского епархиального миссионера Т. Рождественского «Свобода совести и русское законодательство о сектантах». 6. Краткий свод словесных возражений тамбовского миссионера Айвазова, Тернавцева и редактора «Миссионерского обозрения» В. М. Скворцова.

Странное впечатление производят все эти статьи. Они снабжены, если можно так выразиться, всею оболочкой серьезного исследования, но на самом деле под оболочкой внешних приемов я напрасно ищу одного ясного, точного положения: все шатко, туманно, приблизительно, не говоря уже о противоречиях. Одно общее все-таки ощущается у всех этих авторов, одно ясно выраженное положение. Приведу его со слов священника Потехина, который выражает его наиболее просто, реально и, будем иметь смелость назвать вещи их именем,— наиболее цинично:

«Мы благословляем государственную власть в России, которая, начиная от помазанника Божия, благочестивого царя нашего, и кончая слугами его, всеми этими губернаторами, судьями, исправниками, становыми и урядниками,— так ненавистными «свободной совести» пропагандистов,— идет на помощь церкви, препятствует свободе отпадения и совращения и дает время пастырям и пасомым их исправиться и укрепиться, чтобы они наконец вошли в свою силу и просвещали бы, и охраняли бы, и спасали бы охраненное ими стадо Божие».

Итак, государство путем запрещений своих под

страхом уголовных кар сберегает паству церкви до каких-то неизвестных времен, когда она «наконец» «оправится» и уже сама будет заниматься ими.

Развивая свою мысль о «провиденциальном» значении государственной власти, священник Потехин договаривается до того, что будто бы «даже во времена гонений, когда государство стремилось разрушить церковь, даже в те времена эта самая власть в силу собственного принципа *закономерности* обуздывала народные движения против христианства и не давала врагам его со *свободной совестью*... до конца губить церковь Христову». И оказывается, что только благодаря заботливости языческих правителей, гонителей христиан, церковь спасена от гибели. «Язычники, иудеи, магометане вовне,— продолжает священник Потехин,— и бесчисленные еретики внутри церкви, все они, по человеческим понятиям, могли много раз разрушить церковь Христову, и все они были сдерживаемы рано или поздно «законом», мерами власти государственной, которая, сознательно или бессознательно, это другой вопрос, в своих собственных интересах или в интересах церкви, сдерживала совершение величайшего после грехопадения прародителей и распятия Христа на кресте беззакония — разрушение церкви Христовой».

До этого еще никто не доходил. Протоиерей Смирнов ставил сохранение чистоты веры в России в зависимость от твердости монархического принципа; преосвященный Никанор видит в русском единодержавии орудие, препятствующее воцарению в мире Антихриста; преосвященный Феофан находит, что Антихристу просторнее действовать в республиках и демократиях, потому что некому произнести «veto». Но, кажется, еще ни один церковный писатель не договаривался до того, что если врата адовы не одолели ее, то этим церковь обязана между прочим Нерону и Диоклетиану...

Итак, несокрушимость церкви обеспечена (так нас учат наши пастыри церкви) властью государственной, покоится на начале человеческом, земном, преходящем. Можно ли серьезно подойти к какому-либо выводу, выросшему на подобном основании? Можно ли серьезно говорить о вопросах церкви с теми, кто сам о ней так говорит? Очевидно, нет, ибо это разговор о разных предметах. То, что они называют церковью,

это нечто ими самими сочиненное, ими составленное и объясненное, но уже совершенно не то, что действительно есть церковь. Нельзя же в самом деле верить, что при перемене государственного строя в той или иной стране рухнет Вселенская Христова церковь. То, что построено на государстве, что на земных началах утверждено, то, конечно, испытает преходящесть всего земного, но Вселенская церковь не рухнет — по крайней мере это обещано, хотя священнику Потехину обещание это и не кажется вполне надежным и много раз, по его мнению, церковь висела на волоске. Убедить отца-миссионера в неосновательности его опасений, конечно, трудно, но еще труднее видеть в церкви, о которой он говорит как о спасенной от гибели мерами государственной власти, ту церковь, о которой сказано, что врата адовы не одолеют ее. Когда мне это скажет чиновник департамента, я ему скажу: «Виноват, вы не знаете, что такое церковь, вы заблуждаетесь». Но когда мне это или подобное вышеприведенным изречениям говорят пресвитеры и епископы, то я им говорю: «Вы знаете, что такое церковь, но вы ее искажаете».

Во всяком случае, мы должны быть благодарны священнику Потехину за то, что он высказал свои мысли до конца. Люди, стоящие на ложной почве, редко это делают; они чувствуют, что, чем дальше развивать корень, тем ярче выступит ложь, и это останавливает их. Так, верно сказал кто-то, что недоговоренная истина звучит как ложь, а недоговоренная ложь звучит как истина. «Договаривайте, договаривайте же!» — все время хочется крикнуть нашим полемистам. Скажите: можно или нельзя, справедливо или несправедливо, по-человечески или не по-человечески, по-христиански или не по-христиански? Или уже в таком мраке мы живем, что не различаем этих крайностей? Так скажите, можно ли оправдать настоящее положение вещей, не противореча смыслу, духу и свидетельству православной церкви? Священник Потехин сделал попытку такого оправдания; мы видели, к чему она привела. Во всякой стране, где есть церковная цензура, то есть цензура церкви без вмешательства гражданской, такие писания были бы осуждены как противоречащие свидетельству церкви о самой себе. Да и весь упомянутый номер «Миссионерского обозрения» производит впечатление какого-то отречения

церкви от самой себя ради чего-то другого, якобы более общего. Этому придается характер жертвы, даже подвига. «Церковные ведомости» прямо говорят, что в настоящем своем положении перед гражданской властью в России церковь «жертвовала собой для мира»... Очевидно, газета хотела или, вернее, не хотела сказать, что гражданская власть приносила церковь в жертву миру. Но как же церковь позволяла жертвовать собой? Иногда этому отречению от себя дается такое объяснение, что не церковь жертвует собой для мира, а пастыри жертвуют своим личным человеческим самолюбием ради церкви Божьей. Так, священник Потехин уверяет, что невыносимо тяжело положение миссионеров, которых вследствие вмешательства гражданской власти «клеймят именем гонителей веры, душителей свободы совести, новейшими инквизиторами»... Но мысль о судьбе церкви, говорит автор, стоит выше личных чувствований и расположений, и он с готовностью принимает всякие злохуления. Такой взгляд на дух своего пастырского служения и на свои обязанности перед церковью выставляется как признак смирения. «Именно в силу исторически сложившихся отношений церкви к светской власти миссионеры на Орловском съезде не входили в область вопросов общегосударственного значения. Храня по отношению к власти апостольские заветы послушания, они, видимо, верят, что остальное исполнит сам Господь». Неужели «смирение и простота» удержали их от обсуждения самых жгучих запросов духовной жизни человека? Можно лишь пожалеть об этом. Если мне скажут, что это неправда, что смирение это искреннее, я отвечу — тем хуже, ибо есть случаи, когда смирение перестает быть доблестью. Когда воин, поставленный для защиты сокровищ, вверенных ему царем его или народом, «из смирения» не поднимает оружия при приближении посягателей, смирение его не доблесть. Когда пресвитеры, воины воинствующей церкви Христовой, которым Бог поручил блюсти церковь свою, «из смирения» не поднимают духовного меча своего в отражение посягательств, откуда бы эти посягательства ни шли,— смирение их не доблесть.

Поменьше «смирения», г. Тернавцев, и побольше ясности. Что значит — «остальное совершит Господь»? Что это — остальное? То, о чем пастыри «по смирению» не говорили, а о чем «светский, посторонний

съезду человек» в противоречие со съездом заговорил? Как же Бог исполнит то, что вам, да и стольким пастырям кажется несправедливым и опасным и, наконец, антицерковным? Ясности! Ясности! — восклицаешь все время, читая наших полемистов. Епископ Никанор находит, что о свободе совести нельзя даже говорить, потому что это есть логический абсурд; отец Иоанн Кронштадтский говорит о свободе совести как о чем-то, что у нас уже существует, и перечисляет ее пагубные последствия; г. Тернавцев утверждает, что свобода совести переходит в свободу от совести, считает ее, значит, логически возможной, но нравственно нежелательной; священник Потехин считает выражение «гонитель свободы совести» клеймом для христианина, значит, признает свободу совести чем-то уважительным, чего преследовать и отнимать нельзя; по мнению миссионера Айвазова, отделение церкви от государства подобно отделению души от тела и «не может возбудить сочувствия с нашей стороны»; по мнению «Церковных ведомостей», от такого отделения церковь только бы выиграла (как известно, она «жертвует собой»).

Света! Мы молим о свете. Только не оттуда он, кажется, брезжит, откуда мы вправе ожидать его.

«На предложении Стаховича, — говорит Тернавцев, — необходимо остановиться с большим вниманием, потому что почти вся образованная Россия думает так же, как он». Да, и в этом наша надежда. И мы признательны г. Тернавцеву, что он взял на себя труд подсчитать нас; если бы это сделал один из нас, его бы, вероятно, обвинили в самообольщении. Но г. Тернавцев забыл присоединить к образованной России ту «необразованную», которая самою жизнью и понесенными за веру страданиями научена если не думать, то, во всяком случае, чувствовать так же, как мы.

«Совесть человеческая единому Богу токмо подлежит, и никакому государю не позволено оную силою в другую веру принуживать». Мы уповаем, что наступит день, когда эти слова Петра Великого будут выражать собой не теоретическое пожелание, а подтверждение практического порядка вещей в нашем отечестве. Всякая попытка оправдать противное идет вразрез с духом христианства и ведет к искажению понятия православной церкви. Если сами представи-

тели священства принимаются за такого рода задачу, то это только доказывает внутреннюю слабость церкви, вынужденной цепляться за постороннюю помощь и прибегать к чужим мерам, чтобы заменить бессилие своего меркнущего авторитета. Вернет же себе церковь свой авторитет только тогда, когда будет признана ненормальность ее канонического положения в России. А сейчас ненормальность больного организма объявляется нормальной, и ложными теориями силятся эту ненормальность оправдать. Это может усыпить умы, но не может излечить больного организма. Мы больны. Россия больна, и, что хуже всего, больна духом. Для оздоровления ее одно только средство — освобождение духа в делах веры от вмешательства недуховной власти и возвращение церкви утраченного авторитета. Считаю это главной, существеннейшей, более того — единственной реформой. Не хочу сказать, что когда это будет, то настанет золотой век, но пока этого не будет, все другие реформы — напрасная трата сил.

Я сказал, что доклад этот я читал в разных домах и что в свое время были записаны у меня отзывы и разговоры. Припомню кое-что не столько в виде оценки моей работы, а ради характеристики тех людей, чьи слова привожу.

Когда я написал принцессе Елене Георгиевне Альтенбургской с предложением прочитать у нее доклад по вопросу о свободе вероисповедания, она ответила запиской, в которой писала: «Конечно, чем больше об этом, тем лучше». Брат ее, принц Георгий Георгиевич Мекленбургский, выслушав чтение, сказал: «Никогда еще в петербургской гостиной не было высказано столько правды». Здесь же на чтении у принцессы присутствовал поэт граф Голенищев-Кутузов, типичный представитель официального мышления и благонамеренного вероисповедания. Брат мой Петр во время чтения наблюдал за ним; он сказал мне: «Кутузов краснел все больше и пыхтел так, что страшно за него становилось». Брат мой в свою очередь был предметом наблюдения: доктор Петерсон, известный дерматолог, сказал мне: «Как интересно было наблюдать за лицом вашего брата во время вашего чтения; такая живость, такая подвижность». Известный пи-

сатель, юрист Анатолий Федорович Кони подошел и сказал: «А Победоносцев топнет ногой и скажет «Eppur non si muove» (то есть «а все же не движется» — искажение слов Коперника о вращении Земли).

У великого князя Владимира Александровича я нашел ясное и тонкое понимание общечеловеческой стороны вопроса и наткнулся на традиционное «но», встающее всегда между принципиальными вопросами и их применением к России. Бедная Россия, которую всегда кормили каким-то детским сгущенным молоком, как ребенка, у которого еще зубки не прорезались, и не дай Бог, чтобы прорезались...

Глубоко взволновало меня отношение старика графа Палена. Помню, как на концертном балу в Зимнем дворце окликнула меня графиня. Кто помнит концертные балы? Есть еще такие, что помнят? В дверях между «концертным залом», где танцуют, и «арабской», где играют в карты, всегда сидели старые статс-дамы, смотрели, разговаривали, вспоминали и судили: увядшая краса, увешанная драгоценностями, почтенная старина, украшенная знаками отличия и благоволения. Мне всегда казалось, что в этом месте «арабской залы» паркет горячий. Тут около двери в танцевальный «концертный зал» — другая дверь, в «малахитную», где царская семья пьет чай. И это преддверие, отделенное стеклянной дверью, всегда насыщено беспокойством, любопытством, некоторым страхом. Тут или сидят, или торопливо скользят. Скользят адъютант или фрейлина, пролетает с закорючистым пером на кивере своем придворный скороход, в то время как у ломберных столов сидят за картами — эполеты, лысины, оголенные, давно уже не молодые плечи, Андреевские ленты и нагрудные портреты... Почему я там очутился?..

— А, Волконский, мы знаем, что вы заняты интересными вопросами и пишете интересные вещи.

Кланяюсь милой старушке графине Пален.

— Мой муж так интересуется, но он болен, никуда уже не ездит. Будьте милы, как-нибудь приходите к нам позавтракать, а после завтрака ему почитаете.

Подробности разговора нашего после чтения я забыл; но помню, что после глубокого молчания, смотря в точку перед собой, старик сказал: «Я думаю, кто тот человек, который бы мог передать ваш доклад

государю...» Я остолбенел. Мне показалось в эту минуту, что всякий может себе ставить этот вопрос, но только не он, ибо кто же, как не он, может передать? Он, рыцарь без страха и упрека, он, бывший министром юстиции, он, верховный церемониймейстер во время коронации, он, достигший предела всех наград и всякого доверия? Но я не подумал об одном — он лютеранин. У нас не умели никогда верить безотносительности заявлений иноверца в области этих вопросов. Когда человек поднимал голос и нельзя было придраться к нему лично, всегда находили аргументы, подтачивающие беспристрастность его заявлений. Говорили: «Ну да, известное дело, он получил заграничное воспитание», или: «У него бабушка лютеранка», или: «У него фамилия польская», или «У него мать католичка» и пр. и пр.

Нельзя перечислить, во всяком случае, я не могу перечислить всех нелепостей, которые говорились по поводу моего доклада, но, перечитывая эти строки, написанные двадцать лет тому назад, и сейчас еще задыхаюсь от тогдашнего угара. Кричит разум, совесть вопиет, и встает на дыбы все внутреннее существо. Ясно становится, что *не могла* держаться такая ложь; она *должна* была рухнуть. Но в мире нравственном зло, которое рушится путем уничтожения, а не путем врачевания, приводит к *обратному* злу — как отражение в воде опрокидывает колокольню; и физический принцип возмещения превращается в нравственный принцип *возмездия*.

Сейчас мы проходим через период возмездия, и, как всегда бывает, страдает огромное большинство людей неповинных. Против возмездия ополчаться нельзя, его можно только сносить: чем глубже причина, тем неизбежнее последствие. Но возмездия ниспосылаются не ради одного только наказания, а ради возрождения. Условие возрождения — осознание причин, осознание своего греха. Есть ли в нас это осознание? Сомневаюсь. Я думаю, что в этих вопросах если произошел сдвиг, то очень незначительный в смысле численности; опасаюсь, что люди, покинувшие Россию и там, за рубежом, работающие над «восстановлением», понимают это восстановление в цельном смысле этого слова. Боюсь, что, выйдя за пределы

родины, они только переменили место и унесли с собой все то самое, чем жили прежде,— без разбора, без проверки, без переоценки. И в поклаже их остались невытравленные зародыши, невырванные корни старых неосознанных грехов, старой, ими не ощущавшейся болезни. Заставить людей ощутить болезнь своего миропонимания, заставить почувствовать присутствие разлагающегося яда в том, из чего они хотят строить, есть обязанность всякого, кто сам это чувствует. Вот почему счел долгом своим дать место на этих страницах тому, что затемняло нашу жизнь в те минувшие годы, об исчезновении которых столь многие сокрушаются.

Большевизм смахнул все прошлое — с тем хорошим, что в нем было, но и с тем плохим, что в нем было. Сокрушаться об исчезновении хорошего — бесполезная трата чувствительности; но осознание плохого, оценка его и закаление себя в ненависти к этому плохому — есть воспитательный долг тех, кто хочет работать над восстановлением *достойного* отечества. Не для того большевизм все опрокинул, не для того на месте лицемерия поставил цинизм, чтобы мы на пустом месте этого цинизма восстановляли лицемерие.

Так думаю я, сидя в холодной, уплотненной квартирке Шереметевского переулка в Москве, в то время как там, за рубежом, происходят совещания: претенденты, бывшие министры, бывшие думцы, епископы, журналисты... В квартиру вчера вселили проститутку; комендант ходил по коридору и кричал: «Если не поставите ей кровати, в двадцать четыре часа вы будете выселены». У нее ночевали две женщины и мужчина; песни до трех часов ночи... В коридоре напротив меня женщина с четырьмя детьми — с семи часов утра визг и гам... Ухожу в прошлое. Пишу. Даже картины прошлых грехов дают утешение от окружающей действительности. В них побудительная сила, побуждение к работе — все-таки *жизнь*; здесь кругом одно умиранье, надвигающаяся *смерть*... Ухожу в прошлое. Хочу теперь рассказать, как вопросы, затронутые в предыдущей главе, отразились в нашей семье.

Это было в Риме. Я сидел у одного католического священника и читал ему русскую рукопись. Он не знал, кто я такой. Почему я к нему попал и какую рукопись читал, это будет сказано в своем месте. Он слушал и вдруг прервал меня:

— Это большой богослов писал.

— А если я вам скажу, что это писала женщина?

Он посмотрел на меня, его глаза расширились:

— Так это княгиня Волконская!

— Да.

Моя мать написала две книги по церковным вопросам. Одна называлась «О церкви» и была напечатана в Берлине приблизительно в 1887 году. Другая — «Церковное предание и русская богословская литература» — вышла во Фрейбурге через год после ее смерти, в 1898 году. Я не буду излагать содержание этих трудов и превращать страницы моих воспоминаний в богословский трактат или в арену церковной полемики; но я хочу обрисовать смысл этих книг, указать место, какое они занимают в биографии автора, как принципы, руководившие пером его, сказались в жизни и что дало столкновение этих принципов с действовавшими тогда течениями общественной и правительственной мысли. Имя моей матери, ее книги, то, что по поводу этих книг писалось, что разыгралось вокруг нее в момент ее смерти,— все это заслуживает внимания исследователя русского общественного мышления. Смотрю на дальнейшие строки не как на семейные воспоминания, а как на материал, который предлагаю будущему исследователю.

Думаю, что из предшествующих глав ясно обрисовалась удушливость той нравственной атмосферы, в которой мы жили. Для человека с сильной духовной жизнью в области вопросов веры она была невыносима. Кто мог работать на пути прояснения и оздоровления атмосферы, работал. Моя мать сделала из этой работы задачу своей жизни.

В ее трудах надо различать две стороны: церковно-богословскую, католическую, то есть апологию первенства римского епископа перед прочими епископами, первенства, божественно установленного через апо-

стола Петра и исторически осуществленного церковным признанием, и — сторону государственно-юридическую, общественно-воспитательную, то есть требование духовной свободы в делах веры, права каждому верить по совести своей, а не по принуждению и равенства всех в этом отношении перед законом. Разграничение этих двух сфер очень важно для правильной постановки разбираемых вопросов. У нас в России они смешивались; ни богословское мышление, ни бюрократическое не умели их разъединить. Между тем в разъединении их залог логической ясности, неподкупности и бескорыстия выставляемых требований. Я уже указывал на то, что у нас как только человек поднимал голос за свободу веры, его сейчас подозревали, его требованию подыскивалось постороннее побуждение — церковники говорили: он не православный, шовинисты говорили: он не русский, бюрократы говорили: он неблагонадежен. Никогда не умели у нас верить в искренность принципиальных требований. Работы моей матери дышат принципиальной искренностью. Не для того она ратовала за католичество, чтобы закон гражданский и уголовный *карал* другие веры; не потому она ратует за свободу веры, чтобы оградить католичество *преимущественно* перед прочими вероисповеданиями. Искренность побуждений и беспристрастие требований сообщают ее писаниям их внутреннее равновесие.

И однако, так искалечены наши умы, извращено наше мышление, что люди не сумели даже почувствовать эти личные качества автора.

Первая книга, «О церкви», вызвала бурю негодования среди представителей чиновного православия. Но еще показательнее, нежели негодование, был тот переполох, который овладел умами. Они очутились перед новым, совершенно им незнакомым противником. Они, взросшие в неискренности официального вероисповедного оказательства, в полемических приемах чиновно-богословской литературы, оказались лицом к лицу с искренностью, убежденностью и логикой такой, что не поддавалась подкопу. Естественен переполох. Протоиерей Лебедев сказал: «Эту книгу писали пятнадцать иезуитов, а княгиня Волконская дала только свое имя». Как типичен этот отзыв о книге, которая вышла анонимно, и как он рисует растерянность людей, непривычных к логическому мышле-

нию. Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, выразившийся про мою мать: «Самая опасная женщина в России», назначил двух официальных оппонентов, профессора Казанской духовной академии Беляева и настоятеля петербургского Казанского собора, упомянутого протоиерея Лебедева. Они написали свои опровержения на книгу «О церкви». Интересующиеся найдут разбор этих опровержений и оценку их критических приемов во второй книге моей матери. Здесь скажу лишь, что ни перед какой низостью не остановились наши чиновники богословия, чтобы не только подорвать доверие к книге, но и опорочить автора. Довольно сказать, что опечатки берлинского издания были использованы и обращены в укор автору как сознательные с его стороны искажения; он был обвинен в самых чудовищных подлогах. Я уже не говорю о всяких побочных обвинениях в области того, что принято называть инсинуациями,— отсутствие патриотизма, неблагонадежность, «польские симпатии» и тому подобная оскорбительная дребедень.

Практических последствий с точки зрения закона все это не имело. Ее положение общественное ограждало ее. Александр III, узнав о ее переходе в католичество, сказал: «А для меня она все-таки останется православной». Странные слова. Если принимать их в объективном смысле, то это какой-то самодержавный каприз; если же принимать их в субъективном смысле, то это какая-то добровольная слепота. Во всяком случае, закон закрыл глаза. Но это лишь усугубляло нравственное страдание матери. Сознавать, что благодаря своему общественному положению она пользуется неприкосновенностью, в то время как тысячи безвестных бедняков страдают,— какое мученье в этом преимуществе! Она ничего не скрывала и от авторства не отказывалась. Положение перед законом было ответственное: католическая пропаганда каралась лишением собственности, не говоря о заключении в монастырь, покаянии и прочих мерах увещевательного характера. С этой точки зрения слова Александра III принимают еще и другое значение и получают характер высокомилостивый, как не допускающие применения закона. Для моей матери, конечно, быть лишенной любимой Павловки, единственного места, где она дышала свободной грудью и могла в своей библиотеке работать без стеснения, было бы не только

горьким испытанием, но было бы равносильно невозможности продолжать свою работу. А она решила продолжать ее и продолжала.

Она начала большую работу в ответ на критику, которой была подвергнута ее книга. Этот труд был много значительнее первого,— плод семилетней работы. Но она не хотела, по причинам, о которых скажу ниже, издавать его при жизни. Как ни трудно было ей жить под гнетом гнусных обвинений, она молча переносила этот гнет в течение семи лет и только иногда, и то мимоходом, без всякой особенной настойчивости говорила: «После моей смерти ты напечатаешь». Говорилось это не как просьба и не как торжественный завет, а как нечто, что будет, потому что не может не быть.

Условия, в которых она работала, были очень трудны. Вряд ли какой-либо профессор согласился бы писать серьезный труд в такой «некабинетной» обстановке. Только в Павловке была она действительно свободна, имела совсем уединенную комнату; только там никто ей не мешал, никто ее не отрывал. Только в Павловке имела она возможность разнообразить свой труд таким отдыхом, который был ей наиболее по сердцу: от «святителей» своих (так мы называли ее работу) она с садовыми ножницами и пилой шла к своим деревьям и кустам. И елки, и каштаны, и дубки, и белая акация, и бересклет были наперсниками ее дум; и часто, возвращаясь домой с охапками цветов, с пригоршнями семян, с карманами, набитыми желудями или червьими гнездами, которые сжигались на кухне, она приносила с собой новую мысль, проект новой главы или какую-нибудь блестящую полемическую искру. С приливом духовной жизни возвращалась она после всякого общения с природой. Большая грудь, какую я видал только на античных статуях, дышала с вольной полнотой, и переход от работы физической к умственной совершался с такой естественностью, как будто она была лишь видоизмененной формою другой. Стройная простота движений, совершенно античное согласие с природой при высокомерном пренебрежении к внешнему украшению, величие истинного аристократизма. Удивительна была линия черепа от зарождения носа до затылка, и удивительна чистота этой линии под гладко приглаженными черными волосами. Прекрасна была ру-

ка, немножко пухлая, но крепкая, с выпуклыми ногтями; жест был выразительный, с чисто латинской меткостью.

Ее комнату в Павловке я хранил в том виде, в каком она ее оставила. Внизу угловая комната с единственным окном во двор, на запад; письменный стол наборного дерева, итальянский, складной стул такого типа, что во Флоренции называется «стул Савонаролы». Комната суровая, не «дамская»; по стенам виды Италии, фрески из церкви в Ассизи, двор дворца Барджелло. На столах книги — Данте, большой с застежками том Четьи Минеи... Все это просуществовало после нее двадцать два года, та самая обстановка, в которой она работала там, в Павловке, среди своих дубов. Не могу не вспомнить, что после смерти ее мы, как водится, заказали парчовый покров. Когда его принесли и мы покрыли ее, сестра моя сказала мне: «Посмотри на галун». Я посмотрел — на нем был орнамент из дубовых листьев и желудей...

Павловка благодаря равномерности, с которой она удовлетворяла духовным стремлениям моей матери, сделалась потребностью ее природы. В другом месте записок (последняя глава «Странствий») я говорю о значении, какое имела для нее Италия; но я не знаю, что, собственно, владело больше ее существом,— Италия или Павловка. Италия была для нее очагом самокультуры, источником духовного самообогащения. Павловка совмещала в себе все то, что привязывало ее к другим. Чувство Родины, до боли владевшее ею, имело здесь соприкосновение с землею и людьми. И проникновение ее в окружающую жизнь было столь же внешне мало заметно, сколько внутренне глубоко и ценно. По крайней мере в феврале 1918 года, уже после утверждения большевистского владычества, на волостном сходе в селе Павлодаре, где присутствовало 750 человек, крестьяне вспоминали с признательностью об участии, с каким входила в их нужды «покойная княгиня»...

В Петербурге условия работы были много труднее. Суетливость общественной жизни стучалась в дверь, вместо одиночества — толчея; на несколько человек единомышленников целое море безразличных. Да, труд был труднее. Случалось, что, вернувшись с придворного бала, она ночью садилась за рукопись. А настоящего вознаграждающего отдыха не было. Наконец,

в Павловке она имела под рукой свою библиотеку — редкое собрание книг: творения отцов церкви, сочинения по богословию и по истории церкви на русском, французском, немецком языках. Драгоценное это собрание книг, несущих пометки ее карандаша, свидетельство большой, упорной ее работы, сейчас свалено в Народном доме уездного города Борисоглебска... Эту библиотеку она, конечно, не могла с собой возить; только рукопись ее с ней вместе переезжала и в вагоне всегда в ящике лежала у нее под ногами. Иногда в вагоне она писала ночью. Но книги нельзя было перетаскивать, и в Петербурге приходилось ходить в Публичную библиотеку... И, несмотря на все это, труд ее жизни был окончен ею — за пять месяцев до смерти. Хорошо помню, когда она поставила последнюю точку.

Мы сидели в Павловской библиотеке. Перед ней лежала рукопись. Вдруг рука отделилась от бумаги, она сказала: «Кончено». Большой вздох облегчения вырвался из груди. Было 14 сентября, день Воздвижения Креста, 1896 года. Ровно через пять месяцев, в Петербурге она скончалась. Она заболела крупозным воспалением легких в субботу, 8 февраля, в шесть часов вечера. До последней минуты своей она жила вопросами свободы веры; ее бред был полон турецких ужасов в Армении — в то время весь Ближний Восток был охвачен религиозными гонениями, и имя константинопольского квартала Буюкдере все возвращалось на уста умирающей. И еще возвращалось имя Торквемады — так звала она Победоносцева, виновника русских гонений. Мысль о книге не покидала ее, и в одну из минут сознания, перед самой смертью, она сказала моей сестре: «Просмотри примечания». Она опочила в субботу, 15 февраля 1897 года, в шесть часов утра, пятидесяти восьми лет от роду.

Когда стало ясно, что болезнь будет иметь смертельный исход, отец мой пригласил католического священника, отца Лагранжа, бывшего духовником моей матери. Она была тем более тронута этим знаком внимания, что до того никогда вопрос перемены веры между ними не затрагивался. Отец стоял далеко от этих вопросов; он был натолкнут на них обстоятельствами семейной жизни, но они не выдвигались его духовною потребностью. Как я уже имел случай упо-

мянуть, он держался обычаев официально установленного образца, а на случаи уклонения от официального образца смотрел главным образом с точки зрения того, что французы называют «le qu'en dira-t-on» (что скажут другие). Случай уклонения в собственной семье был ему очень неприятен, наполнил его тревогой и раздражением. Появление книги моей матери вызвало взрыв гнева, но узнала она об этом через его письмо, он сам ничего не сказал; у нас вообще в семье мало говорили, сцен не бывало. Но всего этого было достаточно, чтобы мать моя решила больше печатно не выступать и принять на остаток дней своих крест молчания. Понятно, что внимание отца на смертном одре было ею оценено. Но как только она смежила очи, уже все побуждения, руководившие отцом, стали не нужны и встали перед его сознанием исключительно соображения официально-служебного характера.

Отец Лагранж сказал, что ему, с точки зрения церкви, безразлично, по какому обряду будет совершаться погребение,— он напутствовал душу покойной, пусть родные поступают с телом по своему усмотрению. Отец пожелал, чтобы погребение было по православному обряду. Но кроме этого положительного желания у него было другое, отрицательного характера: непременно скрыть внешнее оказательство того, что мать была католичка. Непривычность к этим вопросам, чисто внешнее с ними соприкосновение выдвигали перед ним вечный вопросительный знак: что скажут? Нам, детям, эта странная игра в прятки была крайне неприятна, и, когда пришло время послать в газеты объявление о панихиде, мы настояли, чтобы отец включил между утренним и вечерним часами, как обычно полагается, в 2 и в 8, еще и третий — в 5 часов. Это был тот час, когда отец Лагранж совершал панихиду по католическому обряду. Объявления вышли на второй день утром.

Тем временем пришло от митрополита уведомление, что разрешение на совершение обряда похорон готово и просят прийти за ним. Брат Саша пошел в Лавру часа в четыре, но вернулся ни с чем; обещанное разрешение митрополитом не было подписано, и митрополит приглашал отца посетить его в девятом часу. Что же произошло за эти несколько часов? Произошло то, что Победоносцев увидал газетное объ-

явление о трех панихидах. Он вспылил: «Что это? Глумление какое-то!» Должен сказать, что нахожу гнев Победоносцева с его точки зрения совершенно понятным, более того, нахожу и точку зрения его правильной, а точку зрения моего отца ошибочной. Победоносцев стоял на почве церковной, отец — на почве чиновного компромисса. Как бы то ни было, вечером мы с отцом собрались к митрополиту. У нас шла панихида, дом был полон народу; мы вышли с другого крыльца, поехали в Невскую Лавру.

Дорогой я видел, как отец сильно был обеспокоен тем, какой оборот примет дело.

— Да никакого оборота нет,— говорил я.

— Ах, вы, дети, ничего не понимаете; я немножко больше вас на свете живу.

— Я никак не пойму, в чем тут страшная сторона.

— Ну как же ты не понимаешь. Мария Феодоровна может приехать на панихиду. Ну, не дай Бог, приедет на католическую.

— Ну и что ж, говорю, императрица больше удивится, если увидит, что католичку отпевают по-православному.

Сговориться было невозможно... Мы подъехали к Лавре.

Митрополита Палладия я помнил с детства. Он был архиереем в Тамбове и, объезжая епархию, был у нас в Павловке. Помню такую подробность. Это было в июне месяце; нам в первый раз принесли землянику. Отец с архиереем на террасе после обеда кофе пили, а мы, дети, под дубами сидели и большими глазами смотрели на блюдо земляники, которое стояло перед ними. Мы находили, что это длится слишком долго. Подумайте только — первая земляника в году, и, может быть, пройдет мимо нас... Наконец я собрался с духом; взбегаю по ступеням террасы, протягиваю руку к блюду:

— Ваше преосвященство кончили землянику?

— Кончил, кончил, спасибо... Отличная земляника... Очень хорошая земляника.

Последних слов я уже не слушал — я бежал с блюдом под дубы... Отец часто после попрекал, как это я, вместо того чтобы угощать архиерея, вытащил у него из-под носу... Это было давно, в семидесятых годах...

Митрополит Палладий был старик очень благообразный, приветливый, с мягкой речью, но с очень, по-видимому, определенным и неколебимым решением относительно данного случая. Решение, конечно, было продиктовано Победоносцевым, раз утром еще у митрополита было намерение дать разрешение. Что меня больше всего во всех тогдашних обстоятельствах поразило, это отсутствие в столь важных вопросах определенных, церковной властью установленных и церковным взглядом освященных правил. Вместо церковного глагола — ожидание министерских, как теперь принято говорить, «директив». Помню, в те же дни скончался член Государственного совета Гроот, протестант. Ведомство императрицы Марии просило разрешения отслужить панихиду. Митрополит разрешил,— но «без свечей»...

Итак, в нашем деле митрополит был настроен очень определенно. Как отец ни пытался «смягчить» католичество покойной матери, как ни подчеркивал православные традиции дома, митрополит был непреклонен и «посоветовал» отпевать в католической церкви. На последнюю попытку отца склонить его он довольно твердо сказал, что если он разрешит православное отпевание, то попадет под суд; затем, отпуская с благословением, снова «посоветовал» отпевание по католическому обряду. Единственное, что отец выхлопотал,— разрешение совершить погребение по православному обряду. Погребение по первому предположению отца должно было иметь место в Павловке. Но там, в ограде церковной, митрополит наотрез отказал. Тогда отец спросил, возможно ли похоронить в Фалле, объяснив, что это есть имение под Ревелем, что там маленькое семейное кладбище в лесу. Здесь препятствий не встретилось: окраина, в лесу, как будто за глазами,— митрополит дал разрешение.

Так случилось, что через день многочисленная толпа, провожавшая гроб по Моховой улице, увидела, что гроб сворачивает не влево, на Литейную, чтобы направиться в Знаменскую церковь, как стояло в газетном объявлении, а направо, на Фонтанку, и оттуда через Симеониевский мост на Невский и в католическую церковь св. Екатерины.

Все это в свое время вызвало много шуму. Всякий шум вокруг могилы неприятен, но здесь помимо самого шума было и другое. Никогда, кажется, по поводу никакого другого факта не было высказано столько глупостей, никогда не обнажалось в такой степени убожество нашего мышления в важнейших вопросах духовного существования, как по случаю смерти моей матери. В то время как одни злорадно улыбались тому, что отец хотел скрыть, а не удалось, другие кричали, что это есть «торжество католицизма». Одни негодовали на католическое духовенство за то, что оно вырвало такую жертву, другие негодовали на православную духовную власть за то, что она разрешила католический обряд. Одним словом, если неприличен был шум, то гораздо неприличнее было то, что во время этого шума говорилось. Я уже забыл те перлы мыслительного убожества, которые тогда сыпались направо и налево, но одно замечание помню. Один почтенный старик, генерал Давыдов, сказал, что, конечно, княгиня Волконская совершила большой грех своим отступничеством, но ведь на панихиде была императрица и приложилась к покойнице; а ведь императрица помазанница, следовательно, через ее молитвенное прикосновение покойная получила отпущение...

Несомненно, однако, и то, что если, с одной стороны, все, что произошло вокруг смерти моей матери, вызвало наружу мрак, царивший в умах по важнейшим вопросам духовной жизни, то, с другой стороны, оно способствовало прояснению многих умов. Ведь пришлось, вопреки закону, признать силу личного выбора в делах веры; пришлось не только официально допустить, но официально *предписать* католические похороны такого человека, который по букве нашего нелепого законодательства не имел права быть католиком. И этот человек был не безвестный какой-нибудь крестьянин Минской губернии, которого исправник после смерти причисляет к православным, а это была княгиня Волконская. Это была женщина, стоявшая на виду и про которую ни один человек не сказал, что она душой не русская. То закоренелое убеждение, что только православный — истинно русский, что русский может быть только православным, должно было расколоться под лезвием очевидности. В высших сферах, куда вопросы принципиальные с

таким трудом проникают, частный случай заставил призадуматься, вывел общий вопрос на поверхность гласных обсуждений.

Я тогда все подробно рассказал великому князю Владимиру Александровичу и великой княгине Марии Павловне. Скажу здесь, что Владимир Александрович был человек исключительной чуткости и редкого образования. Мало кто знал его с этой стороны, и даже укоренилось о нем мнение, идущее вразрез с настоящим его духовным обликом. Он и сам в этом виноват; пренебрежение ли к человечеству или обесценение самого себя, но он не только не высказывался при людях, а как будто находил забаву в том, чтобы разрушить то хорошее впечатление, которое мог произвести. За внешней резкостью, даже язвительностью не многие знали истинную глубину чувства и тонкую отзывчивость, на какую была способна его природа. Моя мать ставила его в число самых выдающихся людей, каких она встречала... Я воспользовался всегдашним добрым отношением, а также разрешением великой княгини обратиться к ней в случае каких-либо затруднений в связи с волновавшими нас тогда обстоятельствами и написал письмо с просьбой принять меня. Помню, когда принес письмо, швейцар сказал, что у великой княгини прием, а во время приема письма передавать не приказано. Но я, опираясь на разрешение, просил, несмотря на прием, все же передать письмо. Великая княгиня распустила своих гостей, пока я ждал в соседней гостиной, и вышла ко мне. Упоминаю об этом так подробно, потому что рисуется в этих подробностях напряжение момента.

Великой княгине и великому князю навсегда сохранил признательность за их внимание. В то время они еще имели некоторое влияние. Знаю, что они много по этому поводу с государем говорили. Николай II в то время сохранял известную свежесть впечатлений; яркие факты на него действовали; императрица еще не замыкалась в мрачном кольце неврастенического мистицизма; о Распутине еще не говорили. Николай II в душе правильно чувствовал. Да и как мог не чувствовать он, принадлежа к семье, в которой в течение двухсот лет женщины были из иного вероисповедания. Не мог он не чувствовать значения свободного выбора в делах веры, не мог не чувствовать нелепости и жестокости чиновного гнета в этих вопросах. Пом-

ню, когда-то, в конце девятидесятых годов, приезжал в Петербург англичанин Стэд, известный пацифист, основатель, кажется, Лиги мира. Он был принят государем. Интересно он выразил тогда свое впечатление. Он сказал, что, когда он говорит с Николаем II, он чувствует себя перед культурным человеком; когда же он читает в газетах правительственные распоряжения,— это исходит от некультурного правительства... Тут было трагическое столкновение личности с чиновными традициями. Личность была слаба, традиции обладали силою устрашения — и личность уступала. Тем не менее кто имел возможность говорить с государем в настоящем смысле, не терял надежды на то, что личная природа возьмет верх над чинобоязнью. Когда мой отец после смерти матери представлялся государю, он, много за те дни испытавший и понявший разумом то, через что прошел душой, в конце разговора сказал Николаю II: «Позвольте, государь, выразить надежду, что когда-нибудь над нашей родиной взойдет заря свободы веры».

Думаю, после всего этого я вправе сказать, что манифест Николая II от 17 апреля 1905 года о свободе вероисповедания стоит в известной связи с тем, что рассказано выше. Верю тому, что имя княгини Елизаветы Григорьевны Волконской лежит невидимо под этим государственным актом. Сама она всегда мечтала о таком манифесте, и ей предносился он в виде повторения Миланского эдикта: чтобы русский царь в девятнадцатом веке повторил подлинные слова, императором Константином провозглашенные в четвертом. Кто бы дерзнул сказать, что слова Равноапостольного клонятся к ущербу православной церкви?..

Хочу здесь упомянуть маленькую подробность, факт, случившийся много лет позднее, именно зимой 1900 года. Я никогда с Победоносцевым не встречался; ни мой возраст, ни мое бесчиновное положение не давали к тому повода. Но в бытность директором императорских театров я однажды был приглашен на обед к германскому послу князю Радолину. Обед официального характера, но с Радолинами нас связывало одно обстоятельство не совсем обычного характера. В те дни, когда умирала моя мать, у них умерла малолетняя дочь. Гроб этой девочки стоял в том же склепе Екатерининской церкви, в котором стоял гроб матери в ожидании перевоза в Фалль; здесь мы иногда

встречались... Когда я вошел в гостиную, большое общество гостей было разделено на две группы; я подошел к той, которая была ко мне ближе. В дальней группе я заметил Победоносцева. Вдруг и он меня заметил. Старик перешел через всю гостиную, чтобы подойти ко мне и протянуть мне руку. Должен сказать, что до сего дня вспоминаю об этом с тем чувством, с каким вспоминается всякое действие миротворящего характера...

Когда все утихло, что так шумно поднялось вокруг смерти матери, пришло время подумать о рукописи. Мы сказали отцу о ее существовании; он признал нравственное обязательство ее издать. Мы принялись за переписку. В этом деле участвовало несколько человек. Моя сестра, всегда бывшая сознательной сотрудницей матери; Наталья Сергеевна Ушакова, ближайший друг матери, выдающийся человек по силе и ясности ума; Евгения Владимировна Саломон, жена Александра Петровича, о котором упоминал в одной из предыдущих глав; жена моего брата Петра, Елизавета Алексеевна, и ее сестра княжна Маня Шаховская. Мне была поручена редакция. В отделанном виде я читал рукопись у старика Михаила Дмитриевича Жеребцова, жившего в прекрасном своем доме на Дворцовой набережной, — тонкого, умного старика, одного из виднейших представителей русского католицизма. Когда все было кончено, я повез рукопись заграницу, в Фрейбург, где было специальное издательство по церковным вопросам—Гердера. Издатель с охотой принял книгу, но только нужно было перед выпуском получить епископское одобрение. Издательство Гердера было то, что называется imprimerie pontificale*; оно принимало к печати только одобренные с церковной точки зрения сочинения. Такое епископское разрешение называется «imprimatur» (да печатается). «Разрешение, — сказал мне Гердер, — вы легко получите; только нужно найти священника, знающего по-русски, он, прочитав книгу, даст свой отзыв, на основании его отзыва наш фрейбургский епископ даст разрешение. Такого священника вы в Риме легко найдете». В течение лета я дер-

* Епископская книгопечатня *(латин.)*.

жал корректуру; это было довольно трудно; наборщики, вероятно, плохо знали по-русски, и некоторые страницы корректурных листов кишели поправками, как муравейник муравьями. Первый корректурный экземпляр я сохранил, переплел его; он был в моей Павловской библиотеке...

Найти в Риме католического священника, знающего русский язык, было не так легко, как казалось моему фрейбургскому издателю. Под Рождество получил от него письмо, в котором он говорит, что книга готова, но обложку он не может печатать, не имея разрешения. Я ему ответил отчаянным письмом, утратив всякую надежду на увенчание моих поисков. В самом деле — никого. Прежде всего я отправился в польское убежище Св. Станислава (Via delle Botteghe Oscure). Там был настоятелем некий отец Астромов, русский. Я оставил ему корректурные листы, зашел через три дня. Наткнулся на человека, раздраженного до последней степени. Ему не нравился тон сочинения; он находил, что полемика слишком мягкая; такие выражения, как «почтенный профессор духовной академии», по отношению к Беляеву он называл «белые перчатки»; тонкость иронии от него совершенно ускользала. Я не совсем хорошо понимал эту желчь и это раздражение, когда вдруг у него вырвалось: «Помилуйте, я тридцать лет работаю над этим, а тут даже мое имя не упомянуто!» Вот оно что, подумал я. «Нет, вы ищите другого, а я поддержать такое сочинение не могу». Сколько я тогда обошел школ, конгрегаций, семинарий; сколько лестниц, длинных коридоров! Один занят срочной работой, другой уезжает в командировку, третий болен, четвертый знает по-польски, а по-русски не понимает...

Получил от Гердера ответ: «Обратитесь в Германскую семинарию на улице Рипетта к патеру Флику». Патер Флик, в красной рясе германских семинаристов, сидел, простуженный, хриплый, в своей холодной келье. Безучастно и даже сурово поглядел на меня и сказал: «Обратитесь к монсиньору Скирмунту, Via delle Finanze, 6». Монсиньор Скирмунт был очень занят, но согласился пожертвовать мне полчаса, чтобы прослушать несколько страниц и тогда ответить мне, берется ли он за просмотр этой книги. На другой день я был у него в назначенный час и вместо получаса читал полтора часа. С тех пор я ходил к нему раза три

в неделю. Тут, на одном из этих чтений, произошел разговор, с которого начал эту главу. Любопытно, что он не знал, кто я такой. Входя в первый раз, я, конечно, назвался, но, как это обыкновенно бывает, очень бегло и невнятно, так невнятно, что, когда я сказал, что книга действительно принадлежит перу княгини Волконской, он спросил, почему же я занимаюсь изданием ее... Сам монсиньор Скирмунт был русский подданный по происхождению. Скирмунты — старая литовско-польская фамилия; он в молодости был присяжным поверенным в Москве и русский язык, хотя немного забыл, но знал отлично. Впоследствии я был близко знаком с его двоюродным братом, Константином Скирмунтом, до революции членом Государственного совета по выбору, после революции польским министром иностранных дел.

В два месяца книга была прочитана. Монсиньор Скирмунт дал прекрасный отзыв, и в январе 1898 года вышла вторая, посмертная, книга княгини Елизаветы Григорьевны Волконской — «Церковное предание и русская богословская литература. Критическое сопоставление».

Для краткого определения того, что в этой книге изложено и что она себе ставит целью, привожу текст составленного мною «проспекта», который был вложен в каждый экземпляр книги.

«Всякий, кто интересуется вопросом соединения церквей, должен будет приветствовать появление предлагаемой книги. Она имеет целью показать, насколько искусственна та пропасть, которая, по мнению русских богословов, разделяет Римскую церковь и церкви Восточные. Уже несколько столетий подряд восточные христиане воспитываются на том, будто понятие о верховенстве Римского Епископа было неизвестно христианской древности и будто главенство папы есть, таким образом, своего рода узурпация, которой не должны признавать те, кто хотят оставаться верными церковному преданию. За последние двадцать лет русская духовная литература, кажется, особенно усердно потрудилась над делом разобщения церковного единства. Для обоснования своих доводов официальные представители «русского православия», по-видимому, ни перед чем не останавливаются: путем искажения текстов, умышленных пропусков, тенденциозных вставок, произвольных толкований память о вселенском

главенстве Римского Епископа понемногу сглаживается со страниц святоотеческих писаний.

Автор настоящей книги разоблачает недобросовестность подобных приемов; его труд поэтому встретит сочувствие не одних верных сынов католической церкви, но и каждого, кто — независимо от религиозных убеждений и вероисповедных различий — стоит за раскрытие истины во всяком деле, уважает добросовестность исторических исследований, умеет ценить бесстрашие в борьбе против невольного невежества и вольного мрака и жаждет лишь одного — да будет свет».

Такова эта книга в пятьсот восемьдесят страниц. Рукопись осталась без заглавия; заглавие дано мной.

Книги княгини Волконской ждут своей оценки в России. Она когда-нибудь будет произнесена, но не скоро. Нужно, чтобы родился человек, который так же, как и автор, горел бы душой к этим вопросам, который обладал бы таким же философским мышлением, как автор. Одним словом, тем лучшую оценку может дать человек книге, чем больше он имеет данных для написания подобной же. Книги княгини Е. Г. Волконской ждут своей оценки.

Здесь скажу лишь два слова. Во-первых, заслуживает упоминания из ряду вон начитанность автора, его осведомленность в рассматриваемых вопросах и редкая писательская добросовестность. Чтобы быть вправе говорить о предметах, о которых впервые было писано на греческом и латинском языках, мать моя овладела этими языками настолько, что могла делать безошибочные выводы из сопоставления текстов с русскими переводами. На этой почве она вывела на поверхность много умышленных искажений и в святоотеческих писаниях, и в постановлениях Вселенских соборов, и даже в Священном писании. Я сказал, что не считаю возможным обращать страницы этих воспоминаний в арену богословской полемики, но для тех, кто бы почувствовал интерес к характеру вопросов, о которых говорю, приведу на выдержку один пример. В деяниях Ефесского Вселенского собора 431 года в греческом тексте стоит, что «легаты папские в заседании благодарили отцов, что они восклицаниями своими соединились с папой в духе, *как святые члены под святой главой*». В русском переводе стоит: «под *еди-*

ной главой» (вместо «святой») и в скобках прибавлено: *Христос*. Приводя этот факт искажения текста, мать моя прибавляет: «Пользоваться святым именем Спасителя для искажения правды не признак ли притупления совести?» Да, не знает обычный читатель, какое могущественное и ехидное орудие — скобки, кавычки и курсив; какой это гнусный союзник недобросовестности.

К сказанному о книгах княгини Волконской прибавлю еще, что помимо их достоинств по существу, то есть достоинств исторических, богословских, общественно-воспитательных, есть в них достоинства чисто литературного свойства. Я нахожу, что язык ее представляет свою особенную ценность в смысле соответствия формы содержанию; в нем есть известная новизна. *Так* об этих вопросах у нас не писалось. Во-первых, о Римском престоле когда писали, то в тоне желчного глумления. Во-вторых, о вопросах церковных писали всегда с некоторой елейностью, слащавостью. Моя мать ввела в эту область свою, очень своеобразную, терминологию, новую при архаичности своей и новую по полному отсутствию слащавости. Сентиментализм был чужд ее природе. И ее переход в католичество был чужд сентиментальности, и в писаниях своих она проявляла ту же ясность ума и незараженность духа. Ей была противна слащавость в применении к тому, чему подобает величавость простоты. Книги моей матери знакомы только немногочисленным русско-католическим кругам; они заслуживают большей известности...

Пока мы со Скирмунтом работали, он кое-кому о нашей работе сказал. Ватиканские круги заинтересовались. Скирмунту передали, что папа Лев XIII посылает свое апостольское благословение нашему труду. Интерес возрос, когда книга появилась. Несколько лет спустя монсиньор Скирмунт сказал мне, что следовало бы мне испросить аудиенцию. Я не хотел прибегать к официальным путям через русскую миссию при Святейшем Престоле, и потому он взялся устроить мне аудиенцию внутренними ватиканскими путями.

В назначенное мне утро я был перед знаменитой Бронзовой дверью, внизу, в конце правого крыла обхватывающей площадь колоннады. Через эту дверь вход на нескончаемую мраморную лестницу, которая

меж мраморных стен поднимается на самый верх Ватикана, где частные покои папы. Внизу при входе осматривают пропускной билет солдаты папской швейцарской гвардии в красивых полосатых желто-красно-черных костюмах, рисованных Рафаэлем.

Приемная зала залита палящим солнцем: огромные окна до полу, как стеклянные двери, завешаны белыми шелковыми занавесками. Ожидают приема несколько духовных лиц, несколько штатских и две дамы. Штатские, по ватиканскому этикету, во фраках и черных галстуках, дамы в черных платьях, с черной кружевной накидкой на голове. В каске и полной парадной форме командующий папской гвардией. Исполняющий должность мажордома монсиньор Бизлети считает долгом занять меня разговором. Я восхищаюсь Ватиканом, а он говорит, что я, наверно, избалован насчет дворцов, что Петергоф, Царское Село, без сомнения, не хуже. Я говорю, что нельзя сравнивать то, что выстроено по приказанию одного лица, с тем, что возникло историческим действием столетий. Но он не верит или делает вид, что не верит: он любезен, значит, и я говорю из любезности... Настал мой черед. Я вошел.

В небольшой комнате, обтянутой красным дамаском, в дальнем углу на красном кресле сидел, весь в белом, маленький сгорбленный старичок. Я подошел, стал на колени, поцеловал благословившую меня руку. Он спросил:

— Вы сын Зинаиды или Елизаветы?

Я объяснил. Но очень мне понравилось это смешение поколений, это неощущение времени; эта маленькая подробность вдруг дала мне ощущение вечности пред безразличностью людских поколений... Я заговорил о книге. Перешли на Россию. Лев XIII выразил сожаление, что в нашем отечестве вопрос церковный так искажается вопросом национальным. Я увидел, что здесь он упрекает не одних только русских представителей власти, но и польских патриотов.

— Я, — сказал он, — всегда им говорю: вы католики, но это не должно мешать вам быть верными подданными русского императора. В Австрии много поляков, а они верные австрийцы. В Англии много католиков, и они настоящие англичане.

Я позволил себе указать на то, что, к сожалению, в Польше иногда национальная струна сильнее рели-

гиозной, и, возвращаясь к тому, что мне казалось верным средством к разъединению этих принципов, я робко сказал:

— Может быть, если бы когда-нибудь в Польшу был назначен епископ из французов... Это способствовало бы тому, чтобы снять с католицизма тот характер национальный, который он имеет в Польше, и тот характер противогосударственный, который он имеет в России...

— Тут надо много осторожности, — сказал Лев XIII.

И я вспомнил, что один польский священник мне на это сказал: «Мы бы приняли это за личную обиду».

Зашла речь о папской нунциатуре в России. Как раз за несколько месяцев перед тем все для этого было налажено, был уже назначен монсиньор Тарнасси. Потом Победоносцев все опрокинул. Не понимало наше правительство, что при существующем порядке Ватикан осведомлен о католических делах в России через польский фильтр; ведь лучше же иметь в Петербурге в национальном смысле беспристрастного представителя Святейшего Престола. В Петербурге же всегда думали, что папский нунций — это значит «пустить козла в огород»; и в то время как наши боялись его впустить, поляки радовались, что его не пускают. Я, конечно, всего этого не сказал, но, когда упомянул о нунциатуре, папа мягко произнес:

— Еще не пришло время.

Как странно было слышать в такой формуле то самое, что там, в Петербурге, выразилось в трех высочайших резолюциях: «Считаю желательным. Считаю преждевременным. Считаю нежелательным».

Я заметил, что мой высокий собеседник благоволил интересоваться тем, что я ему говорил; тогда я рассказал о речи Михаила Стаховича на миссионерском съезде в Орле в пользу свободы вероисповедания (смотри предыдущую главу). Замечательно, что папа на это сказал. Вопрос, который он мне задал, в краткости своей рисует всю постановку дела религиозной свободы в России. Лев XIII спросил только:

— Et qu'est-ce qu'on lui a fait? (И что ему сделали?)

Я сказал, что пока он за свои слова ничем еще не поплатился.

Отпуская меня, он сказал, что ему предстоит при-

нять доклады представителей католического духовенства, приехавших из Месопотамии.

Какие были удивительные глаза у Льва XIII! Какой в них тонкий юмор и какой издалека близкий, вострый свет... Это был один свет, один дух — тело точно не существовало. И какое удивительное обхождение. Это была такая ласковость, что я совершенно утратил сознание своего возраста. Я сидел против него, направо от него был стол; тот же стол был от меня налево. Я положил свою левую руку на стол; он своей правой рукой покрыл мою руку и, помню, на некоторых моих словах одобрительно похлопывал. Не могу забыть, до сих пор вижу эту белую руку, эти восковые пальцы и темное изумрудное кольцо. Не могу передать впечатление, исходившее от всех его движений, но только помню, что его ласка вернула меня в детство. Я вышел от него ребенком...

Я посмотрел на часы — моя аудиенция длилась двадцать минут. Когда я это сказал Скирмунту, он многозначительно произнес: «Епископам только четверть часа». Какой же, подумал я, у меня после этого чин?

Хочу вспомнить здесь милый рассказ, рисующий Льва XIII как частного человека. У него была дальняя родственница, которая приставала к нему с просьбами о денежной помощи. Она злоупотребляла своим родством; папа был к ее просьбам холоден. Тогда она решилась выпустить сильный заряд и однажды заявила ему, что положение ее настолько плохо, что она решила использовать свой голос и... Она не смела продолжать, она не знает, как Святейший Отец отнесется к ее решению... Она решила поступить на сцену шансонетной певицей. «Как я жалею, — сказал папа, — что мой сан не позволит мне услышать вас»...

Я спускался с большой ватиканской лестницы. И думал я, как это я выхожу из этой твердыни, схожу по мраморной лестнице меж мраморных стен, прохожу под тяжелую Бронзовую дверь, выхожу от первосвященника Христовой церкви, существующей скоро уже две тысячи лет, а на душе у меня так легко, как у трехлетнего ребенка...

Под портиком, между двух колонн я остановился и смотрел на звонкую площадь. Небо сияло... Легкой пылью обдавал меня фонтан...

Уже упоминал я о том, что летом 1899 года получил назначение на должность директора императорских театров. Я был заграницей и в Лондоне получил телеграмму от друга моего, Саши Ливена, что, запрошенный, он за меня дал согласие. Через дней десять, в Голштинии, около местечка Ейтин (кстати, родина Вебера), куда я заезжал повидать больного брата Григория, гостившего у приятеля своего графа Ревентло в замке Фарве, получил письмо отца, уведомлявшего, что назначение состоялось, что мне следует приехать. Как мне не хотелось! Как мне все это было не по нутру! Я ненавидел общественность, ненавидел службу и соединенную с ней официальность, официальное времяпрепровождение, официальные с людьми отношения, официальность речи и образа мыслей. Если я любил общественную арену, то для того, чтобы выносить плоды моих трудов, моих мыслей, но выносить на показ и обсуждение мою личность всегда (кроме сцены и кафедры: ибо здесь человек скрывается за завесою искусства), всегда мне было мучительно. И, однако, я принял назначение; принял из внимания к отцу моему. Для него мой отказ был бы ударом. Тем более ценю оказанную мне им поддержку, когда я решил уйти в отставку.

Мое директорство или, как это называла княгиня Олеся Ливен, моя «директория» продолжалась два года. Указ о моем назначении состоялся 22 июля 1899 года. Подписывая его, государь сказал: «Ну вот, на счастье». Это был день именин императрицы Марии Феодоровны. Ушел я в июле 1901 года. На перегибе двух столетий прошли те два неприятных, тяжелых года, проведенных в близком соприкосновении с сферами чиновничьими, артистическими, газетными. Для меня это было временем опыта житейского. Я узнал много людей, и я узнал много подлости людской. Положение мое было трудное. Я был в ведомстве моем окружен недоброжелательством. Я был очень молод: директор императорских театров тридцати девяти лет от роду — это было неслыханно; зависть людская кишела. В высших кругах общества много было людей, надеявшихся и оставшихся за флагом. Среди чинов министерства Двора я был новичок. Я совсем не был администратором; чиновная, как и хозяйственная,

часть моих обязанностей была мне противна. Одинаково были мне противны чиновники, выражавшие интерес к искусству, и артисты, зараженные чиновным зудом. Контора императорских театров, за малыми исключениями, была очень недоброжелательно ко мне настроена. Она шла рука об руку с печатью. Прочитывая некоторые юмористические фельетоны, я узнавал подробности, которые могли быть доставлены только кем-нибудь из окружавших меня. Как при полной моей служебной неопытности, при малом общении с людьми, при оптимистическом обхождении даже в случаях пессимистического к ним отношения, как мог я два года продержаться на такой горячей сковороде и уйти, не поступившись своею личностью, это для меня загадка. Снизу подвохи, кругом недоброжелательство, сверху никакой поддержки.

Говоря о недоброжелательности кругом, сделаю исключение для артистов. В общем, они ко мне относились хорошо, разве некоторые первачи. «Солистов» я не любил, и они меня не любили. Но остальные мне верили, замечания мои принимали к исполнению, чувствовали, что они клонятся к их же успеху. Часто замечал, после того или иного места в роли, о котором была у нас речь, артист, исполнив мой совет, украдкой взглядывал в директорскую ложу. Я незаметным кивком отвечал... О театральной стороне моих впечатлений и оценок актеров и их отношения к делу я говорю в другой части моих записок; повторяться не буду.

Там же говорю я и о критике нашей. Но здесь вспомню любопытную подробность, так сказать, посмертного характера. На днях, в июле 1921 года, я видел в театральном музее известного собирателя Алексея Александровича Бахрушина среди автографов письмо Суворина, издателя «Нового времени», к Юрию Беляеву, театральному критику. Издатель попрекает своего присяжного критика за слишком благожелательное отношение к директору Волконскому. Последний, по его мнению, этого не заслуживает, он еще ничего не сделал, а книга его о русской литературе ничего собой не представляет. Первое замечание верно — письмо написано в первые месяцы после моего назначения; что же касается оценки моей книги, то есть лекций,

читанных в Америке, то мне ценнее, конечно, отзыв, напечатанный в Полном собрании сочинений Владимира Соловьева, чем отзыв Суворина к Юрию Беляеву. Однако считаю характерным эту подачу камертона. Беляев его придерживался, и я имел случай в другом месте упомянуть о некоторых приемах его критики. Однажды, много лет позднее, мне все же удалось пробить эту броню, которая возмущала меня не столько неодобрительностью своей, сколько косною деревянностью, сухостью и предвзятостью. Это было в 1911 году. Заведующий драматической школой Суворина (тогда ужаснейшее слово «студия» еще не существовало) актер Далматов пригласил меня прочитать перед учениками лекцию о читке и мимике. Я пошел с большой неохотой, но был вознагражден. На лекцию явился Суворин, и после лекции, когда некоторые из присутствующих преподавателей стали со мной спорить, он зажал им рот с такой силой, что я в ней почувствовал полное себе одобрение. И действительно, свою речь, начавшуюся словами: «Ну что вы глупости говорите» — он кончил словами: «Князю Волконскому надо быть благодарным за то, что он эти вопросы наконец затронул». Это было очень знаменательно, но тогда я был уже частный человек, не директор. Увы, те вопросы, которые я тогда «затронул» и над разработкою которых впоследствии так много поработал, до сего времени остаются другими не затронуты, именно теми, которым знание их наиболее необходимо. О том, как актерский мир отнесся к моим трудам, к тем началам, которые я старался провести в сценическое воспитание, может быть, еще буду иметь случай рассказать...

Отношение газет к дирекции театров было злобное. Все, что имело какой-нибудь зуб против нее, находило в редакциях сочувствие и поддержку. Редакции стали какими-то очагами актерского раздражения и конторского негодования. Удивляла меня всегда предвзятость людских суждений; как человека судят не по нему, а по тому ярлыку, который на него наклеивает сам же тот, кто его судит. Такие слова, как «князь, граф, помещик, сановник, чиновник», заранее определяют отношение к человеку, и люди никогда не затрудняли себя рассмотрением того, все ли князья похожи друг на друга, всякий ли сановник соответствует раз навсегда выработанному ярлыку, не говоря уже о

том, чтобы проверить, соответствует ли вообще ярлык действительности. И еще удивляло меня, как люди делают человека ответственным за то, как другие к нему относятся. В самом деле, если городовой передо мной вытягивается в струнку, это не значит, что я горд; если человек передо мной лебезит, это не значит, что я чванлив.

Также очагом неудовольствий против дирекции сделался императорский Эрмитаж, то есть новый директор его, мой предшественник по директорству театрами. Дядя мой, Иван Александрович Всеволожский, семнадцать лет пробывший директором театров, не скоро мог помириться со своей отставкой и новым родом занятий. За семнадцать лет он выработал себе служебную рутину, в которой, несмотря на все дергания театральной службы, несмотря на преклонный возраст свой, находил известную усладу. Оставить театры ему было очень тяжело; после театрального движения музейная недвижность — какая скука! Он отлично рисовал; он был хороший, ядовитый карикатурист; у него было злое сходство и беспощадны под карикатурами подписи. Он очень любил костюмы и сам их рисовал для оперных и балетных постановок. И вот это любимое его занятие на новой должности не находило применения. «Подумайте, — говорил он, — я окружен богинями и не могу их даже одевать». Человек остроумный, желчный, едкий, он не давал спуску, если на кого нацелится. Старая дирекция, все сколько-нибудь недовольные ходили к нему жаловаться и плакаться. Эрмитаж стал урною, lacrimarium театральной дирекции. И дядюшка мой здесь играл не совсем искреннюю игру. Я упоминал в одной из первых глав о заведующем монтировочной частью Молчанове, муже Савиной; характеризовал его как самого двуличного человека, какого я в жизни встречал. Он был заведующим монтировочной частью и ушел в отставку в середине сезона, в самый разгар придворных эрмитажных спектаклей, после того, что со слезами на глазах и с биением в грудь уверял, что служить со мной счастье. Так как этот Молчанов был близкий к Всеволожскому человек, как тогда выражались — «креатура», я на выходе во дворце подхожу к Ивану Александровичу: «Дядя, тебе известно, почему Молчанов ушел?» Он вполуобороте ко мне как-то нехотя, туманно говорит: «Кажется, что-то недостаток доверия...» И пока

говорит, начинает идти; я иду рядом с ним, он ускоряет, и вдруг я вижу, что он попросту улепетывает от неприятного разговора... Да, атмосфера была нервная и крайне неприятная.

Должен рассказать об одном из самых трудных эпизодов за время моего директорства, о случае с Дягилевым. Сергей Павлович Дягилев, впоследствии прославившийся своими оперными и балетными постановками по всей Европе и в Америке, в то время только начинал проявляться на художественном горизонте и возбуждал негодование филистеров смелостью своего журнала «Мир искусства». Я пригласил его чиновником особых поручений и дал ему редактирование «Ежегодника императорских театров». Этот журнал издавался тем же Молчановым в страшно безвкусном, банальном виде. Когда Дягилев, редактор «Мира искусства», поступил в дирекцию, Молчанов сам догадался отказаться от редактирования «Ежегодника», предвидя, что он будет передан Дягилеву, и втайне надеясь, что этот «декадент» на казенном издании сорвется. Все ждали появления первого номера. «Мир искусства» раздражал рутинеров, чиновников от искусства. Его свежесть, юность, смелость клеймились нахальством; группа молодых художников, в нем работавших, впоследствии приобретших такую громкую и почетную известность, как Александр Бенуа, Сомов, Бакст, Малютин, Серов, Малявин, Рерих и другие, высмеивались печатью с «Новым временем» во главе, а предводитель их, Дягилев, именовался прощелыгой, ничего в искусстве не понимающим.

Можно себе представить, как было встречено вступление Дягилева в дирекцию. Я в нем ценил глубокого знатока искусства во всех его проявлениях. Думаю, что ни спорить, ни доказывать не приходится, а приходится лишь удивляться близорукости людской. Но как часто я жалел, что нет такого карманного граммофона, в который бы можно воспринимать речи людей и потом через несколько лет (а часто и через несколько часов) сыграть им их же собственную песенку... Песенка, готовившая публику к появлению первого номера «Ежегодника» в обновленной редакции, была недоброжелательная, глумительная. Наконец он вышел, этот первый номер. Он ошеломил тех, кто ждал

провала, и превзошел ожидания тех, кто верил в его успех.

Первый номер дягилевского «Ежегодника» — это эра в русском книжном деле. Это было начало целого ряда последующих изданий, отметивших собой эпоху русской книги. «Аполлон», «Старые годы», «Новое искусство», книги Лукомского, монографии Бенуа, издания «Сириуса», да можно ли перечислить все, что дало прекрасного искусство книги в России за последние двадцать лет перед революцией, — все это вышло из того источника, который открыл Дягилев своим «Ежегодником».

Через Дягилева я заручился сотрудничеством многих художников в деле постановок. Аполлинарий Васнецов дал рисунки декораций и костюмов для «Садко». Это вышло красиво и ново. В своей посмертной книге («Музыкальная летопись») Римский-Корсаков удостаивает эту постановку добрым словом; это важно на страницах, которые переворачивать трудно — так они колючи. Какой странный был характер Римский-Корсаков. Самые большие его почитатели и те после этой книги изменили свое отношение к нему, то есть к его памяти. Он никогда не мог простить «бывшей дирекции» (то есть И. А. Всеволожскому), что не ставились на Мариинской сцене его оперы. Записки его полны нареканий по этому поводу. Но между тем он хорошо знал, что вовсе не Всеволожский противился постановке его опер. Репертуар оперный всегда представлялся государю, и Александр III неизменно вычеркивал Римского-Корсакова. Вся дирекция знала, да и сам автор хорошо знал «зеленый карандаш» Александра III. Значит, директор театров тут ни при чем. И когда я представил «Садко», он мог и от Николая II вернуться зачеркнутым; но он вернулся одобренным, и, как Римский-Корсаков упрекал Всеволожского за непостановку, в которой он не виноват, так ни за что похвалил и меня, назвав меня «новой метлой».

Возвращаюсь к случаю с Дягилевым. Я завел сношения и с некоторыми другими художниками дягилевского кружка. Дело пошло весело (насколько вообще может что-нибудь идти весело на жгучей почве, а театральная дирекция была почва жгучая), когда вдруг произошло столкновение. Дягилев имел талант восстанавливать всех против себя. Начался тихий бунт в конторе, за кулисами, в костюмерных мастерских.

Я не обращал на это внимания, ждал, что художественный результат работы заставит людей пройти мимо тех сторон его характера, которые они называли заносчивостью и бестактностью. Однажды я передал управляющему конторой письменное распоряжение о том, что постановка балета Делиба «Сильвия» возлагается на Дягилева. Это должно было быть на другой день напечатано в журнале распоряжений. Вечером приходят ко мне два моих сослуживца из конторы и говорят, что распоряжение вызовет такое брожение, что они не ручаются за возможность выполнить работу. Я уступил, распоряжение в журнале не появилось, я сказал Дягилеву, что вынужден взять свое слово обратно. На другое утро получаю от него письменное заявление, что он отказывается от заведования «Ежегодником». Вслед за этим — пачка заявлений от художников, что они отказываются работать на дирекцию. Был ли я прав или не прав, отказавшись от своего слова, это другой вопрос, но допустить со стороны чиновника моего ведомства такую явную оппозицию я не мог. Я потребовал, чтобы он подал в отставку. Он отказался. Тогда я представил его к увольнению без прошения. Вот тут началась возня.

Дягилев — человек большой воли, способный перешагнуть через трупы, идя к своей цели. Все было пущено в ход: Кшесинская, великий князь Сергей Михайлович; дошли до государя. И вот что замечательно: те самые люди, которые были против меня из-за Дягилева, теперь были за Дягилева и против меня. О род людской! Война завязалась цепкая. Приходит ко мне генерал Рыдзевский, заменявший больного барона Фредерикса, министра Двора, и показывает письмо государя, в котором он просит задержать увольнение Дягилева до разговора с ним.

— Я сейчас с разговора и добился согласия на увольнение. Хорошо, что вы дали мне копии с ваших писем Дягилеву, я их взял с собой и показал. Государь сказал: «Ну, если так, то печатайте приказ об увольнении».

— Так что дело кончено?

— Разве можно поручиться! Приказ в «Правительственном вестнике» может появиться только послезавтра. В течение завтрашнего дня может последовать новое распоряжение. Сергей Михайлович может забежать и испросить отмены... Но я намерен сказать до-

ма, что если будет ко мне телефон, то чтобы отвечали, что меня дома нет и неизвестно, где я.

На другой день ко мне неистово звонили, спрашивая, не у меня ли генерал Рыдзевский. На следующий день приказ об увольнении Дягилева был напечатан. После этого мы с Дягилевым не кланялись. Но его громкие успехи радовали меня, не с одной только художественной точки зрения, но и потому, что они утирали нос хулителям его.

Когда через десять лет после всех своих выставок, блистательных спектаклей он приехал со своим балетом в Рим, однажды в ресторане Умберто я подошел к столу, где он со многими своими сотрудниками обедал и сказал:

— Сергей Павлович, я всегда искренно восхищался вашей деятельностью; но искренность моя была бы не полная, если бы я не воспользовался случаем высказать вам ее лично.

— Мы так давно с вами не видались, — ответил он, — и я так рад пожать вашу руку.

Так кончился «дягилевский инцидент». В этой истории лишний раз между прочим проявилась пагубная черта того времени, в которое мы жили. Это настойчивость, с какою люди, имевшие какой-нибудь ход к государю, втягивали его в свои дрязги. Не я буду умалять достоинства и заслуги Дягилева, но если на данный случай посмотреть с исключительно служебной стороны: чиновник особых поручений увольняется своим начальником. И в это вмешивают императора? Государь был падок на проявление самодержавной воли в маленьких запутанных случаях, да еще когда вокруг них страсти разгораются. Но какой же грех со стороны имеющих к нему доступ завлекать его в такие жгучие пустяки. Как не стыдно расплескивать имя государя и царскую власть. Пример этому дам еще в следующей главе.

Из этой истории ясно и еще одно — что сверху нельзя было рассчитывать на поддержку. Вот другой пример, уже не государь, а даже министр.

Известная певица Мария Даниловна Каменская выслужила пенсию. Приходит ко мне, чтобы я ее к пенсии представил.

— Но ведь у вас перерыв в службе. По закону, сами знаете, считается двадцать лет после перерыва.

— Да, я знаю, но я думала, ввиду моих заслуг...

— Я не могу, не имею права.

Она была очень недовольна, очень настойчива, но я был непреклонен. Легко быть непреклонным, когда закон не позволяет иначе.

— Князь, а я пойду к министру.

— Ваше дело, а я не могу.

На ближайшем докладе у министра говорю Фредериксу, что к нему собирается Каменская по такому-то делу.

— Нет, нет, пожалуйста, не разрешайте, это против правил.

— Да я не разрешал и права даже не имею разрешать.

— Нельзя. Эти вечные исключения, это невозможно.

— Да я не разрешал, я даже не прошу, а только предупреждаю вас.

Никогда не видал министра в таком взъерошенном состоянии, как по поводу этого пустяшного случая.

Проходит три недели, приходит ко мне правитель канцелярии министерства Двора Александр Александрович Мосолов — от имени Фредерикса.

— Барон прислал меня, чтобы сказать вам, что он Каменскую представил к пенсии.

— Как? Против правил?

— Да, против правил, но его то беспокоит, ему неприятно, ему неловко, что это, так сказать, против вашего решения...

— То есть у меня никакого решения не было: я поступил по правилам. Если барону желательно поступить иначе, он поступает против правил, а не против меня.

Положение Мосолова в данном случае было труднее моего. Он за министра извинялся, он его извинял; но ведь кто извиняет, тот осуждает. Вот этакое официальное танцевание человека перед человеком для меня всегда бывало невыносимо. Так было просто Мосолову, тем более при наших с ним добрых, «равноправных» отношениях, сказать мне: «Ну что нам поделать с нашим бароном!» Нет, очевидно, это не соответствует формам служебных отношений...

Пост директора императорских театров неприятен. Только тот, кто не бывал там, мог желать туда попасть.

Дерганья с утра до вечера; вечные ссоры, претензии, недоразумения. По нескольку раз в день приходится творить суд Соломонов. Все люди больные, издерганные; приемный день — это какая-то санатория. Люди начинали изложение своего дела со словами:

— Князь, позвольте с вами говорить как с человеком.

— Да, пожалуйста; мне будет очень обидно, если вы будете говорить со мной не как с человеком.

Затем, это ведомство, в котором нет границ, ни пространственных, ни временных. Пространство не ограничено, потому что всякое дело из дирекции театральной выносится и разносится. Все, что делается в конторе, известно за кулисами, есть достояние всего города. Время не ограничено, как в других ведомствах, потому что везде дела приканчиваются к вечеру, а в театральном ведомстве даже после спектаклей еще бывают дела, сюрпризы на следующий день. Только полицию, я думаю, можно по непрестанным дерганиям сравнить с театрами. У меня в приемной висела огромная «Буря» Айвазовского; я говорил, что это картина театрального ведомства.

На директора театров смотрят, директора театров судит всякий — и серьезный и несерьезный человек, и служащий и неслужащий, люди всех профессий, всех вкусов; его одобряют или осуждают все уровни понимания и непонимания. И вот уж где я убедился, что люди интересуются чужими делами, даже, скажем, чужими пустяками. Поражала меня легковерность людей в области недоброжелательности. Как легко перед нелепой выдумкой забываются годы знакомства. Люди, с которыми был в хороших, казалось, отношениях, спрашивали: «Правда, что вы заставили такую-то артистку полчаса в передней прождать?» Сперва я возмущался, а потом стал отвечать: «Правда, правда», — чтобы только отстали. Поражало меня, какие глупости занимают людей. Я обходил декорационные залы Мариинского театра. Они помещаются на чердаках; приходилось подниматься по узким грязным лестницам; тут и пыль, и паутина, и опилки. Я отвернул брюки. Я даже и забыл бы об этом. Но три года после моего ухода из дирекции мне об этих отвороченных брюках говорили. Очевидно, они поразили тех нескольких человек, которые мне сопутствовали.

Я уверен, что многие, читая эти пустяки, испытают

большое разочарование. А мы-то ждали, скажут они, что он будет говорить о своей деятельности, о художественной программе... Нет, пожалуйста, если вы ищете в этой главе материала для истории театра, бросьте, не читайте. Для меня моя кратковременная «директория» была уроком жизни, изучением людей, обычаев, нравов. И это все в моей памяти запечатлелось гораздо больше, чем то немногое, что я успел или не успел сделать. Предоставляю другим судить и подводить оценки; пусть другие, если им интересно, говорят обо мне, — я предпочитаю говорить о других...

Пост директора императорских театров приятен для родственников директора императорских театров. Вести вечером пальцем по афише, выбирать спектакль и ехать в любой, приезжать с отдельного подъезда, сидеть в великолепной ложе и не нести при этом ни малейшей доли ответственности — как приятно! Когда я вышел из дирекции, брат мой Петр сказал: «Я подаю в отставку из братьев директора театров». Оказывать гостеприимство в директорской ложе было приятным преимуществом. Я им пользовался, не всегда сообразуясь с требованиями придворного этикета. Когда приехал и жил у меня знаменитый итальянский трагик Сальвини, я повез его с собой в балет. Актер в директорской ложе, это было нечто еще невиданное. Из противоположной царской ложи все бинокли поднялись на него. Но мне ничего не сказали; нашли, что он похож на Бисмарка.

Государь не мог быть ни на одном из представлений Сальвини; только на последнее представленье «Отелло» они с императрицей заехали, и то могли просидеть только первую сцену. Они не могли дольше оставаться — был бал у князя и княгини Юсуповых, в том самом доме, где пятнадцать лет спустя был убит Распутин. Но я просил доложить, что Сальвини такая величина, что заслуживает быть принятым их величествами. Императрица была восхитительна в белом платье, залитая каменьями. Государь, входя, сказал, что они, к сожалению, могут просидеть только первую сцену, и прибавил: «Приведите его к нам». После падения занавеса я привел его. Какая красивая картина: в этой дивной ампирной аванложе Александринского театра, круглой, зеркальной, великолепный старик в мавританском костюме, склоняющийся над рукой этого удивительного в то время по красоте явления...

Как красивы были они с великой княгиней Елизаветой Феодоровной однажды вечером в Большом театре в Москве — обе сестры в черных бархатных платьях с грушевидной жемчужиной на лбу. Так я их видел и вижу по сей час — на малиновом фоне царской ложи. Милая, приветливая Елизавета Феодоровна поздравила меня со свадьбой брата моего Александра. В императрице это должно было пробудить неприятные воспоминания: моя невестка Евгения Петровна была сестрой той самой Екатерины Петровны Васильчиковой, которая ушла из фрейлин. Императрица и великая княгиня были в черном в тот вечер, потому что недавно перед тем умерла в Киеве великая княгиня Александра Петровна, мать будущего главнокомандующего Николая Николаевича. Траур не всегда мешал увеселениям. Помню, когда был убит эрцгерцог Рудольф, сын Франца Иосифа, был наложен придворный траур, но придворный бал не был отменен; только дамам было предписано быть в черном. В белом Концертном зале это было очень красиво...

Помню другую сцену. В Мариинском театре справлялся двадцатипятилетний юбилей Савиной. Венкам, речам, подношениям не было конца. В одном из антрактов я повел ее в царскую ложу. Государь и императрица стояли, ждали ее. Она вошла и с каким-то криком изнеможения кинулась к руке императрицы. Императрица произнесла, очевидно, заученную, всегда готовую фразу: «Я очень рада». Савина всхлипывала, что-то бормотала. Все это кликушество было чрезвычайно неестественно. Государь только повторял: «Да успокойтесь». Какое удивительное неуменье вести себя, какое отсутствие житейских форм, незнание того, что какому моменту соответствует. Даже здесь желание прежде всего показать свое «нутро». Когда она вернулась на сцену, она сквозь толпу пробежала к своей уборной, держась руками за лицо и повторяя в каком-то блаженном исступлении: «Поцеловала! Поцеловала!»

— Правда, — спросил меня режиссер Евтихий Павлович Карпов, — правда, что императрица Савину поцеловала?

Я ответил, что не заметил, но из кулис все раздавался истерический крик: «Поцеловала! Поцеловала!»

Пост директора императорских театров — высокий пост, в придворном смысле. Это есть придворный чин,

и единственный в своем роде. В то время как гофмейстеров, шталмейстеров, егермейстеров много, директор театров один. Представительная сторона довольно стеснительная; когда государь или императрица в театре, директор обязан быть. Таким образом, вечера не свободны: приходится ждать, поедут или не поедут. Припоминается мне любопытный случай. Это было несколько дней после смерти королевы Виктории. Распоряжения о закрытии театров не было, но во всех театрах шли старые вещи, в Мариинском — «Дубровский» Направника, и, ввиду придворного траура, я считал себя свободным; императрица Александра Феодоровна была родная внучка королевы — кто же поедет в театр? Мария Феодоровна со смерти Александра III в театр не ездила. Это, помню, был самый день похорон королевы Виктории. Все-таки я дождался восьми часов. В пять минут девятого вышел погулять. Дошел до Караванной улицы, и странное, прямо скажу, при данных обстоятельствах глупое сомнение мной овладело: не рано ли я вышел? Поворачиваю оглобли, возвращаюсь домой. Вхожу в переднюю — швейцар висит на телефоне.

— Что такое?

— Ваше сиятельство, императрица Мария Феодоровна в Мариинском театре.

Уже голос швейцара выдавал необычайность этого известия. Мария Феодоровна дождалась похорон королевы Виктории, чтобы снять свой театральный траур. Вероятно, при дворе было разногласие относительно того, закрывать ли театры или нет. Мария Феодоровна рассекла гордиев узел. Кроме того, слышал, что она была недовольна тем, что ее сыну, Михаилу Александровичу, бывшему заместителем государя на похоронных торжествах, было предоставлено недостаточно почетное место.

В связи с этим помню еще. В то время гостил в Петербурге брат молодой императрицы, великий герцог Гессенский. Он поехал на похороны королевы и после похорон вернулся. Отличный музыкант, прекрасный знаток Вагнера, он очень сокрушался, что не может из-за траура ездить в театр. Тогда шли вагнеровские оперы с восхитительной Фелией Литвин. Но он нашел способ и предписания траура соблюсти и в театре бывать. Однажды государь мне сказал:

— Великий герцог в трауре, а ему хочется в театр

ездить. Мы решили, что он будет в вашу ложу ездить.

— Слушаюсь, ваше величество.

Так для внука траур по бабушке выразился в том, что он перешел из одной ложи в другую. Мы видались раза три в неделю. Это был человек редких художественных дарований.

Мария Феодоровна после того часто бывала в театре. Всегда милая, приветливая. Однажды в ложе Михайловского театра она сказала мне: «Je vous présente mes fiancés» (Представляю вам моих женихов). Это были великая княжна Ольга Александровна и принц Петр Александрович Ольденбургский. Он, «Петя Ольденбургский», был близким другом, товарищем детства моего брата Владимира. Впоследствии супруги, которых я приветствовал в ложе, разошлись. Знаю, что мой брат, бывший в одинаково добрых отношениях с обоими, несмотря на трудность положения, сохранил эти отношения до конца...

Помню, в том же Михайловском театре поставили мы однажды «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Я несколько колебался, боясь впечатления, которое может произвести ходульность и напыщенность этой несколько наивной драмы «пера и шпаги». На первом представлении царская ложа была битком набита. Вхожу в антракте — Мария Феодоровна говорит:

— Quelle pièce intéressante (Какая интересная пьеса).

— Oui, madame, je crains seulement que quelquefois l'auteur ne manque sont but (Да, только боюсь, что иногда автор не достигает своей цели).

— Comment ça? (Как так?)

— Qu'il ne nous fasse sourire lorsqu'il veut nous faire trembler (Что он заставляет нас улыбаться, когда хочет заставить содрогаться).

— Mais pas du tout, je trouve ça très émotionnant (Нисколько, я нахожу, что пьеса очень волнующая).

Главная прелесть Марии Феодоровны была та детская свежесть, которую никогда она не утрачивала; ни положение ее, ни претерпенные несчастия, ни возраст не сняли с нее яркость ее детской души.

Я, конечно, был рад, что пьеса понравилась и даже очень понравилась. Но от критики влетело дирекции за постановку пустяков. И так всегда сидела дирекция между критикой и «ложей»...

Особенно на виду директор во время придворных

спектаклей в театре Эрмитажа. Дивная зала амфитеатром, дивная, как все, что строилось при Екатерине. Все скамьи полукругом вверх уже заняты гостями. Внизу, в середине, на ровном полу ряда четыре кресел для царской семьи и статс-дам. Директор театров стоит наверху, около дверей, с пачкою афиш в руке. Входят государь и императрица; за ними императорская фамилия. Так как я стою справа от двери, то императрица ко мне ближе, государь дальше; я подаю две афиши, но Императрица руки не протягивает. Происходит заминка. Государь мимо императрицы протягивает руку и берет афиши. Я замечаю, что ей эта задержка не нравится. Улавливаю несколько английских слов, произнесенных недовольным шепотом; слышу, скорее угадываю: «Не могу же я идти, когда меня задерживают». «Но чем же я виноват?» — подумал я. На следующем спектакле то́ же самое. Я, конечно, мог бы становиться с левой стороны и прямо передать афиши государю; но, думаю, правильнее ей подносить, а не ему; и потом, перейдя на другую сторону, я, значит, признаю, что заметил ее неудовольствие. Я остался на правой стороне, и на третьем спектакле государь с некоторой поспешностью сказал: «Дайте мне афиши». После этого я уже становился на левую сторону от входа.

Императрица Александра Феодоровна не была приветлива, обходительность не была в ее природе. Кроме того, она была до мучительности застенчива. Она с трудом выжимала слова, и лицо ее при этом покрывалось красными пятнами. Это свойство ее, да к тому же явное от природы нерасположение к роду человеческому, огульное недоверие к людям лишили ее всякого ореола популярности. Она была имя, ходячий портрет. Ее обхождение было отбыванием официальной повинности, из нее ничего не излучалось. Помню, однажды я присутствовал при представлении дам. Это было во время так называемого «большого бала» в Зимнем дворце, первого в году бала; на нем присутствовало до четырех тысяч человек. Танцевали в Николаевском зале; в соседнем, Концертном, в этот вечер было представление дам: 93 дамы было выстроено в ряд. Императрица стала обходить. И вот странную вещь я заметил: фрейлины, княжна Мария Викторовна Барятинская и Екатерина Петровна Васильчикова, шли впереди императрицы, и пока она, напри-

мер, говорила с первой дамой, они занимали разговором вторую и т. д. Это для того, чтобы ни одна не слышала разговора императрицы с соседкой. Одно из последствий застенчивости — боязнь быть услышанным... Но вся церемония приобрела характер какой-то суетливости. Я в этот вечер был дежурным камергером при императрице и потому находился в этой зале во время приема. Дежурным флигель-адъютантом был герцог Юрий Михайлович Лейтенбергский. Помню, я ему сказал: «Quatre-vingts-treize dames. Quel chiffre sanglant» (Девяносто три дамы. Какое кровавое число)...

На одном из эрмитажных спектаклей я попросил у государя позволения в следующий раз представить ему композитора Глазунова, балеты которого «Времена года» и «Испытание Дамиса» должны были идти. Во время антракта вся публика эрмитажного спектакля толпится в красивом фойе, что над мостом, перекинутым через Зимнюю канавку. Я привел Глазунова. Государь в это время проходил в другую сторону залы; я не хотел бежать за ним и говорю великому князю Владимиру Александровичу: «Я хотел бы государю сказать два слова, только не знаю, как это сделать». А Владимир Александрович своим зычным голосом окликает: «Ваше величество! Директор театров хочет вам сказать два слова»... Отпустив Глазунова, государь остался посреди залы один; я подошел. Он сказал, что Глазунов выражал желание заняться симфонической музыкой, что он устал от балетов. А Глазунов сказал мне после: «Государь и то говорит, что мне надо отдохнуть от балетов». Это я очень часто замечал, как люди бывали впечатлительны к царскому одобрению их слов; они утверждались в своих мыслях и в конце концов были уверены, что исполняют желание государя, а не собственное намерение... Государь продолжал стоять посреди залы; мы заговорили о трудностях театральной работы, в особенности на праздниках, когда двойные спектакли. Я указал на то, что работа рабочих сцены не поддается никакой оценке. Иногда после спектакля производится репетиция декораций и освещения, затягивается это до четвертого часа ночи, а на другой день утренний спектакль — уже в одиннадцать часов надо быть в театре. Рабочие, сказал я, неутомимы, и никакое жалованье не может вознаградить преданность делу. Если кто-ни-

будь возымеет грязную мысль, что я так пишу, потому что я нахожусь в «эресефесерской» атмосфере, тому отвечу, что я это пишу потому, что я это сказал. Но государь был рассеян в этот вечер, трудно было завладеть его вниманием, а молчать тоже нельзя было. Я заговорил об Ухтомском. «Очень славный малый»,— сказал Николай II. Он его давно не видел; тогда уже начиналось охлаждение... Я почувствовал, что Ухтомский — «разогретое блюдо»... От Ухтомского перешли к путешествию, заговорили о дальних островах; я сказал, что в Японии я заходил в ту лавочку, куда его положили, раненного, после покушения, даже купил в лавочке кусок шелковой материи... Мы говорили уже довольно долго; разговор принимал затяжной характер, а в глазах публики, которая не знала, о чем говорим, приобретала видимость исключительного внимания к директору театров. Между тем он ни сам не трогался, ни меня не отпускал. В стороне стоял генерал Рихтер, заменявший отсутствовавшего Фредерикса. Он подошел и, как муж Татьяны, «прервал сей неприятный тэт-а-тэт». Я пошел по своим делам на сцену.

Эрмитажных спектаклей было при мне очень много. Ими любили угощать иностранцев. На одном из них присутствовал несчастный Фердинанд Австрийский, тот самый, убийство которого в Сараево послужило сигналом войны.

Вспоминаю еще парадный спектакль в Петергофе по случаю приезда шаха персидского. Я сидел в царской ложе за креслом государя. Шах сидел между государем и императрицей. Он страдал одышкой, все время обмахивался афишей, и через мое плечо каждые пять минут придворный арап подавал ему стакан воды со льдом. Слышу и сейчас звон льдинок о тонкий хрусталь... Шел один акт из «Конька-Горбунка», в который я для этого случая вставил чардаш, поставленный на музыку рапсодии Листа. Это было очень задорно, очень захватывающе. Этот номер так и остался вставленным в «Конька-Горбунка» и удержался на сцене и после моего ухода.

Николай II был очень доволен чардашем и вообще был в этот день в прелестном настроении. Когда после обмена любезностями через переводчика с шахом простились и он выходил из ложи, государь, вдруг спохватившись, воскликнул: «Миша, Миша!» — и махнул

рукой по направлению двери. Михаил Александрович опрометью бросился на лестницу, обогнал меня и пошел рядом с шахом. Внизу, перед тем как окончательно проститься, шах сказал что-то по-персидски своему переводчику; тот по-французски сказал великому князю: «Его величество поручает мне сказать вашему высочеству, что его величество так тронут приемом, оказанным ему его величеством, что, сколько бы он ни искал, он никогда не найдет соответствующих слов, чтобы выразить его величеству всю свою благодарность». Перед этим потоком восточного красноречия Михаил Александрович конфузливо молчал... Я по этому случаю был пожалован второй степенью ордена Льва и Солнца: лента через плечо, но не зеленого (это первая степень), а красного цвета. Это был мой единственный знак отличия, я не имел ни одного ордена... Вернусь к впечатлениям Эрмитажа.

Как красива в эрмитажном павильоне бальная зала, в мавританском стиле, белая с золотом. Бал в этом зале — это одно из самых красивых зрелищ. Зал отделен колоннами от смежной гостиной, и над этими колоннами балкон, с которого можно обозревать обе комнаты — и танцующих на блестящем паркете, и гуляющих по мягкому малиновому ковру гостиной. Из гостиной — открытая дверь в зимний сад, в котором во время балов в спрятанных за зеленью клетках стрекотали канарейки,—

«Певцы зимой погоды летней».

Однажды давно, еще в годы моей юности, я входил из зимнего сада в гостиную. Комната была пуста; только на диване сидели сестра Александра III, великая княгиня Мария Александровна, по мужу герцогиня Эдинбургская, с бывшей своею воспитательницей графиней Толстой. Я потихоньку направлялся к ним. Великая княгиня смотрит в мою сторону и говорит графине: «Почему этот дикарь не танцует?» Я в недоумении останавливаюсь. Обе дамы разражаются хохотом, и Мария Александровна говорит: «Да не вы. Сзади вас». Я обернулся — в углу стоял в своем национальном костюме князь Данило Черногорский.

Марию Александровну всегда вспоминаю с удовольствием. Человек с ясным взглядом на вещи. Остав-

шись совершенно русской, она вместе с тем приобрела от долгой жизни в Англии и Германии, как бы сказать, более свободный угол зрения на наши русские условия и обстоятельства. Помню, был у нее в Ницце, в ее вилле Favron. Долго беседовали о том, что делалось в России, в частности, о полосе официального ханжества, которое тогда выразилось в московском всенародном говении. «De tous temps les souverains ont fait leurs dévotions; jamais on n'a trouvé nécessaire de crier ca pardessus les toits» (Всегда государи говели; никогда не считали нужным об этом кричать на перекрестках). И помню, как она тут же сокрушалась о том, до какой степени в России в этом отношении отуманены умы. С братом своим Сергеем она о некоторых вопросах уже не может говорить...

После эрмитажных спектаклей бывал ужин в залах картинной галереи. Что за красота! Среди Веласкесов, Тицианов, Веронезов, в этих дивных, мрамором лоснящихся залах музея — круглые столы, скатерти, серебро, хрусталь, цветы, и вокруг столов белые с золотом ампирные стулья. Шум и движение рассаживающейся толпы. Бриллианты, мундиры, голые плечи, эполеты, перья, ленты, звезды и красные ливреи придворных служителей в белых чулках. В музейных залах, среди малахитовых и ляписовых ваз, пахло цветами, и над чашками поднимался легкой струйкой вкусный пар горячего бульона.

Однажды я ужинал за столóм, за которым ужинал государь. Было несколько великих князей из молодых. Я сидел рядом с принцессой Голштинской, родственницей английского королевского дома, приехавшей погостить в Петербург. После первого блюда началась обычная забава, которой в таких случаях предается эта молодежь. Полетели через стол хлебные шарики; сперва робко, исподтишка, потом все гуще, и перестрелка вовсю. Николай II не отставал от прочих. Шарики попадали и в меня по ошибке — думаю, по крайней мере, что по ошибке,— я передавал их соседке своей, говоря, что не имею права присваивать себе то, что не мне предназначалось...

Какая легкость на верхах общественной жизни. И рядом с этой легкостью такая тяжесть. То есть не то удивительно, что вверху легкость, а внизу тяжесть; в этом что же удивительного? Это и в природе так: вверху пар, благоуханье, дым, внизу осадки, кристал-

лы, уголь. Но здесь меня поражало это близкое соседство, даже смешение легкости и тяжести. Эта картина беззаботности и тут же рядом ответственность; эта непринужденность и тут же бдительность. И эти все сановники, министры, государственные деятели, которые, в силу того, что они работники, должны быть и участниками этого легкого времяпрепровождения. Для министра одинаково обязательны и его канцелярия, и приемный день, и этот спектакль, и этот ужин. И потом, меня всегда поражало: вокруг этих столов сколько разговора и сколько умолченного. Впрочем, умолчание есть установившийся прием. Когда Николай II получил телеграмму о Цусимском поражении, он играл в лаун-теннис. Он положил телеграмму в карман и продолжал игру. Тут было отчасти свойство характера, а отчасти был и обычай. В Аничковском дворце при дворе Александра III ни об одном проекте не говорили, об отъездах узнавали накануне и как-то вскользь, мимоходом. Среди придворных было даже такое выражение — «le silence d'Anitchkoff» (аничковское молчанье). Но Николай II к обычаю прибавил и личные черты. Он за завтраком получил телеграмму о падении Порт-Артура. Кладя телеграмму в карман, он сказал: «Интересно, долго ли продержится Стессель»... И вот вокруг этих столов за ужином — сколько веселого говора и сколько серьезно умолченного. У министра внутренних дел, например, сколько такого, о чем он говорит утром у себя в кабинете и о чем никогда не заговорит за ужином. Какие разные люди те, с которыми он говорит там, у себя, и те, с которыми разговаривает здесь; и как он обязан тем и как любезен с этими. Может быть, это так и нужно — корни и цветы. Вся жизнь из корней и цветов. Но почему в неодушевленной природе это сочетание так красиво, а в одушевленной это соседство так жутко? Никогда на этих общественно-придворных верхах чувство беззаботности не заражало меня, и никогда чувство жуткости меня не покидало: мой шарик не летел.

И почему-то всегда я думал о трех надписях к солнечным часам, которые читал не помню где.

Первая надпись: «Uti umbra dies nostri» (Что тень дни наши).

Вторая надпись: «Vos umbra, me lumen regit» (Вами тень, мною свет руководит).

Третья надпись: «Ultimam time» (Бойся последнего).

Всегда предносился мне этот «последний час». Всегда я ощущал наставленные ножницы Парки, готовые перерезать беззаботную пряжу под взором тщетной бдительности. И в какую огромную игру, в какой своеобразный танец превращалось все это, когда сплетались в сознании и беззаботность и жуткость, и цветы и корни, и хлебные шарики и бомбы... Помню, что во время коронации Николая II я говорил тем, с кем делился впечатлениями: это последняя. Среди тогдашнего апофеоза беззаботности я думал: что скажет бдительность, когда народу надоест кричать «ура», и что сделает этот народ, когда перестанет его тешить «зрелище»?

И вспоминалось мне иногда, как в Америке после одной из моих лекций один из слушателей заговорил со мной. Жалею, не помню, кто он был. Огромный человек с внешностью вроде Петра Великого. В разговоре между прочим спросил меня, долго ли я останусь в Америке. Говорю, что должен поспевать на коронацию.

— Well, these things won't last long (Ну, эти вещи не будут долговечны).

— What do you mean? (Как так?)

— Are you a freemason? (Вы франмасон?)

— No, I'm not (Нет).

— Well... then... (Да, ну... в таком случае...)

Никогда не испытал так ясно, что я прикоснулся к чему-то неизвестному, жуткому и огромному...

С такими мыслями вращался я в сферах — и в высших и в низших, и в придворных и в чиновных, и в сферах искусства и в сферах печати. И все мне казалось неустойчиво, преходяще, все имело лишь ценность временной формы. И цветы мне казались ничтожны, когда я думал о корнях, и корни мне были противны, когда думал о цветах... И всегда я ощущал, что «сферы» не для меня.

Расскажу, как я из них вышел.

— Ах да, Волконский, я хотел вам сказать... я знаю, что «Фиамметта» требует много репетиций, теперь масленица, они устали — дайте лучше в пятницу «Маркитантку».

— Слушаюсь, ваше величество.

Это было в царской ложе Мариинского театра во время антракта. Только за три дня перед тем, в той же ложе, пробегая репертуар, государь мне сказал, что он так рад будущую пятницу увидеть балет «Фиамметта», которого никогда еще не видел. Почему же вдруг отмена? Я, конечно, мог ответить, что артисты вовсе не устали, что одноактный балет не требует репетиций, что все рады показать государю что-нибудь такое, чего он еще не видал... Но я знал, что мои слова будут ни к чему. Я слишком хорошо чувствовал, что то, на что он ссылался — усталость артистов, праздники и пр., — это не причина, а лишь предлог.

Есть ли на свете что-нибудь более трудное, как опровергать предлог? Опровергните — сейчас явится другой. Uno avulso, non deficit alter *. Мне всегда казалось, что предлог — злейший враг логики. Ведь предлог — это то, что нарушает самую нерушимую связь явлений — причинность; это есть подмена естественного рождения каким-то насильственным подбором. А тот случай, о котором я рассказываю, представляет собой некоторую разновидность. Дело в том, что государь верил в то, что говорил; он действительно думал, что артисты устали и пр. *Для него* это был не предлог, это была причина. Но в таком случае в чем же дело? Откуда было у меня такое ощущение бесполезности всяких доводов и почему, несмотря на искренность государя, я испытывал ту неловкость, которую испытываю всегда, когда вместо причины стою перед предлогом? Очевидно, что-то произошло в промежутке тех трех дней. Произошло вот что.

Когда из царской ложи я вышел на сцену, подозвал режиссера и сказал, чтобы он подчистил «Фиамметту», так как государь собирается ее посмотреть, оказывается, — я этого тогда и не заметил, — в двух

* Если отломить одну (ветвь), сразу появляется другая *(латин.)*.

шагах от меня стояла Кшесинская. «Фиамметту» танцевала балерина Трефилова, которую Кшесинская терпеть не могла; услыхав мои слова, — это мне передали впоследствии, — она сказала: «Ах вот как! «Фиамметта» не пойдет». И «Фиамметта» не пошла. Вот, значит, где произошла подмена причины предлогом.

Кшесинская достигала всего, что хотела. Через великого князя Сергея Михайловича, с которым она жила, она восходила к государю, который в память своих когда-то близких к ней отношений разрешал все ее просьбы. Она при этом умела так обставить свою просьбу, что выходило, как будто ее обижают: во всяком случае, государю казалось, что она является страдалицей за прежнее его к ней благоволение. Поэтому он думал, что, разрешая ее просьбы, он тем самым восстановляет справедливость, избавляет ее от несправедливого преследования. В данном случае, очевидно, и просьбы не было или, вернее, личной просьбе была придана видимость заступничества за других. Государю предоставляется случай выказать свое внимание к артистам, измученным двойными спектаклями на масленой неделе. И он выказал внимание, он сказал: «Поставьте лучше «Маркитантку».

Не в первый раз государь вмешивался в мелочные подробности балетного репертуара и даже распределения ролей. Это было всегда ради удовлетворения какого-нибудь желания Кшесинской; это всегда сопровождалось какою-нибудь несправедливостью по отношению к какой-нибудь другой танцовщице. Сам государь не знал, что творит несправедливость. Он исполнял чужую просьбу, и просьба ему докладывалась в такой форме, что несправедливость оставалась сокрыта. Что, например, было неприглядное скрытой стороны этого факта? Именем царя совершается возмутительная несправедливость. А вместе с тем что было проще и яснее видимой стороны этого происшествия? Государь «входит в положение» бедных артистов. И вот почему в этом случае, как и всегда в других подобных случаях, я мог ответить только и ответил: «Слушаюсь, ваше величество».

Нелегко было быть орудием несправедливости. Я уже не говорю о том, что всякий такой случай, становясь предметом всеобщего обсуждения за кулисами,

возбуждал волнения, разжигал страсти и, конечно, не способствовал ни укреплению дисциплины, ни утверждению авторитета директора. И, однако, выйти в отставку я не мог — «видимость» не дала к тому уважительного основания. Был, правда, один случай, но он произошел при самом начале моей службы и при таких обстоятельствах, что я должен был примириться с фактом. Вот как это было.

Мой предшественник по управлению театрами, Иван Александрович Всеволожский, заключил контракт с дрезденской балериной Гримальди. Этот контракт я унаследовал; с ее дебютов начинался балетный сезон 1899 года. Она дебютировала в «Жизели» с большим успехом. Следующий балет по контракту — «Тщетная предосторожность»; начались репетиции. В одно прекрасное утро на приемном дне является ко мне Кшесинская, заявляет свои права на исключительное исполнение «Тщетной предосторожности» и просит не отдавать другой то, что она называла «мой балет». Я отказал, ссылаясь на контрактное обязательство и указывая на то, что ни в опере, ни в драме не существует *монополии* ролей, что нет основания вводить этот обычай в балетную труппу: и в самом деле, разнообразие для публики, для балерин — соревнование. Она вышла недовольная. На другой день — ко мне звонок; у телефона великий князь Сергей Михайлович; спрашивает, когда я могу заехать к нему. Условились — на следующий день. Приезжаю. «Я хотел с вами поговорить насчет Матильды Феликсовны, насчет «Тщетной предосторожности».

Начинается все то же самое, и с моей стороны те же ответы — сказка про белого бычка. Я указывал, кроме того, на дисциплину, чувство служебного долга. Он все это отмахивал и настаивал все на одном: «Отнеситесь к вопросу не с служебной сухостью, а с человечностью, с сердечностью». Видя, что из этого разговора на балетные темы ничего не вытанцуется, я сказал, что подумаю и напишу ему, вперед решив, что ответ мой будет отрицательный.

На другой день был мой доклад у министра Двора, барона Фредерикса. Через день он уезжал с государем в Дармштадт, и я предупредил, что в его отсутствие у меня будет столкновение с моим августейшим тезкой и что, может быть, и до него дойдут о том отголоски. Прощаясь со мной, он сказал: «Будьте тверды».

6 Зак. 2208

«Я буду», — сказал я. «Будете ли вы?» — подумал я. Надо сказать, что перед тем, как мне был предложен пост директора императорских театров, запросили моего близкого друга, князя Александра Андреевича Ливена, способен ли я буду противустоять вмешательству великих князей в театральные дела. Ливен поручился за мою самостоятельность в этом отношении. Но после первых же докладов у министра я понял, что он никогда не будет опорой. Ведь это же элементарная истина, что опираться можно только о то, что способно противустоять. Фредерикс, при рыцарски-благородных качествах своих, был характера рыхлого; я ясно ощущал, что его напутствие есть совет, но не может быть принято как обещание. Фредерикс, кроме того, был недалек; он был неподвижного ума. Доклады у него иногда бывали очень тяжелы — он с трудом улавливал суть дела; всякий доклад надо было подавать в самых коротких словах — его мышление сейчас же утомлялось, его не хватало ни на какое более длинное рассуждение. Самое благоприятное для меня это бывало, когда он чувствовал усталость, тогда он не спрашивал объяснений и прямо подписывал... Решив соблюсти свою «линию», я на другой день написал Сергею Михайловичу мой мотивированный отказ исполнить его желание. Получил в ответ письмо столь же недовольное, сколько нескладное, которое кончалось так: «А что Вы пишете, что отвечаете мне по зрелом размышлении, то и я обратился к Вам не без оного. Оскорбив Матильду Феликсовну, Вы обидели и меня». На этом кончилась первая глава происшествия. Репетиции «Тщетной предосторожности» продолжались.

Недели через две подает курьер телеграмму. Распечатываю — шифрованная. У меня в дирекции шифра не оказалось; отправляюсь к управляющему канцелярией министра Злобину, беру у него шифр, возвращаюсь домой, расшифровываю — из Дармштадта, от Фредерикса: «Передаю Вам приказание не отдавать балета «Тщетная предосторожность» балерине Гримальди, оставив его за Кшесинской». Я сделал еще одну попытку, послал убедительную телеграмму, но получил в ответ: «Не могу изменить полученного Вами приказания». Что мне оставалось делать? Репетиции «Тщетной предосторожности» прекратились.

Повторяю, это было в самом начале моей службы.

Подавать в отставку было бы смешно, тем более что приходилось бы ждать два месяца возвращения государя; было бы смешно оспаривать у самодержца право распределения ролей, которое принадлежало и мне, его подданному, и всякому режиссеру. Наконец, смешно было уходить по такому поводу, который по видимости своей имел бы характер личной обиды. Но я написал тогда письмо барону Фредериксу, в котором изложил мой взгляд на все это и между прочим сказал, что подобные распоряжения ложатся тенью на доброе имя государя. Действительно, вся мелкая петербургская «публика», вся провинция были уверены, что государь продолжает сожительствовать с Кшесинской. И как было не думать, когда всякая ее просьба исполнялась? В глазах всех Кшесинская была «самодержавный каприз». И всякое административное распоряжение утверждением своим только подтверждало предположения общественного мнения. Великий грех в этом отношении на душе покойного Сергея Михайловича, грех способствования тому, что в конце концов мы должны назвать оскорблением величества. В таком смысле написал я министру Двора. В отставку, как сказал уже, не подал, а решил ждать, как пойдет дальше...

Но к тому времени, с которого начался наш рассказ, многое сгустилось, обозначилось настолько, что всякие личные чувства отступали на задний план перед общей невозможностью вести дело на сколько-нибудь устойчивых основаниях дисциплины и справедливости. Кончался второй сезон моего директорства, и я на каждом шагу натыкался на невозможность поступать по совести. Или, наученный опытом, я должен был сам воздерживаться от некоторых распоряжений, или я должен был идти на новые столкновения, новые отмены моих распоряжений и новые за кулисами шушукания, волнения, слезы, истерики. Да, не знает публика, сколько горечи за балетной улыбкой, сколько тяжести за легкостью балетных «тюников»... Я ждал случая уйти.

В тот год пасхальный сезон был короток, но представлял интерес: Кшесинская должна была выступить в балете «Камарго», который перед тем танцевала в свой прощальный бенефис итальянская балерина Лень-

яни. Кстати, и тут мне припоминается история. Леньяни для своего бенефиса выбрала было старый, давно не шедший балет «Баядерка». Через две недели приходит Кшесинская и заявляет, что после долгих исканий она наконец нашла себе подходящий балет, она выбрала — «Баядерку». Ну, начинается новая волна, подумал я. Посылаю за Леньяни, говорю ей откровенно, как обстоит дело. предлагаю вместо «Баядерки» «Камарго» — балет красивый, в костюмах Людовика XV; она согласилась скорее и легче, чем я ожидал. В особенности пленило ее, когда я сказал ей, что для русской пляски (в каждом старом балете, где бы и когда бы действие ни происходило, всегда был вставной номер русской пляски) я ей сделаю точный снимок с известного портрета Екатерины Великой в русском костюме на балу, данном в честь императора Иосифа II. Несмотря на то, что она так легко согласилась, она все же затаила злобу против меня, и я знаю, что по возвращении в Италию она говорила, что никогда не вернется в Россию, пока в театре будут два человека: Кшесинская и князь Волконский. Она была уверена, что я подслуживаюсь...

Вот эту самую «Камарго», которую на масленице танцевала Леньяни, должна была после Пасхи танцевать Кшесинская. И этому самому костюму Екатерины Великой суждено было оказать мне услугу, за которую я ему был благодарен в течение многих лет. Я сказал уже, что ждал случая уйти. Долго такого не представлялось. Наконец представился. Вы с трудом поверите, что могло стать причиной ухода директора императорских театров. Вы с трудом поверите, что причиной были фижмы. Впрочем, вы, может быть, не знаете, что такое фижмы? Фижмы — это из проволоки сплетенные корзины, которые надеваются на бедра под юбки, для того чтобы юбки стояли пышнее. В XVIII столетии иначе как в фижмах не танцевали; в фижмах поэтому был задуман мною и русский костюм балерины по портрету Екатерины Великой: это был русский танец, стилизованный во вкусе Людовика XV. Недели за две до представления доходит до меня слух, что Кшесинская не хочет надевать фижмы. Чем ближе к дню представления, тем слухи упорнее. В то время вопросы балетные сильно занимали общество; они были способны даже волновать его. Всякая мелочь закулисная становилась достоянием городских

разговоров, и, как по электрическим проводам, волнения передавались — в гостиные, в редакции, в рестораны. Вопрос о фижмах принял размеры чего-то большого, важного. Уже говорили, что Кшесинская объявила, что ни за что их не наденет. Настал и день представления. Театр битком набит, и добрая половина присутствующих, конечно, занята мыслью: «Ну, как? В фижмах или без фижм?» В антракте, перед вторым действием приходит ко мне в директорскую ложу заведующий монтировочной частью барон Кусов с известием, что Кшесинская прогнала костюмершу, принесшую фижмы в ее уборную: «Вон, вон эту гадость! Не надену! Пусть меня штрафуют, пусть что хотят делают, а фижмы не надену!» Занавес взвился, под звуки русской пляски Кшесинская выплыла — без фижм. На другой день в журнале распоряжений по дирекции: «Директор императорских театров постановил: на балерину Кшесинскую, за самовольное изменение в балете «Камарго» установленного костюма, наложить штраф в размере...» (Уж не помню, какая тут часть содержания полагалась по уставу.)

Через два дня будят меня в восемь часов утра: министр просит сейчас же приехать к нему. Одеваюсь, еду на Почтамтскую, вхожу.

— Вот, у меня очень неприятное к вам поручение. Государь желает, чтобы штраф с Кшесинской был сложен.

— Хорошо, говорю, но вы знаете, что после этого мне остается делать.

— Ну да, я знаю; вы молоды, вы слишком к сердцу принимаете. Об этом мы после поговорим. А сейчас, значит, я вам передал желание государя. Я через полчаса еду в Царское; я могу, значит, доложить, что приказание государя исполнено.

— Разумеется.

— А затем я вернусь и передам вам результат моего разговора. Заезжайте ко мне часов в пять. Да, я забыл вам сказать: государь желает, чтобы штраф был сложен в том же порядке, в каком был наложен.

Я вернулся в дирекцию, попросил к себе чиновника Ивана Сергеевича Руссецкого, заведовавшего печатанием журнала распоряжений, и передал ему для напечатания на следующий день распоряжение, что наложенный по приказанию директора императорских театров на балерину Кшесинскую за то-то и то-то

штраф по приказанию директора императорских театров слагается. Затем, оставшись один, написал прошение об отставке и положил его себе в карман.

В пять часов я был в приемной министра, в дверях кабинета сталкиваюсь с правителем канцелярии, Александром Александровичем Мосоловым; он крепко пожал мне руку и, проходя, сказал: «Я очень рад за вас». Я вошел в кабинет.

— Вы исполнили все, как было нами условлено?

— В точности...

— Ну и прекрасно...

— А вот моя отставка.

— Да оставьте, это совсем не нужно, вы сейчас в этом убедитесь.

— Нет, я вас очень прошу принять от меня бумагу.

— Ну хорошо, я ее возьму и спрячу к себе в стол.

К большой моей радости, отворился ящик письменного стола и поглотил мою бумагу. Но то, что для меня казалось самым важным, то для Фредерикса, повидимому, было пустяком, а важным было то, к чему он приступил.

— Я говорил с государем по поводу всего этого дела, и я сказал ему, что, собственно, он слышит всегда лишь одну сторону, что ему непременно следует выслушать и вас. Он с этим согласился. Таким образом, я вам выхлопотал то, чего не имел еще ни один директор, — личный доклад. Государь вас примет в понедельник.

Я поблагодарил и вернулся домой в довольно смутном настроении. Предстояло нечто серьезное. Я чувствовал на себе большую ответственность и испытывал потребность проверить себя: верно ли я думал, имел ли основание сказать государю то, что я думал. Я решился поведать свои намерения и свои сомнения великому князю Владимиру Александровичу. И он и великая княгиня Мария Павловна всегда оказывали мне самое сердечное внимание; во время моего директорства у меня не раз бывали неприятности — в них я всегда находил одинаковую ровность отношения. Я позвонил состоявшему при великой княгине Александру Севастьяновичу Эттеру, прося его доложить, что хотел бы поговорить с великим князем по важному делу до понедельника. Меня пригласили завтракать в воскресенье. Перед завтраком имел длинную беседу с вели-

ким князем, а после завтрака беседа продолжалась у великой княгини втроем. Я изложил дело, положение вещей, которого оно являлось последствием, и, наконец, план того, что я намеревался сказать на другой день в Царском Селе. Впрочем, много и говорить не приходилось: они так хорошо знали и обстоятельства и характер своего царственного племянника. Мне было высказано полное одобрение; я чувствовал какую-то в них радость, даже, боюсь сказать, — благодарность за мое намерение. То же самое я почувствовал накануне вечером, когда в Михайловском театре говорил с великим князем Алексеем Александровичем. Я положительно чувствовал за спиной руки обоих великих князей, которые толкали меня в кабинет государя. Тем временем воскресный вечер я провел в своем кабинете, шагая из угла в угол и зудя свою завтрашнюю речь, как актер зубрит монолог: я хотел закалить себя против возможных случайностей, возможной забывчивости, возможного волнения...

В восемь часов утра я был на Царскосельском вокзале. Обычная картина нарядной суеты: мундиры, треуголки, белые перчатки, портфели, курьеры; одни люди спешащие, другие люди вытягивающиеся в струнку, третьи спокойно шествующие, отвечающие на поклоны. Нарядный, лоснящийся вагон. Поезд мягко трогается, перед окнами вагона проходят стоящие на месте вытянутые в струнку курьеры, жандармы, железнодорожные служители: в поезде едет великий князь Алексей Александрович. Через мгновенье вся эта официальная нарядность охвачена природой; поезд выкатил в поля: мундиры, портфели, белые перчатки — на фоне зеленых лугов.

Здесь, в поезде, узнал я, не помню от кого, что накануне был дежурным адъютантом великий князь Сергей Михайлович. Это не была его очередь, но великие князья имели право поменяться очередью, когда имели дело до государя, и Сергей Михайлович этим правом воспользовался накануне моей аудиенции.

По понедельникам в Царском Селе в девять часов утра бывал доклад генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича. После него принимались находящиеся в Петербурге губернаторы. Мне было назначено после губернаторов. Прием несколько запоздал,

так как раньше губернаторов во дворе дворца был смотр каким-то автомобилям: свисту, шуму и пыхтенью не было конца. Наконец наступил черед губернаторам; их было немного — три, четыре; вышел последний — пришел и мне черед. Когда я вошел в кабинет государя, я сразу почувствовал, что все, что я скажу, будет ни к чему.

Николая II я знал довольно хорошо. То есть не хочу этим сказать, что был с ним близко знаком, но я имел возможность за два года своего директорства изучить его характер. Одна из причин, почему директор императорских театров возбуждал такую зависть, это привилегия, которою он пользовался, когда государь бывал в театре, — входить в царскую ложу во время антрактов. В то время как министры имели дни доклада, в то время как высшие сановники видали государя раз, два в неделю, директор театров видал его по нескольку раз в вечер, а на масленице, например, когда были денные спектакли, то два раза в день по три, четыре раза. Никто, как директор театров, не имел возможности «поболтать» с государем. Николай II любил театр, часто ездил и часто в антрактах задерживал меня в ложе — настолько, что иногда приходилось напоминать: «Однако, ваше величество, не думаете ли, что пора занавес поднимать?» Но я должен сказать, что это бывало только когда он был один, без императрицы. Александра Феодоровна действовала, по-видимому, сдерживающим образом на супруга. Она была холодна, невозмутима. Ее входы и выходы — это была пантомима. Никогда ни отзыва, ни суждения, ни вопроса. За два года я один раз только слышал ее голос — когда зашел разговор о юбках наших балерин; она нашла, и совершенно справедливо, что они слишком коротки... Да, только когда он бывал один, только тогда бывал он разговорчив.

Удивительную черту я подметил в нем: чем дальше разговор уходил от вверенного мне дела, тем проще и непринужденнее он был, чем ближе к делу, тем недоверчивее он становился. Можно было подумать, что все интересует его больше, нежели деловая сторона того, что он поручил человеку. Я не преувеличу, сказав, что прикосновение к делу вызывало в нем прямо какую-то враждебность. Зато на почве безразлич-

ного разговора он мог быть обворожителен; внешняя доверчивость могла принимать формы прямо детской простоты. Помню, однажды, просматривая репертуар, он спросил: «А что, французская пьеса в субботу какова?» Я сказал, что очень смешная, но и очень — того... Он прищурился, подмигнул и с лукавством школьника шепнул: «Ну ничего, я один приеду...» Он мог быть обворожителен. Я знал людей, выходивших из его кабинета на седьмом небе; каждому казалось, что из всех ста восьмидесяти миллионов подданных он самый любимый. Это бывало с теми, которых он мало знал, которых встречал редко, главное, с такими, с которыми не приходил в деловое соприкосновение. При этом естественно, что низшие пользовались большим благоволением, чем высшие; благоволение царское было обратно пропорционально служебной ответственности должностного лица: Обратно пропорциональна была и длительность этого благоволения: низшие служащие доживали до пенсий, становились необходимой принадлежностью каждодневной обстановки, в то время как на верхах шло то, что Пуришкевич назвал чехардой. Никакой реальности не было в его благоволении, оно испарялось как дым и даже тем легче, чем при начале казалось горячее. Страшное, жуткое слово пустил в ход Куропаткин; он называл это — «медовый месяц доверия».

Император Николай II не только умел, он любил быть обворожительным, он не любил быть неприятным: когда только можно было, он поручал неприятную обязанность другому; не могу себе вообразить его делающим личный выговор. Когда обстоятельства требовали неприятного от него лично, он это неприятное откладывал до самой последней минуты и здесь, как часто бывает с характерами слабыми, в одну секунду совершал такую операцию, которая от более сильного человека потребовала бы часового разговора. Так, когда Витте, министр финансов, однажды уходил с доклада, государь дал ему дойти до дверей и вдруг сказал: «Ах да, Сергей Юльевич, я назначил министром финансов Плеске». А случай с Самариным, прокурором Св. Синода, который сейчас, когда пишу эти строки, томится в темнице уже который месяц. Он был приглашен в Царское к завтраку, с ним были любезны, ласковы до последних пределов, его водили к постели больного маленького наследника... Из Цар-

ского он поехал в какое-то заседание, там получил уведомление о своей отставке... Из заседания поехал домой — нашел на столе портрет государя с собственноручной надписью. Часто приходилось слышать сравнение Николая II с Александром I; и в самом деле, разве это не напоминает случай со Сперанским, который, выходя из кабинета Александра, крестился благополучному исходу, а приехав домой, нашел приказ о своей отставке и ссылке...

Понятно, что при этом не могло быть столкновений, не может быть столкновений с тем, что уклоняется, убегает. И столкновений не бывало: неприятное замалчивалось, виновник неприятного обстоятельства удалялся. Тут проявлялась и еще одна черта характера — страшное, трагическое безразличие. Легкость, с которою он уступал, легкость, с которою он соглашался, отказывался, ставила людей перед каким-то пустым местом. Не помню по какому делу, было соревнование между Витте и Куропаткиным. Государь согласился с мнением одного, потом другого; на втором докладе Витте опять взял верх; наконец Куропаткину удалось добиться под подписью добавочной резолюции: «Это мое последнее непреклонное желание». По поводу учреждения папской нунциатуры в России имеется три Высочайших резолюции: «Нахожу желательным», «Нахожу преждевременным», «Нахожу нежелательным». Совершенно непонятно, как такой характер, казалось, созданный для того, чтобы быть конституционным монархом, мог с такой цепкостью держаться за самодержавие. В этом случае он, конечно, шел против собственной природы; и, может быть, в этом единственная трагическая нота этого человека с такой трагической судьбой и без всякого трагизма в своей личности...

Этим безразличием объяснялась и та легкость, с которой он выслушивал, вернее — то спокойствие. Ему можно было все говорить; он на все отвечал: «Конечно, конечно». По бегающим глазам и по руке, теребящей ус, только можно было заключить, что то, что он слышит, ему не нравится, но он не прерывал, иногда даже подбадривал говорящего своим поощрительным «конечно».

Когда я вошел в кабинет государя, я почувствовал, что все, что я скажу, будет совершенно не нужно. Но вместе с тем я был вызван для того, чтобы говорить,— как же я мог не сказать? И наконец, кто же бы поверил, если бы я не высказал всего, кто бы поверил, что я смолчал из сознания бесполезности моих слов, а не из робости? Я сказал все, весь мой монолог. Я обрисовал те невозможные условия ведения дела, которые создаются вмешательством в мои распоряжения благодаря исключительности, в которую ставится одна артистка перед другими, я описал закулисные настроения и нравственные условия работы, ими создаваемые. Я говорил долго, минут десять, я думаю. Мы стояли между окнами; направо от меня, в простенке, стоял шкафчик, на нем часы; на эти часы бегающие глаза часто засматривались, пока пальцы теребили ус: было тридцать пять минут первого, приближалось время завтрака. Я говорил, и все больше и больше раскрывалось передо мной пустое место. Ни одного замечания, ни одного вопроса. Один только раз он сделал вставку. Я говорил о том, что когда приезжала из Москвы балерина Рославлева танцевать «Корсара», в котором есть вставной номер, то Кшесинская заявила права на музыку этого вставного номера; балетный дирижер Дриго и его помощники целую ночь в библиотеке подыскивали для этого па другую музыку. Вот, говорил я, к каким осложнениям ведет система балетной монополии. Здесь он сказал свое единственное слово; когда я упомянул о вставном номере в «Корсаре», он спросил: «Музыка Делиба?»...

Я уже давно чувствовал, что моя отставка в принципе принята. Я кончил свой монолог просьбой освободить меня от моей должности. Неприятная сторона разговора была кончена; напряжение с обеих сторон сразу ослабело.

— Да, но как же... Вас очень трудно заменить...

— Я готов ждать, ваше величество, сколько прикажете. Далека от меня мысль вызывать затруднения. Только прошу принять во внимание, что сезон театральный приготовляется с лета и что, следовательно, чем раньше состоится новое назначение, тем для дела выгоднее и для моего заместителя легче.

— Ну, я вас прошу, подождите... до июня.

И мне тоже хотелось завтракать. В одной из комнат дворца нас ожидал «гофмаршальский стол»...

Царскосельский парк сиял в блеске чудного апрельского дня, когда мы с одним из губернаторов (не помню ни фамилии, ни губернии) в придворной коляске ехали из дворца на вокзал...

В Петербурге, едучи по Вознесенскому проспекту, я заметил впереди себя пролетку великого князя Алексея Александровича; я сказал своему кучеру, чтобы он не наезжал и не обгонял. Через минуту кучер оборачивается и говорит мне: «Просят поравняться». «Ну что же, подъезжай». Мы поравнялись. Великий князь спрашивает:

— Eh bien? (Ну что?)

Развожу руками и пожимаю плечами.

— Mais vous avez parlé? (Но вы говорили?)

— Oui (Да).

— Vous avez tout dit? (Вы все сказали?)

— Tout (Все).

— Fort bien (Хорошо).

— Trop (Слишком много).

— Tant mieux! (Тем лучше!)

И, обращаясь к своему кучеру: «Пошел». Пролетка великого князя укатила...

Я поехал к Фредериксу рассказать о моей аудиенции. Министр остался недоволен тою неопределенностью, которой был отмечен конец царскосельского моего разговора. Он был искренно уверен, что ему удалось все уладить, а тут вдруг опять все расстраивалось... Наступило для меня длинное, скучное ожидание; в мае я переехал на житье к моему дяде князю Белосельскому-Белозерскому на его чудную дачу на Крестовском острове. Прошел май месяц, наступил и июнь, мое дело как будто не двигалось. Отец мой имел случай в это время представиться государю — он подносил ему только что напечатанные «Записки» моего деда декабриста. Государь спросил:

— А что, ваш сын успокоился?

— Успокоился, ваше величество, совсем успокоился с тех пор, как вы обещали отпустить его.

Очень я в то время был благодарен моему отцу за находчивость и определенность его ответа. Но мне хотелось двинуть дело, и я просил моего дядю Белосельского поговорить с Фредериксом. Оказывается, Фредерикс был растерян: «Я сделал все, что от меня зависело; мне казалось, что государь со мной согласился... Что там произошло, не понимаю; сам ли Волкон-

ский себе повредил или Сергей Михайлович перебежал ему дорогу... Но государь теперь уже смотрит на отставку Волконского как на дело решенное». Наконец я получил уведомление о назначении меня гофмейстером; тем самым я уже не был директором. На мое место был назначен Владимир Аркадьевич Теляковский, при мне заведовавший императорскими театрами в Москве. Мне оставалось откланяться государю.

Двор уже переехал в Петергоф; я был принят в том прелестном маленьком домике на самом берегу моря, в котором государь проводил жаркие месяцы. В это утро представлялась депутация одного из прусских полков; Вильгельм прислал показать Николаю II новую изобретенную им походную форму: оказывается, это стародавний обычай, установившийся между домами Гогенцоллернов и Романовых, — обмениваться новинками в области обмундирования. Депутация состояла из генерала, офицера и рядового, одетого в походную форму защитного цвета. Этот рядовой и был то, что Вильгельм прислал на показ; в приемной государя его осматривали со всех сторон: возбуждали интерес его парусиновый шлем и в особенности ранец, очень сложного устройства, с массою отделений для чая, для мыла, для хлеба, для табаку... Я прошел в комнату, предшествующую кабинету, ту самую комнату, в которой два года тому назад ждал аудиенции по случаю назначения директором. Тогда был дежурным флигель-адъютантом великий князь Михаил Александрович, теперь дежурил Долгорукий. Все покойники... Кроме меня, никого не было. Из кабинета вышел, если память мне не изменяет, Алексей Сергеевич Ермолов. Я вошел.

Государь был как будто несколько смущен; встретил меня торопливо и торопливо же заговорил — как бы вы думали, о чем? Об интересной новой немецкой походной форме. Нельзя же было на этом оставаться; я чувствовал, что надо помочь, и, улучив минуту, высказал свою признательность за то, что просьба моя об увольнении уважена; я заверил, что все приготовления к будущему сезону в ходу. Получил в ответ в свою очередь благодарность за понесенные труды и вдруг вопрос: «Ну а Теляковский, как вы думаете, будет хорош?» Это обращение к предшественнику с

вопросом относительно его заместителя до такой степени поразило меня своей неожиданностью, своею необычностью, что вызвало невольное замедление ответа; я поспешил загладить это впечатление отзывом самой горячей симпатии к моему бывшему сослуживцу. Государь прослушал и сказал: «Немножко молод...» — «Он моих лет, ваше величество, а вступает двумя годами после меня; кроме того, у него уже семилетняя практика в Москве». Когда я произнес первые свои слова, он поднял растопыренные пальцы к глазам, как делает человек, который говорит: «Вот сморозил!..» Всякое смущение пропало, наступило благодушие. Он заговорил о «Записках» моего деда, которые поднес ему отец. «Так интересно. Но какая досада, император Николай I сказал: «Я» — и потом вдруг...» — и он ударил кулаком правой о ладонь левой руки. Известно, что записки моего деда декабриста прерываются на слове «Я» императора Николая I. «Ну, желаю вам отдохнуть; еще раз благодарю за вашу службу»... Я раскланялся. Когда, выходя, я запирал дверь, я чувствовал, что оставляю за собой легкое настроение, как после вырванного зуба...

Дивный парк сиял в нарядном блеске июльского дня, была, как говорил Николай I, «погода лейб-гвардии петергофская», когда я в придворной коляске ехал из маленького дворца государя в Александрию, где жила императрица Мария Феодоровна. Я уже слышал, что она была очень недовольна всей этой историей, то есть тем, как она разыгралась; слышал, что она очень горячо попрекала Фредерикса за то, что тот меня отпустил... Она приняла меня с трогательной задушевностью: «Je vous attendais avec émotion» (Я ждала вас с волнением). Она ясно понимала и глубоко чувствовала смысл того, что произошло. Мне было тяжело думать, что мое поведение должно было больно затронуть ее материнское чувство, но она сказала: «Vous avez agi en gentleman» (Вы поступили благородно). Я ясно ощущал, что для нее случай с директором театров не был чем-то единичным, что он не раскрывал в ее сердце что-то новое, а что он отвечал старой наболевшей ране. Она хорошо сознавала, что так дальше нельзя. Но что могла она, милая, добрая, лишенная влияния...

Так кончается моя история. Я озаглавил ее — «Фижмы». Фижмы — это нечто невидимое, что поддерживает внешний вид; нечто пустое, что придает пышность. Вся придворная жизнь из фижм, фижмами подбита, без них и существовать не может. Она кругом оплетена сетью мелочей, и слишком много нужно внутренней силы и устойчивого сознания законности, чтобы сквозь эту сеть могла пробиться жизненная ценность. Они цепки, эти мелочи, живучи, как сама жизнь; в них есть что-то неотторжимое, и только когда падает дерево, с ним вместе падают и присосавшиеся к нему лианы. Но — дерево гибнет, лианы остаются; остаются и переползают на другие дерева...

Глушь

Когда пишем свои воспоминания, мы невольно пребываем под действием двух сил (если время тоже можно назвать силой). Мы испытываем влияние двух величин: времени, о котором пишем, и времени, в которое пишем. И в том, *когда* мы пишем, бывают такие же перемены и неожиданности, как в том, о чем пишем. Перемена обстановки пишущего сказывается — думаю, что должна сказываться — на том, *как* он пишет: он набрасывает невольный покров на свой рассказ. Вот почему считаю долгом — дабы каждая страница этих записок отражала их общее заглавие, «Мои воспоминания», — считаю долгом отметить ту перемену, которая произошла в судьбе автора их.

Все главы вплоть до этой писались в Москве от марта до сентября 1921 года. Теперь июнь 1922 года. Что лежит в промежутке этих месяцев, сейчас, может быть, неинтересно. Скажу лишь, что в декабре я покинул Петербург и наконец оставил за собой границу, отделяющую мрак советской России от прочего мира божьего. Стоны, скрежет и плач остались там, во тьме, за теми болотами и обгорелыми лесами, в которых слилась последняя картина поруганной родины; там же позади остались насилие, наглость и зверство — за линией жестких, неумолимых чекистов, за жалкой линией оборванцев-красноармейцев. Все осталось сзади. И хотелось бы повторить первые стихи дантовского «Чистилища», когда, выйдя из ада и «увидав снова звезды», он восклицает:

«Per correr miglior aqua alza la vele
Omai la navicella del mio ingenio
Che la cia dietro a se mar si crudele».

(Чтобы плыть по лучшим водам, поднимает свои ветрила челнок моего воображения, который оставляет за собой столь жестокое море.)

Да, жестокое море позади. Но лучшие ли воды впереди? Это вопрос. И легко ли плыть даже по лучшим водам, когда давит гнет воспоминаний и сопровождает сознание продолжающейся там действительности? Немеркнущее воспоминание, непрекращающееся сознание... Вот почему и хотелось бы, а с трудом язык поворачивается, повторить три дантовских стиха.

Почти восемь месяцев не брался за перо. Тем временем спасенные, добрыми людьми перевезенные через границу рукописи я нашел где было условлено, пересмотрел, переписал; но писать не писал. Я положил перо в Москве, берусь за него в Рейхенау. Какая разница! То было третье лето на московской мостовой. Каморка без солнца, окном во двор, где с раннего утра идет солдатское ученье, до поздней ночи стоит гам играющих детей и целый день сухие бревна стонут под сверлящим визгом электрической пилы... Когда хотелось посмотреть кусочек неба сквозь кусочек зелени — Никитский бульвар... Там, в этой грязной, загаженной, зловонной Москве я положил перо. А здесь! Долина под Земерингом. Горы кругом; крутые пастбища, над ними темные леса, над лесами скалы, на небе вырисовывается сосновая, еловая бахромка. И зелень; куда ни глянешь — зелень; и леса, и склоны, и макушки — все зелено, сочно, все шелестит, журчит... Пишу у окна; все залито солнцем. У меня письменный стол и друзья, и я опять слышу кукушку... Сейчас вернулся с прогулки, принес с лугов пучок дикой резеды. Сижу за столом и ухожу в прошлое. Хотя мне предстоит говорить о ближайших временах (их смело можно назвать и «последними временами»), но хочется зачерпнуть подальше. Так как от начала войны и до весны 1918 года я прожил почти исключительно в деревне, в Павловке, и в уездном городе, Борисоглеб-

ске, то хочется, прежде чем говорить о недавнем, хочется запечатлеть некоторые ушедшие образы уездной России...

Ни в одной стране нет таких контрастов, как в России. Помню, было у Александра Столыпина стихотворение; первая часть происходит в деревне; последняя картина первой части: по осенней слякотной дороге едет тройка — угрюмо, грязно, сыро, хмуро... И после этого вдруг — новая глава:

«Я помню бал в Концертном зале».

Мы сделаем наоборот и после Эрмитажа, Царского и Петергофа уйдем в уездную глушь.

В нашем Борисоглебском уезде Тамбовской губернии не было больших поместий; Павловка одна только была настоящим большим имением. Когда-то Павел I подарил графу Кушелеву-Безбородко чуть не три четверти уезда; все это распалось, разошлось по разным рукам, и только Павлодарская волость и Кушелевские степи свидетельствуют еще о когдатошней милости сумасбродного монарха. Из всех кусков и кусочков кушелевского наследия Павловка единственно большой — двенадцать тысяч десятин... Вокруг нас были все более или менее мелкопоместные. Я был знаком со всеми. Уездная жизнь сближает, хотя это есть странного рода сближение: сближение житейское, редко душевное, почти никогда духовное. Я чувствовал себя — в чужой среде чужой. Это, конечно, сперва приписывалось моему «аристократизму», впоследствии, сколько замечал и слышал, ставилось на счет характера и личных особенностей. Но только никогда не мог я слиться. Ведь дни приходилось вместе проводить на каких-нибудь земских собраниях или заседаниях съезда мировых судей; да и без того — когда в гости приезжают или к ним едешь в гости. Сами знаете, что такое в деревне гости,

«Их неожиданный приезд
И продолжительный присест».

Дни проводишь вместе и обсуждаешь заботы, и радости, и надежды, все разных миров люди.

Деревенские разговоры можно, собственно, разделить на три категории: хозяйство, политика, дела семейные. Хозяйство есть то общее, одинаковое, что больше всего сближает, сглаживает разницы. Солнце,

как давно замечено, равно греет и добрых и злых. Хозяйство зависит от погоды, и вот: дождь, роса, засуха, гроза, мгла или, как она у нас называется, помоха — вот то общее, на чем сближаются интересы. Дальше уже присоединяются те привходящие, что вносит не природа, а человек: пахота, бороновка, полка и т. д. Любопытная черта этих разговоров — их известная периодичность в зависимости от времени года. На апрельской сессии мирового съезда разговор о посеве, на майской — о всходах, на июньской — о колосе, на июльской — об уборке, на августовской — об умолоте и т. д.; и так каждый год, из года в год. Возвращаются одинаковые темы, как возвращаются по сезону из года в год одинаковые пиджаки: у Федора Михайловича чичунчевый желтый, у Ивана Павловича ластиковый черный. Иногда среди повторных, уже давно бесспорных обычаев полевого хозяйства вдруг выплывет в разговор неожиданный интерес садового характера: Александр Васильевич Богушевский, большой чудак, но человек «прогрессивного» образа мысли, объявляет, что нашел способ увеличить плодоносность яблони, — надо обрезать ветви.

— Послушайте, послушайте, — говорит Иван Павлович Оленин, скептик и человек обычая, — послушайте, Александр Васильевич, на чем же будут ваши яблоки держаться, когда у яблони веток не будет?

Александр Васильевич часто претерпевал осечки, когда выступал со своими проектами. Один борисоглебский купец как-то сказал: «Ну да ведь Александр Васильевич наш мечтант»...

Такими шутками иной раз скрашивалось томительное сидение в мировом съезде. Огромная угловая комната земского дома всеми десятью окнами на солнце. Нестерпимая жара. Однообразное чтение судебного дела; сонный батюшка приводит к присяге свидетелей, судьи дремлют, только уездный адвокат кипятится и сыплет цветы красноречия... Мухи досаждают. Из отхожего места нестерпимое зловоние... Председательствующий Федор Михайлович Сальков на низких убеждающих нотах окликает пристава: «Виктор Петрович!», делает ему знаки. Долговязый Виктор Петрович выходит, но возвращается разводя руками: дверь не запирается. Зловоние продолжается...

Виктор Петрович Чикаревский был несменяемый пристав от учреждения мирового института и до упра-

зднения его. Как Немврод, великий ловец перед Господом; он исходил болота и кусты нашего уезда, и общественная значительность того или иного лица могла быть определяема тем, чьей супруге Чикаревский подносил плоды своей охоты. Он был тонкий политик, никогда не пропускал уездных именин, хотя и признавался, что в дамском обществе у него «нутро не спокойно». Он любил иностранные слова и утверждал, что два наших купца, Московлев и Крупенников, никак не могут друг с другом «канканировать» (то есть конкурировать). В последний раз, что видел его, ему было под восемьдесят; он еще охотился и жаловался только на глаз: «Рука твердая, а глаз, подлец, обманывает».

Когда кончалось заседание и объявлялся перерыв до следующего дня, шел провести вечер к приятелю моему Роберту Карловичу Вейсу. Балтиец, ревельский уроженец, закинутый в Борисоглебск, он был местным аптекарем. Через пыльную базарную площадь шел к его большому кирпичному дому, где внизу была аптека, а во втором этаже квартира хозяина. Большая, светлая, чистая, прямо лоснящаяся квартира, про которую местные хозяйки говорили: «Такая чистая, прямо по-иностранному». Балкон столовой выходил видом на реку Ворону и на укутанную за ней дубовым лесом высокую гору. Здесь, на балконе, когда уже дубовые макушки рдели под лучами заката, а с Вороны поднималось в город стадо коров, сколько вечеров, нескончаемых рассказов за бутылкой пива... Это был человек хотя с образованием средним, но с большой культурой; он знал Россию, он знал заграницу, он знал знаменитых врачей, профессоров, много читал по-русски и по-немецки. Его жена Полина Егоровна была образец супруги, матери, хозяйки. Воспоминание об их доме сравню со стаканом студеной воды в жаркий, пыльный день. Там было настоящее общение и душевное и духовное. У них было четверо сыновей, которых всех знал еще детьми. Помню маленький случай, рисующий духовный уровень, в котором росли эти дети. Однажды за чаем я рассказал родителям про кольцо, которое носил на левой руке, — кольцо, принадлежавшее Пушкину: была в доме моего прадеда Раевского лотерея; Пушкин положил свое кольцо, бабушка моя, Мария Николаевна, выиграла, отец мне подарил, когда я кончил гимназию. Об этом я рассказал за чай-

ным столом. Через несколько дней сидели в гостиной, на коленях у меня сидел маленький Женя и играл кольцом, которое я носил на другой руке, — большое кольцо с печатью. Я не обращал на это внимания, когда вдруг раздается голос мальчика: «А это у тебя от Лелмонтова?»

Этот Женя впоследствии был доктором где-то в Сибири. Старший, Карлуша, тоже был доктором где-то на Дальнем Востоке. Однажды мой брат Александр, будучи в командировке где-то на границе Кореи, сильно заболел; послали за доктором в ближайшее, хотя и дальнее селение, — пришел Карлуша Вейс... Третий брат, Георгий, был учителем математики и немецкого языка борисоглебской гимназии. Человек исключительной, прямо скажу, какой-то дикой честности. В такие времена, когда все шло к потрясению дисциплины, когда царствовали в школе компромисс и потакание, он не мог поладить с начальством, ни с учениками, ни с родителями. Его положение стало тяжелым во время войны вследствие немецкой фамилии, а еще труднее во время революции: учителей в провинции травили. В последний раз видел его чуть не нищим в Тамбове, куда он, как и я, бежал из Борисоглебска. Милый Георгий, с взъерошенными волосами, с моржовыми усами, с болезненной поспешностью в речи, нервный, измученный, но такой благородный, такой честный — вполне из таких, кого подлецы должны ненавидеть...

Съезд мировых судей продолжался обыкновенно два дня, иногда три. Председателем был, когда я вступил в число почетных мировых судей, один из старейших землевладельцев и земских деятелей в то время (а было это в начале восьмидесятых годов). Федор Михайлович Сальков был столпом уездного консерватизма. Я думаю, что если не был крепостником, то только потому, что было бы не правительственно быть крепостником, после того как правительственная власть отменила крепостное право. Но он был главою «консервативной партии»; то есть, конечно, тогда партий, в настоящем смысле слова, не было, однако вокруг него группировались, его слова ждали, по его указанию на выборах клали шары. Правильнее было бы сказать, что Федор Михайлович был главою партии Федора Михайловича. У нас здесь, в провинции, долго думали чужой головой, примыкали к чужому

имени; и извозчики в Борисоглебске возили не туда-то или туда-то, а к Ивану Павловичу или к Авдотье Степановне... Федор Михайлович был крепких, стойких убеждений, он читал «Московские ведомости» и брал у соседа «Гражданина». Последняя газета пользовалась авторитетом; некоторые прямо молились на нее; это уже было не доверие, а была вера. Когда редактор этого гнусного листка, князь Мещерский, получил, по случаю своего юбилея, портрет государя с собственноручной надписью, он поспешил отпечатать его и разослать бесплатным приложением своим подписчикам. Этот портрет в рамке я видал на столе у наших уездных консерваторов... «Партия» Федора Михайловича была долгое время главенствующей и не пропускала в земство представителей «либеральствующей» молодежи. Эта группировалась вокруг семьи Кривенковых, живших на реке Карачан; так, само слово «Карачан» стало синонимом неблагонадежности. Они читали «Русские ведомости». Но и их окраска гораздо больше определялась личной ненавистью к старикам, нежели буйными политическими стремлениями. Настоящих революционных выступлений тогда не было в нашем околотке; дальше едких слов и колких заседаний дело не шло. Полиция была бдительна, хотя исправник наш, Михаил Максимович Моисеев, был крайне недалек и о деятельности революционеров имел и смутные, и вместе с тем преувеличенные понятия, если принять во внимание, что, когда газеты извещали о страшном землетрясении в Верном, он глубокомысленно подмигивал и давал понять, что землетрясение — это только правительственное толкование, а на самом деле — анархисты. Вопросы политические хотя и затрагивались, но волновали неглубоко; они не дозревали до степени горячих споров. Старики провозглашали то, что считали истиной, молодые отмалчивались, пожимали плечами, переглядывались, но в спор не ввязывались. Так бывало при встречах на нейтральной почве; друг к другу же не ездили. Таким образом, в политических разговорах редко когда не царило единодушие.

Отдельно от всех стоял наш уездный предводитель Иван Павлович Оленин. Много трехлетий уже его выбирали, и за что выбирали? Только потому, что некого было выбрать. Это было удивительное явление. Я не видал, чтобы живой человек так походил на лите-

ратурный тип, как Иван Павлович походил на Собакевича. Цинизм и легкость, с которыми он врал, превосходили всякое вероятие. Сам про себя он говорил: «Какой я предводитель? Я кулак-с, а не предводитель-с». Помню такой случай. Мне нужен был письменный стол. Иван Павлович узнает, сообщает, что у него есть стол, который он не прочь продать.

— Вы сколько думаете истратить?

— Думал, рублей шестьдесят.

— Ну, мой стол мне стоил восемьдесят. Это, понимаете, стол петербургский. Здесь есть столяр, хороший столяр, Иван Иванович; так он посмотрел этот стол и сказал: «Этакого стола у нас за сто рублей не сделать»... Так хотите так: чтоб уж не восемьдесят и не шестьдесят, давайте, скажем, семьдесят.

— Извольте.

Купил, привез домой; кое-где подполировать нужно было. Как раз сидел у меня Роберт Карлович Вейс; говорит: «У меня хороший столяр есть, Иван Иванович, я вам его пришлю». Пришел Иван Иванович. Только увидал стол, воскликнул:

— Да это мой стол! Я его в прошлом году Ивану Павловичу делал.

— Дорого взяли?

— Пятьдесят рублей.

Разве не собакевичевская бричка стол Ивана Павловича?

Как предводитель Иван Павлович ничего не делал; за него работали секретари. На земском собрании он председательствовал, но председательствование его сводилось к тому, что он через стол угощал табаком из своей табакерки тех, к кому благоволил или в ком нуждался. В смысле же ведения заседания это было ничто; он не только не стремился к умиротворению и упорядочению прений, но когда поднимался гвалт, тогда-то он был доволен; постукивая пальцами по табакерке и подмигивая через стол, он только повторял: «разгорается, разгорается»... У него была страшная наружность: большой, сутуловатый, круглое лицо и посреди лица нос из породы тех, что можно назвать земляникой; круглые, не столько смотрящие, сколько подсматривающие глаза; щетинистые усы и из-под них большие, растопыренные, решеткой торчащие желтые зубы. Нос и усы всегда были в табаке...

У Ивана Павловича была жена, когда-то краса-

вица, но впоследствии расплывшаяся. Александра Константиновна воспитывалась в институте, или, как у нас говорили — «выньстуте», и, можно сказать, на всю жизнь осталась институткой. Она была лишена каких-либо интересов, была для жизни совершенно непригодна. Она целый день спала и только к чаю выплывала в столовую, потом в гостиную, где вела «светский разговор»: она справлялась о здоровье императрицы или германского наследного принца в полной уверенности, что ставила меня тем в соответствующую мне атмосферу.

У Ивана Павловича был и брат, Михаил Павлович, — много лет уездный предводитель в Тамбове. Высокого роста, с седыми благообразными баками, вероятно, когда-то красивый, он был то, что в лошадином царстве называется — «кавалерийский брак». Видный, представительный, но невероятной глупости. Когда однажды была представлена смета земскому собранию на постройку нового помещения для архива, так как в старом помещении ему угрожает опасность от пожара, то Михаил Павлович предложил, вместо того чтобы расходоваться на постройку помещения, лучше застраховать архив. Однажды он читал в собрании какой-то длинный доклад управы; вдруг в одном месте запинается, но сейчас же оправляется и, не смущаясь, читает: «Сперва надо определить типитит и тахитит расходов» (так он прочитал латинские слова *minimum* и *maximum*). Он же однажды на собрании сказал: «Гласный такой-то, я вас лишаю дара слова». Когда после коронации Александра III он вернулся из Москвы, он привез и роздал волостным старшинам картинку, изображающую обращение государя к старшинам; под картинкой был текст царского слова; между прочим, государь говорил: «Слушайтесь ваших предводителей дворянства». «Вот видите, — говорил Михаил Павлович своим волостным старшинам, — сам государь приказывает слушаться предводителя, значит, когда я вам говорю класть кому налево или направо, вы так и кладите».

Естественно, что в среде таких людей вопросы политические не могли жить истинной жизнью своего содержания; они были вылущены, выхолощены, они были лишь формой для того, чтобы выказать себя.

О политике говорили, чтобы заявить себя, зарекомендоваться перед начальством, пустить пыль в глаза товарищам-сослуживцам. Редки были люди, которые говорили из действительного убеждения. К таким отнесу упомянутого Федора Михайловича Малькова. Сей столп консерватизма был человек цельный, крепкий, неспособный на колебания. Но остальные когда говорили, то чувствовалось, что говорят только для того, чтобы быть на хорошем счету. Был некий Николай Александрович Ленской, мировой судья, потом земский начальник. Вся жизнь его была одно подлаживание, одно заискивание. В нашей глуши он не пропускал случая повертеться на глазах: приезд ли губернатора, ревизия ли прокурора, объезд ли архиерея, Николай Александрович тут как тут: к губернатору с поклоном, к архиерею под благословение. Очень темный в делах служебных, он, однако, сумел настолько намозолить глаза, что в старости получил «действительного статского» и имел удовлетворение лечь в гроб с красной генеральской подкладкой...

Наш тамбовский губернский предводитель дворянства Григорий Владимирович Кондоиди был в то же время помещиком и гласным нашего Борисоглебского уезда. Он много трехлетий уже, как сам выражался, «служил своему сословию». Один из видных предводителей в России, он бывал приглашаем в комиссии сведущих людей; он имел ленту Белого Орла. С наружностью и повадками сановника, небольшого роста, с рыжими баками, с хохолком на лбу, с золотой табакеркой, с приятными формами обращения, с изысканной речью и тем, что Достоевский называл «дворянское присюсюкивание», — его прозывали маркизом. Он был милый старик. Когда он бывал при исполнении своих обязанностей, председательствовал в великолепном Тамбовском дворянском зале на фоне портрета Екатерины Великой, над его важностью и неделовитостью подтрунивали; но в обществе его любили: его сановитость льстила, а его обходительность пленяла. В провинции обходительность часто принимается даже за снисходительность, и, странно, снисходительность не обижает, она ублажает людей. Наша предводительша, Александра Константиновна, когда я за обедом у нее брал от кушания во второй раз, и тут жирным своим голосом с умилением восклицала: «Ах, Сергей Михайлович снисходит...» Итак, Кондои-

ди в обществе любили. Кроме личных своих приятных общественных качеств он был еще и законодателем обычаев хорошего воспитания. Как-то говорили о ком-то, кто совершил какое-то неприглядное дело, уж не помню, жену ли зарезал или тещу отравил; Кондоиди сладкими от послеобеденного черного кофея губами дворянски просюсюкал: «Ну чего же и ждать от такого человека, который после обеда пил кофе со сливками»... Он очень любил читать стихи, в особенности по-французски. Когда его приглашали почитать, он всегда преподносил известное стихотворение Виктора Гюго «Enfant, si j'etais roi»*. Он выбирал объектом какую-нибудь из присутствующих дам и, обращаясь к ней, не смущаясь удлинял стих поэта, ставя трехсложное madame на место двухсложного «enfant», и не смущаясь упразднял рифму, ставя на место «pour un baiser de toi» — «pour un baiser de vous»**. Бедный Григорий Владимирович! Он с женой был похоронен в церкви своего села Новорусанова. Во время революции крестьяне потребовали от его сына, чтобы он вывез тела своих родителей — куда угодно, но чтобы вывозил. Не знаю, чем кончился этот особый случай «изъятия ценностей»...

По поводу Кондоиди вспоминаю, что в его красивом доме на горе при объезде Борисоглебского уезда остановился губернатор барон Фредерикс. Был большой обед, был весь уезд, и здесь уездный предводитель Оленин не подал руки губернатору; были какие-то нелады между ними, и Иван Павлович заложил руку за спину, когда подошел к нему губернатор с протянутой рукой. Этот акт самостоятельности и геройства очень поднял фонды Ивана Павловича на следующих выборах...

Губернаторов наших я мало знал, да и мало кого из них встречал; в Тамбов ездил редко и вообще сановников чуждался. Фредерикса, однако, имел случай видеть: он при объезде нашего уезда останавливался на три дня у меня в Павловке. После этого я с ним объехал несколько волостей и присутствовал при губернаторской ревизии волостных книг. Я редко в жизни слышал подобную ругань. Он был нервнобольной, воспламенялся гневом от малейшего пустяка и ругал

* «Дитя, если бы я был королем» *(франц.)*.

** «За один твой поцелуй» — «за один ваш поцелуй» *(франц.)*.

старшин, старост и волостных писарей последними словами. Помню одного несчастного писаря, у него носа не было. И безжалостный губернатор все время обзывал его «суконное рыло». Стоял трепет в волостном правлении, на крыльце и на площади; голос губернатора гремел. Исправник Моисеев дрожал и потел. Через час губернатор уезжал. Исправник в своей бричке пылил впереди (исправник при губернаторе всегда или потеет, или пылит), губернаторская коляска скрывалась в облаке пыли, и волостное правление облегченно вздыхало... Я объехал с ним волости четыре; дым коромыслом стоял, но никакого существенного результата от этой ревизии не заметил.

Других наших губернаторов я не знал. Однажды был в Саратове и обедал у губернатора генерала Косича. В этот день хоронили известного революционера и писателя Чернышевского; он по возвращении из ссылки жил в Саратове. Похороны его могли подать повод к демонстрациям, но, к большому удовлетворению губернатора, прошли спокойно.

— Правда, — говорил он мне, — были некоторые поползновения, но незначительные.

— Например?

— Ну, например, венок и на венке надпись: «Мыслителю»...

И растопыренные пальцы и поднятые брови губернатора указывали больше на нелепость, нежели на опасность подобной надписи...

Так проходили интересы внутренней политики по уездной нашей публике: вяло, бледно, в сущности, сводясь к вопросу жалования и выборного влияния. Упразднение мирового института, замена выборных судей земскими начальниками по назначению вызвали было тревогу и усугубленное заискивание уезда перед губернатором, но, в конце концов, утверждение губернаторское только закрепило тех же людей в других должностях, но на тех же местах.

Вопросы внешней политики, конечно, настоящего интереса не возбуждали. Разговоры о ней сводились к словесной передаче друг другу газетных известий, разве с прибавкой иногда от себя слова «ведь». Тем не менее Иван Павлович никогда не упускал, подходя к закуске, упомянуть, что «и Бисмарк, даже на обеде у Вильгельма, всегда приказывает ставить себе бутылку русской, видите ли, водки-с».

Обеды играли большую роль в уездной жизни, ими отмечались события общественного значения: земские собрания, конские ярмарки, бега, а также события семейные — именины, свадьбы. Первые происходили в городе, в помещении клуба или в Европейской гостинице. Всегда бывал в этих случаях распорядитель и при нем помощники, кто-нибудь из отставных офицеров, знакомых с требованиями кулинарных законов и с обычаями парадной сервировки. Закуска была горячая, шампанское заморожено: никто не скажет, как сказал один мой знакомый, вернувшийся со званого обеда не в духе: «Все было холодное, кроме шампанского». Нет, тут все было очень заботливо обставлено. Распорядители относились к своей задаче совестливо и серьезно и метали грозные взгляды на прислуживающих лакеев. Меня часто удивляло, как люди, дома у себя пренебрегающие всякими требованиями удобства, нарядности и даже чистоты, вдруг на нейтральной почве наемного помещения зажигаются культурной щепетильностью... Обед проходил под звуки военного оркестра; за шампанским начинались тосты, оркестр играл туш, пока осушались бокалы, — все как следует. Не обходилось без скандалов. Кто-нибудь, подвыпив, выпалит публично при всех то, что долго против кого-нибудь нес в душе. Задетый вскакивает, начинает отвечать; его останавливают; вокруг стола тревога, дамы смущенно переглядываются, мужчины унимают спорщиков, распорядители машут оркестру, чтобы играл, в воздухе салфетки... Церемониал нарушен, многие уже повставали с мест, разбиваются на группы; вносят кофе — и за ликерами, за картами, за танцами «инцидент» забывается. Пьют много, в карты играют много. В этих двух занятиях наблюдательность моя может дать мало. В карты не играю и никогда не чувствую бесполезность своего земного существования, как когда вхожу в комнату, где играют в карты. Пить тоже не пью. Но хорошо помню все эти прибаутки, которые встречают появление бутылки на столе, потом сопровождают «первую», «вторую» и т. д. Сам не пил, но должен признать, что пившие и выпившие всегда ко мне относились хорошо, прощали мне мое воздержание. Были крепкие головы; был земский начальник Сушков, Георгиевский кавалер; не было конца его питеспособности. Видел его последний раз на вокзале в Борисоглебске, осенью 1917 года,

когда уезжал в Новочеркасск, имел наивность увозить свои сбережения в тамошний банк; Сушков и тут был столь же бодр, сколько пьян... Еще был горький пьяница доктор Гаврилов, Иван Данилович; добрый малый, детина. Помню его только что приехавшего со студенческой скамьи. Он был врачом Алабухской больницы, а я в Алабухах в тот год набор производил, у него в больнице останавливался. Он был свеж, с желаниями, со стремлениями, конечно, революционно настроен, меня принял сперва косо, но потом присмотрелся. Гостеприимный простак. У него жила сестренка; я ей из Петербурга куклу послал... Таков он был. И все — молодость, и знание, и стремления, и революцию, — все он потопил в вине. И сестренку, кажется, потопил; по крайней мере через двадцать лет, когда я как-то справился, он не сумел мне даже сказать, где его сестра. Это было в клубе; он обходил столики обедающих, подплясывая, и пил. Подошел танцующей походкой к моему столу, и у меня выпил; на вопрос о сестре махнул рукой и танцующей походкой пошел к другому столу. О Россия, «интеллигентная» Россия!.. Как больно, как горько вспоминать! Сколько загубленного, сколько отцветшего, сколько никогда не цветшего и ни для чего по земле прошедшего. Ни следа, ни памяти...

Именинные обеды в уезде носили совсем иной характер, чем эти общественные обеды по подписке. Там распорядители, здесь чувствовалась хозяйка, настоящая заботливость, личная... Странно жили наши средние помещики. Никакого стремления к благоустройству. Барский дом всеми окнами в степь глядится; ни ворот, ни загородки; солнце садится за чистый, ничем не перерезанный горизонт. Подъезжаете к крыльцу. Откуда-то сбоку выскакивает испуганная девчурка, откуда-то снизу выскакивает косматый хриплый пес. Крыльцо дощатое, что называется «тамбур»; ступени поднимаются меж двух чуланов: в одном кладовушка, в другом отхожее место. В прихожей душно, затхло; зимняя рама осталась не вынута; мухи — все засижено. Вот так называемая зала. Четыре стены, венские стулья по стенам; на одном окне ламповый глобус, на другом старый номер «Нивы», на третьем дыня... Балкон: большой, дощатый, покосившийся. А затем сад, то есть то, что именуется садом. Акатник, уросшая, уже в хворост уходящая сирень,

где-то сбоку кусочек липовой аллеи, где-то в кустах чахлая сосна. Ни мысли, ни намерения, ни формы, ни рисунка в этом «саду». Но здесь жили поколения, и это место любили, и здесь что-то улучшали и подсаживали; тут показывают любимую липу бабушки; старушка ключница, благообразная, в платочке, даже помнит, как сажали, как долго место выбирали. Подумаешь, не как-нибудь делалось, людям казалось, что они создавали... Среди этого отсутствия форм и обстановки вдруг изысканная требовательность в некоторых подробностях. Спальня барышень ослепляет чистотой; подушки такие, каких вы не видывали; еще бы: мать сама отбирала пуховинки, подбирала одна к одной — «для моих принцесс». Умывальник мраморный, с педалью в загоне, плохо действует, но зато стоит на нем пузырек духов, московских, от Ралле, и склянка одеколону петербургской химической лаборатории. На столе номер «Русской мысли» и «Nouvelle Revue». На стене в рамке портрет баритона Хохлова в роли Демона. По Хохлову все барышни в восьмидесятых годах вздыхали, но ведь он же был наш, тамбовский, впоследствии предводитель Спасского уезда... Да, странно жили наши средние помещики. Жизнь их давала зараз впечатление и убогости и довольства, и культурности и дикости. Что больше всего меня всегда поражало, это отсутствие потребностей, полная удовлетворенность своей обстановкой, даже уверенность, что она так хороша, что незаменима. Помню, одной соседке нашей я раз посоветовал заграницу съездить для перемены, на свет Божий посмотреть. Она ахнула:

— Как же нам оставить свое место; ведь мы привыкли к своему комфорту.

Больше всего ее смущал вопрос продовольственный:

— Ну как же можно без своей птицы... Впрочем, я слышала, что на Карпатах есть такое место, где можно свою птицу иметь...

В именинные дни то, что производило впечатление убожества, пропадало в картине безграничного гостеприимства. Для хозяйки ее именины — это значит угощать. Столы накрыты с утра; гости, подходя к хозяйке, косятся на стол, предвкушая; они к этому готовились, они на это ехали двадцать пять, тридцать, а то и сорок верст. Обед готовился давно. Осетрина из

Саратова, свежая икра через знакомого кондуктора из Царицына, вино, конфеты из Москвы, теленка пять недель молоком кормили... Ели много, сочно, жирно, долго... После обеда разбивались по возрастам. Обыкновенно мужчины садились за карты, только некоторые дамы к ним присоединялись, остальные разговаривали между собой, а молодежь уходила на пруд или на лужайку... Я сказал, что разговоры питались хозяйством, политикой и делами семейными. Последние очень мало места занимали в мужских разговорах: так, только мимоходом, и сейчас к другому предмету. Есть ли это атавизм восточного влияния, своего рода умолчание о гареме; есть ли это наследие прежнего нашего терема, но какая-то стыдливость у мужчин по отношению к семейным делам. Это всегда было преимущественным уделом женской половины помещичьей среды. Дети, их размещение по корпусам, институтам, гимназиям, возвращение на каникулы — все это в каждой семье по-другому и давало пищу для нескончаемого обмена: у кого переэкзаменовка, у кого незаслуженная двойка. Борис заболел воспалением, Лиза страдает малокровием, Соничка не выносит институтской пищи и т. д. и т. д. ...

Большое преобладание на этих праздниках, по крайней мере в нашем уезде, большое преобладание женского пола. Странно, в наших помещичьих семьях почти не было сыновей. Те несколько, что были, ушли в военную службу — уезд остался при одних барышнях. Не могу иначе как помянуть уважением женскую половину нашей помещичьей среды. Скажу это в особенности о тех, кто подходил к совершеннолетию в конце девятидесятых годов. Это было новое поколение, непохожее на предыдущее. Не хочу ничего неблагожелательного сказать о матерях, но мало в них было общественности, они были воспитаны по-домашнему и для дома, для самовара, не для дела, еще менее для деятельности. В особенности институты поставляли ни к чему не приложимый контингент. Это был тип скучающей барышни, которая только умела в гостиной скламши ручки сидеть и кого-то и чего-то ждать... Второе поколение вышло преимущественно из гимназий; по окончании гимназии они ходили на курсы медицинские, сельскохозяйственные, бухгалтерские; вернувшись домой, они работали в больницах, в учреждениях, на показательных фермах. Росло хорошее, жи-

вое поколение. Смело скажу, что если погибло то, о чем сейчас пишу, если оказалась так несостоятельна вся эта помещичья Россия, то не оно, не это поколение юных женщин в том виновато. Они гораздо больше обработали, вырисовали и утвердили свою личность, чем наши уездные мужчины. И еще одну, может быть, главную разницу здесь подчеркну: они были нравственно чище мужчин. Не разумею нравственность семейную, но, как бы сказать, нравственность делового человека. Наши средние помещики не гнушались не совсем чистого дела. Я довольно слышал, как они друг про друга говорили. То, что я в одной из предыдущих глав говорил о крестьянине в смысле хозяйственной честности, приложимо и к помещику — и для него удачный хозяйственный оборот не всегда свободен от обмана; в более утонченной форме, но и у него хозяйство не без мошенничества. Однако какая-то стыдливость семейная заставляла их об этой стороне умалчивать, не посвящать жен и дочерей в свои спекуляции. И женщины остались чисты, нетронуты. То поколение женщин, о котором говорю, это тип честного человека. Тем печальнее думать, что на них обрушилась вся тягота последних годов. Оставшиеся в деревне, они приняли на себя весь удар безумной злобы людской; не имея возможности выехать, они должны были до дна испить чашу надругания и своим горьким опытом прийти к сознанию бесполезности своей работы и невозможности приложить себя...

Именинные обеды затягивались надолго. Был чай, потом был еще ужин. Садилось солнце, всходила луна — гуляние, разговоры, карты продолжались. Часа в три только начинали разъезжаться те, кто не оставался ночевать... Кучера также получали свою долю угощения, настолько, что обратный путь в темноте не всегда был безопасен. Раз, выезжая с таких именин, на крутом спуске к речке коляска моя опрокинулась. К счастью, послышался скрип телег, подъехал и остановился обоз; из темноты проступили человеческие очертания, раздались сочувственные слова, и коляска была поднята.

Мягкой черноземной дорогой еду по лунной степи; в луне лежат убранные поля, и копны, как таинственные крепостные сооружения, под лунным светом щетинятся. В луне лежат деревни; окна спящих изб блестят... Еду и вспоминаю слышанные разговоры.

Иван Павлович, предводитель дворянства, хвастался добрыми отношениями с крестьянами и спокойным своим житьем в «богоспасаемом Никитском»:

— Я сказал своим махровским, что ежели хоть одна копна у меня с поля пропадет или одна курица из курятника, то в ту же ночь Махровка с четырех концов загорится. И ничего, до сих пор миловал Господь.

Много говорили об убийстве старика Мосолова, богатого, скупого, ростовщика. Весь уезд был ему должен. Убийцы выкрали много расписок... Кто-то спросил Кондоиди:

— Ведь и ваш вексель был у него? Не правда ли, пятьдесят тысяч?

— Да, но, кажется, я уже уплатил.

Коляска катится; кучер на козлах покачивается. Луна стала высокая, далекая. Холодно в лунном свете... Вспоминаю обрывки разговоров. Об одной знакомой даме хозяйка сказала: «Ну да ведь дети-то пестрые у нее»... В соседнем уезде соседней губернии предводитель, председательствуя в земском собрании, так ставил вопросы: «Кто согласен, тех прошу сидеть, а кто не согласен, ну-тка пусть встанет». Конечно, все сидят... Один наш помещик был женат; развелся и выливал помои на всю семью бывшей своей жены. «Но хуже всех, — говорил он, — младшая сестра — в ней прямо изверг сидит». Через год узнаем, что он на этом «изверге» женился... Самое меткое слово в тот вечер принадлежало хозяину. Заговорили с похвалой об одном доме, где очень заметную роль играло третье лицо. Наш хозяин сказал: «Ну, конечно, все ничего; только уж нравы очень... семейные... да не совсем».

Коляска катится... Проехали деревню Криушу, остался влево курган; вот уже белеют под луной въездные ворота, лошади жмутся — пролетаем меж столбов. Обнимает лиственная прохлада шелестящей аллеи... Дом в ночи стоит застылый под луной, смотрит на луну и укрывает сон людской... Стучу в буфетное окно. Дверь отворяется... Хорошо дома, лучше, чем в гостях.

Неужели и они так думают? Да, наверное. Жена городского головы Гаврилова, когда как-то заговорили о Париже, сказала, что никогда не поверит, чтобы

Париж был лучше Борисоглебска, что она себе представить не может, чтобы что-нибудь могло быть лучше Борисоглебска. Благодарение небу, что это так. Все на свете относительно. Теперь много говорят о законе относительности и провозвестнике его Эйнштейне. Не знаю, не читал; но, конечно, относительность есть одна из возможностей счастья на земле. Если всякий сверчок *доволен* своим шестком не в силу ему, шестку, присущих свойств, а в силу того, что он *свой*, то чего же лучше? По лестнице, ведущей к счастью, это уже значительное завоевание, и можно только радоваться за сверчка. Но что меня удручало в этой мелкопоместной обстановке, это не довольство ею, а удовлетворяемость, отсутствие потребности, полное отсутствие творчества. Из года в год на том же месте, на том же стуле; сидения протираются, диван продавливается; кусты растут, ерошатся и в окна лезут, деревья урастают, дают хворост, под ними черная земля; в кустах под окнами отбросы домашнего хозяйства — бумага, коробки, окурки... И никакой потребности выйти из этого. Не только нет стремления к улучшению, но есть сокрушение о прошлом: в прошлом, видите ли, лучше было, разве так жили! Челяди тридцать человек было, свое полотно ткали, по праздникам шампанское рекой лилось, свой оркестр был... Совсем не понимаю: на крыльце отхожее место воняет, ванной в доме нет, битый рукомойник вам на стул ставят, а об оркестре вспоминается как о какой-то Шехеразаде... Но ведь дом-то был тот же и кругом дома все то же?.. И что же за музыкальный уровень предков, удовлетворявшихся таким оркестром... Зато потомки иногда говорят: «Мы так любим музыку, что с удовольствием слушаем самую посредственную». Вот это принижение своих требований соответственно своим возможностям — вот что составляло безотрадность русской жизни. Конечно, довольствоваться малым похвально; не жаловаться на невозможность иметь лучшее, это заслуга. Но *удовлетворяться* худшим, потому что лучшее недоступно, считать, что худшее *не восполняет недостаток* лучшего, а *затеняет отсутствие* лучшего, это низшая ступень культуры.

Да, жизнь нашей провинциальной «интеллигенции» нельзя было назвать культурной. Она была не

культурна и в личном смысле, но еще больше в общественном, в смысле взаимоотношений. Все это были люди, много поколений друг с другом знакомые, одного уровня, а между тем в отношениях всегда чувствовалась какая-то настороженность; весь обмен житейский проходил на подкладке взаимного недоверия. Только в детях это не чувствовалось, а уже в школьном возрасте просыпалась какая-то оглядка. И все общение людей было внешним покровом поверх внутренней отчужденности. Никогда, как у нас в провинции, не приходили мне на память слова Гёте: «Menschen sind schwimmende Topfe, die miteinander zusammenstoßen» (Люди — плавающие горшки, которые друг о друга толкаются). Говоря об обхождении, не могу не припомнить здесь странное впечатление, которое производил на людей титул. Должен сказать, что мало было таких, в которых он вызывал подобострастие. Но зато он клал какую-то непроходимую пропасть недоверия и предвзятого мнения. Я не преувеличу, сказав, что понадобилось двадцать лет, чтобы в глазах того, что именуется «интеллигенция», «князь Волконский» превратился в «Сергея Михайловича». Не знаю, что себе люди рисовали, но хорошо помню, какое удивление изобразилось на некоторых лицах, когда я в одном обществе упомянул о подсолнухе: разве князь может знать, что такое подсолнух! Моя любовь к деревьям, посадкам вызывала недоумение, озадачивала. Что они себе рисовали, не знаю, но знаю только, что я совсем не соответствовал установившемуся представлению. «Мне сказали, что вы были в клубе, но я этому не поверила». Такие фразы я часто слышал. Понемногу стали присматриваться и привыкать. Александра Константиновна Оленина, та самая, которая занимала меня разговором о здоровье германского наследного принца, — когда я ей сказал, что объехал таких-то наших помещиков, одобрительно ухмыляясь, своим жирным голосом пропела: «А Сергей Михайлович акклиматизируется». На что муж ее, предводитель дворянства, постукивая пальцами по табакерке, сквозь щетинистую решетку рыжих усов и желтых зубов процедил: «Нда-с, демократизируется, демократизируется-с»... Повторяю, совсем не понимал их точки зрения, но с той точки, на которой я стоял, это представлялось мне ужасно для них же обидным самоуничижением. Не могу сказать иначе: все это было очень не-

культурно, некультурно потому, что нечеловечно. Но нечеловечность — наклонная плоскость, она через дикость ведет к зверству, и если в верхних слоях уездной культуры так чувствовали, то удивительно ли, что в низших слоях той же культуры впоследствии расстреливали человека только за то, что он князь или граф? К этому вернемся в своем месте, а сейчас хочу еще рассказать из впечатлений того же порядка. Это было сорок лет тому назад, но помню.

В начале восьмидесятых годов я в качестве члена училищного совета производил экзамены во многих сельских школах. Однажды на экзамене в селе Большие Алабухи входит в класс и рассаживается по скамьям целая компания барышень и молодых людей: барышни в шляпках, с зонтиками, молодые люди с околышками каких-то учебных заведений, словом, — местная «интеллигенция». Я ничего не имел против того, чтобы на экзаменах присутствовали посторонние, но они пришли не ради экзаменов, они на детей даже не обращали внимания, не интересовались их ответами; они интересовались, я ясно это ощутил, исключительно «князем»: как это «его сиятельство» будет детей народа экзаменовать? Они прямо пришли как на представление. И я дал им представление. Мои экзамены всегда проходили весело; после первого смущения очень скоро устанавливалось доверие. Но тут я понемногу превратил экзамен чуть не в игру; я задавал глупые вопросы вроде того, что тяжелее — фунт камня или фунт пуха, спрашивал, могут ли у пилы быть зубы, а у него, отвечающего мальчика, зубья и т. п. Я обращался за ответом к целому классу, заставлял поднимать руки — стояло движение, стоял смех. Бородатые родители вдоль стен радовались. В этом слиянии общего благодушия интеллигентная компания в шляпках и с околышками осталась чужая, одинокая. Представление было, но они вряд ли вышли им удовлетворенные.

О сельских экзаменах вспоминаю с удовольствием. Что за прелестные бывали экземпляры среди этих детей! Какая радость знания, какая радость в *оказании* своего знания. Никогда не забуду одного мальчика в селе Криуши; как он решал изустную задачу. Он не то что сам решал, а как будто вам объяснял, как вам бы следовало ее решать. «Сносим три, а пять в уме; три и четыре — семь, а там ведь у нас пять оставалось,

значит, двенадцать; сносим два, а единица у нас в уме останется...». И какие интонации! В каждой цифре слышалось: «Не правда ли?» Или: «Ведь вы помните?» О да.

«Кто часто их видел, тот, верю я, любит крестьянских детей».

Не люблю Некрасова, но обожаю этот стих: вся Россия в нем с ее нераскрытыми возможностями... Что за материал крестьянские дети; а что из него потом выходило!..

Помню одного совсем маленького, скороспелку, который непременно хотел перейти в следующий класс, но и учитель и батюшка хотели его задержать по причине юности его. Я задал ему десятую заповедь; он начал очень храбро, но скоро запутался во всех этих «не пожелай», запутался и наконец умолк. Я ему сказал, что на следующий год опять приеду и опять спрошу его десятую заповедь. Белокурый был, и в черных ресницах синие глаза. Аистов была его фамилия...

Среди учителей были заслуживающие уважения. Помню в Алабухах старого бородатого Остроумова. Он был с удивительным воспитательным даром; когда ученик волновался, запинался, а он знал, что ученик хороший и только не может вследствие волнения товар лицом показать, он подходил к нему сзади, и этого было довольно; из него как будто излучалась какая-то успокаивающая сила; ученик входил в полное обладание своим знанием и своими возможностями и прекрасно продолжал... Однажды приехал я в алабуховскую школу на урок; был вторник, базарный день. Вхожу в класс — ученики в сборе, учителя нет:

— Где Николай Семенович?

— На базар ушел.

Я посидел, поспросил их и уехал домой. Был чудесный осенний день; но пока я ехал те пятнадцать верст к дому, стала надвигаться свинцовая туча, и когда приехал в Павловку, разразилась настоящая зимняя пурга: в окно страшно было глядеть. Я сел обедать, когда вдруг докладывают: «Учитель Остроумов». Приехал извиниться и просить, чтобы я его училищному совету не выдавал.

Милый учитель был у нас в Павловке в начале девятисотых годов, Дмитрий Иванович Добротворский. Сам с детскими глазами, любил детей. Его, пока я был зимой в Риме, скушал управляющий, несмотря

на все мои заступничества. Против него выставлялось, что он высек сына кузнеца. Из его собственного письма выходило, что он совершенно прав, что нельзя было иначе поступить, но мне было дело представлено так, что отец кузнеца, да и другие служащие, намереваются подавать протест, что дело грозит перейти в газеты... Я должен был дать свое согласие на увольнение. Но вспомнилось мне, как в детстве однажды старый наш кучер рассказывал нам, как он своего сына Степку пробирал за какую-то провинность: «Уж я его, поганца, таскал-таскал, таскал-таскал...» И вдруг тут такая родительская щепетильность... После уже я узнал, что милый наш Дмитрий Иванович ухаживал за дочерью кучера Петра и на этом пути встретился с сыном управляющего. Вот, значит, что, и тут cherchez la femme*. Со своего нового места Дмитрий Иванович всегда присылал мне поклон, а на старом месте его помнили, и те же родители впоследствии говорили об этом случае как о чем-то, чего они сами в толк не возьмут.

Однако лучшее впечатление из всего преподавательского состава производили на меня не учителя, а учительницы из так называемых епархиалок. Меня всегда удивляла разница женского и мужского воспитания в духовной среде. Сравнить семинариста и епархиалку! Все различно; это люди разного склада, разного прикосновения к жизни. Благодаря чему могла определиться такая разница? Надо было быть знакомым с внутренними условиями мужских и женских учебных заведений тогдашнего духовного ведомства, чтобы ответить на этот вопрос. Я же видел только уже готовые образцы этого воспитания и могу только сказать, что всегда недоумевал, как семинарист и епархиалка могли быть брат и сестра. Это были девушки-апостолы. Умные, спокойные, деловитые; и такое женственное с учениками обхождение. Кто когда подведет итог этим труженицам, да и вспомнит ли кто о них теперь? Какой труд и в каких условиях! Подневольная зависимость от сельского начальства, пьяные требования, пьяные угрозы... И двенадцать — пятнадцать рублей в месяц! Я знал одну, которая содержала мать и в губернском городе малолетнего брата. На Всемирном конгрессе воспитания в Чикаго я в своем

* Ищите женщину *(франц.)*.

докладе о женском образовании в России упомянул о них, и конгресс постановил послать свой привет и сочувствие русской сельской учительнице... Бесплодность этих учительских усилий, конечно, была не их вина. Тут вина программы и общих условий жизни. Школьная выучка пропадала, усыхала, как усыхает дерево на каменистой почве, в которую корни не проходят. С прелестью детских глаз, со свежестью детской впечатлительности улетучивалось и то малое, что давала школа. Немногие сохраняли, но несли сохраненное в такую же ненужную школу, чтобы учить таких же детей тому, что им впоследствии не будет нужно. И сколько раз, встречая уже взрослыми людьми тех, кого знал детьми, я спрашивал себя: откуда в эти когда-то ясные глаза проникло столько темного расчета, столько скрытности, почему естественные формы обхождения сменились деланной развязностью с каким-то волчьим исподлобием?..

Несколько прекрасных священников я знал, но это была редкость. В селе Чащине был большой, рыжий, радостный отец Семен и его родственник, черный, аскетического вида отец Николай. Это была целая семья, занимавшаяся школой, — жены, свояченицы, и дело шло дружно, весело, главное — при доверии и одобрении населения. Был выдающийся батюшка в селе Алексеевке. У него было три дочери — розовые, веселые, приветливые. Редко видал такую чистую и хозяйственную обстановку, как горница, в которой они меня после экзамена кофеем угощали. Много лет позднее я однажды встретил в городе сына этого батюшки; на мой вопрос о сестрах он ответил, что все замужем. «Да, — прибавил он, — батька хорошо дочерьми расторговался». Этот сын был менее удачен, чем дочери; очень красивый, он жил с незаконной дочерью нашего близкого соседа, Николая Ивановича Трубникова. Однажды Трубников был найден в спальне своей с раскроенным черепом; все улики указывали на сына алексеевского батюшки, но он сумел отвертеться... В общем, священническая среда безотрадна. Семинарская закваска невытравима, и она кладет печать чего-то узкого, замкнутого, прямо на ключ запертого: какой-то круг, из которого человек никогда не выбивается. Склад ума, речь, выбор слов, шутки, прибаут-

ки — все какого-то ужасного, неизвестно кем выработанного, кем утвержденного образца. Помню, одному батюшке я передавал какую-то статью с просьбой вернуть мне. «Верну, верну, не беспокойся, а себе оставлю копию, заставлю матушку переписать: она у меня хороший писсуар».

Должен сказать, что в учительской среде я никогда не наталкивался на то классовое недоверие, о котором говорил выше и которое так затрудняло естественность отношений с представителями того, что именовалось «интеллигенция». В другом месте я уже имел случай указывать на то, что именно те люди, которые больше всего о свободе и равенстве говорят, те менее всего внутренне свободны и больше всего против равенства грешат. Хочу здесь привести один еще пример из самого недавнего, уже революционного прошлого. Вы помните того эсера, о котором рассказывал? Того, кто требовал принятия против князя Волконского немедленных мер и который впоследствии пришел ко мне в Тамбов просить денег, чтобы бежать от большевиков? Так вот, этот самый Сергей Аполлонович Полянин, или, как его у нас звали, Аполлоныч, во времена эсеровские заведовал в Борисоглебске санитарной частью. Пришел смотреть и мой лазарет. Заведующая, сестрица Ольга Ивановна Хоперская, все ему показывает. Все его удовлетворило, но прямо в восторг привела чистота двора. А с двором была большая возня, навозу накопилось, отхожая яма через край; заявляли в управу, ходили, ходили, ничего не добились. Пришлось самим рабочих искать и взять мне этот расход на себя. Только за несколько дней до инспекции Полянина кончили чистку, начали огород разбивать. Кстати, вот была прелестная работа: раненые, кто мог, сами работали по разбивке и разделке огорода, с которого никому из работающих не придется пользоваться, — они только копали, сеяли, поливали, а ели те, кто пришел после них: настоящая культурная работа — для неведомого потомка... Аполлоныч высказывал Ольге Ивановне свое восхищение:

— Какой же у вас славный, чистый двор. Кто чистил?

— Князь приказал нанять рабочих и вычистить.

— На какие же средства?

— На свои.

— Неужели?.. И часто он бывает?

— Очень часто, уж в неделю раз всегда.
— Хм... И вы с ним в хороших отношениях?
— В самых лучших.
— Хм... Ну что же, тем лучше.

Да, эти люди так же мало знали народ, который они поднимали, как и тех, против кого они его поднимали. Впрочем, не будем забегать, а я только хотел указать на то, что в учительской среде я вот *этого* почти не встречал...

Из всего интеллигентно-помещичьего состава нашего уездного населения только один человек был, в котором никогда не заметил тени классового недоверия или того, что я бы мог назвать титулобоязнью. Это была ближайшая наша соседка Ольга Алексеевна Оленина, жившая в селе Посевкине, в четырех верстах от нас. Она была москвичка, урожденная Филомафицкая. Отцом ее был профессор Московского университета, товарищ известного юриста Редкина. В доме у них висела картина, изображающая анфиладу старомодных комнат. В первой комнате несколько человек профессоров — Филомафицкий на диване, Редкин у окна. Такую же картину я видел в театральном музее известного собирателя Бахрушина в Москве; он не знал, я сказал ему, кого она изображает... Ольга Алексеевна была образованная, приятная женщина, очень хорошо говорила. Небольшого роста, не совсем правильное лицо, слишком толстые губы, некрасивые зубы, но прекрасные глаза, очень красивая рука, и очень внимательно, — что у нас в деревне так редко, — очень внимательно одета. Она обладала удивительным приветом; к ней всегда приятно было приезжать. Она давно была уже вдова; имела двоих детей. Сын Коля потонул в реке Вороне во время пикника, как выразилась другая жительница Посевкина, Екатерина Ипполитовна Вышеславцева: «Потонул при плохой обстановке». Дочь Наташа вышла замуж за довольно видного деятеля и дельца уездного, Козловского. Жила Ольга Алексеевна в скромном доме, одноэтажном, деревянном внутри, нештукатуренном, но было у нее необыкновенно чисто и на редкость хозяйственно. Она умерла лет семь тому назад; она не дожила до развала. В юности она была довольно левого, по-тогдашнему, направления; ее дом даже был на замечании

полиции; в числе ее родственников были такие, которые сидели и в ссылках побывали. Но главной чертой ее характера была хрустальная беспристрастность; перед честностью намерений в ее глазах бледнели все партийные особенности, поскольку в те времена можно было говорить о партийностях. Она обладала настоящим, искренним негодованием и умела людям в глаза говорить. Ее в уезде очень уважали, хотя, благодаря тому, что она была вдова и поэтому жизнь уездная, земская, ее личной жизни не задевала, она была несколько в стороне от общественных волнений; дела уездные творились не в этом околотке, и одиннадцатое июля, Ольгин день, больше собирал народу к Ольге Николаевне Сальковой, чем к Ольге Алексеевне Олениной. Мы были в самых добрых соседских отношениях, и я всегда буду вспоминать ее с признательностью.

В том же Посевкине жила другая помещица — Екатерина Ипполитовна Вышеславцева. С высокой Посевской горы был красивый далекий вид на Ворону: на этой горе разместились обе усадьбы — и оленинская и, как говорили наши крестьяне, шашлавская. Насколько оленинский дом был светел, чист и приветлив, настолько шашлавский был мрачен, грязен, угрюм. Чем-то затхлым, повапленным несло от этого жилья. Жила старуха с сыном своим, идиотом, который не говорил, только мычал. В этой смертью дышащей обстановке она сохраняла неунывающую жизнерадостность: занималась хозяйством, ездила по соседям, в Тамбов, в Москву, в Саратов; всегда привозила короб рассказов. Ее речь была полна неожиданностей, в особенности по-французски. Желая сказать, что барышни в наше время воспитаны гораздо свободнее, чем в ее времена, она сказала: «Elles sont beaucoup plus libertines»*. Она говорила «coucher à livre ouvert» вместо «à la belle étoil»** и «venez à la belle étoil» вместо «au petit bonheur»***, переводя таким образом русское «на огонек». Она была очень скупа: когда отвешивала служащим муку, то с каждой порции снимала щепотку и сбрасывала обратно в сундук. На-

* «Они гораздо более распущены» *(франц.)*.

** «Укладывать без подготовки»... «под открытым небом» *(франц.)*.

*** «Приходите под открытое небо»... «наугад» *(франц.)*.

сколько Ольгу Алексеевну уважали, настолько Екатерину Ипполитовну ни во что не ставили, смеялись над ней, но и боялись ее; она была по матери цыганка, сама на цыганку похожа, и молва приписывала ей дурной глаз. Ее жизнь была нелегкая: сын идиот, разваливающийся дом, материальные затруднения; на нее бывали нападения, однажды два разбойника в масках ворвались в спальню и душили ее; и со всем тем никогда ни от одного человека не слыхал я отзыва сочувствия, соболезнования по отношению к ней. Имя ее было окружено чем-то жутким, и, если бы народное творчество не умерло уже давно, образ Екатерины Ипполитовны не обошелся бы без ступы и помела...

На той же Вороне, только более к западу, была красивая усадьба Петрово-Соловово. Он был известный земский деятель и один из упорных наших конституционалистов. Жена, рожденная Щербатова, имела пристрастие к архитектуре. При больших средствах, которыми они располагали, эта страсть легко удовлетворялась. Они воздвигли на высоком берегу Вороны белую итальянскую виллу с двумя башнями, по типу виллы Медичи в Риме. Редкой красоты местоположение и очень удачно использованное. Помню, в вечерний час, когда солнце садилось позади дома в степи, помню, как на далекую долину внизу, где паслись стада, ложилась тень от итальянской башенки... В первый год после революции там жили из Москвы приехавшие «пролетарские дети». В одной детской колонии под Москвой, на Синяжском озере, около станции Подсолнечной, где я весной 1920 года по приглашению учителя проводил Троицу, я видел детей, проведших предыдущее лето в Вязовке (так называлось имение Соловых). Дети говорили, что там было очень плохо жить, потому что все было разорено, и что их хотели переправить в Павловку: «Знаете Павловку?» Но их в Павловку не перевели, а вернули в Москву и на следующий год уже не повезли в «бывшие имения»...

В этой местности я однажды, едучи в автомобиле, потерял дорогу. Нужно мне было выехать на полустанок Моисеевку, между станциями Мучкап и Романовка. Места, впоследствии обагренные кровью во время красно-белых боев... Ни один встречный крестьянин не мог мне указать дорогу; пастухи пасли табун; тут же видны телеграфные столбы и полотно железной

дороги, а полустанка никто указать не может. И думал я, что если бы я был в Центральной Африке, я с несколькими английскими словами легче выбрался бы на свет Божий, чем в этой глуши Борисоглебского уезда...

По поводу автомобиля припоминаю рассказ, долетевший в нашу глушь из глуши соседнего уезда; исправник во избежание несчастных случаев издал распоряжение, коим езда на автомобилях воспрещалась впредь до того, когда лошади к автомобилям привыкнут.

Соловые были люди иной, не «уездной» культуры, и здесь упоминаю только вскользь о них для пополнения картины. Из местных же помяну еще Измайловых, в двенадцати верстах от нас. Люди живые, с настоящими интересами. Он был отживающим отпрыском шестидесятых годов, либеральный земец, юрист; «Отечественные записки» говорили в свое время про людей этого поколения и такого склада ума, ума едкого, критического. Мало кто, как эти люди, должны чувствовать крушение, к которому мы пришли. То, что они критиковали, не они разрушили, и те, кто разрушил, не то воздвигли, что они хотели бы видеть воздвигнутым. У Измайловых было две дочери и сын, отлично воспитанные, хорошо образованные, работающие в области искусства и науки. Прекрасные, свежие представители юной, живой, у корня подкошенной России...

Последние почти двадцать лет наше уездное общество возглавлялось предводителем Николаем Ивановичем Охлябининым. Человек светских, приятных форм, сумевший пройти двадцатилетие уездного предводительствования в трудные, сложные времена, никого не задев и сам не задетый. Ему помогала в общественном смысле милая его жена Александра Михайловна, человек с редким даром общительности. Когда я был в Москве в те три ужасных большевистских года, они были там же, занимались преподаванием. Мы даже встречались в одном учебном заведении: он давал уроки английского, она — французского. Это была академия военных наук; там были ускоренные курсы. Все курсы советской России были, кажется, ускоренные, но задача этих курсов мне показалась особенно смела: супруги Охлябинины были приглашены в несколько месяцев создать — дипломатов!..

Так докатились мы в нашем рассказе от восьмидесятых годов прошлого столетия до порога двадцатых годов нынешнего. Мы подошли к тому, что можно назвать «последние времена» (будем надеяться, что увидим и другие). Но прежде чем приступить к их описанию, хочется посмотреть на прошлое с иной еще, более умственной стороны. Мне бы хотелось проследить картину развития нашей критической мысли. Не научной мысли, конечно, а обывательской, поскольку я испытал на себе прикосновение умственных настроений и их изменений. Вернемся в шестидесятые годы.

От нигилистов до большевиков

> Oben ist eine Fleisch gewordene Literatur, die „Intelligenz", mit angelesenen Problemen und Konflikten und in der Tiefe entwurzeltes Bauernvolk mit all der Metaphysischen Trauer, Angst und Elend.
>
> *Oswald Spengler,*
> „Untergang des Abendlandes"

> На верхах — ставшая плотью литературы «интеллигенция», с вычитанными запросами и конфликтами, а в низах — обеспочвенное крестьянство, со всей метафизической тоской, страхом и страданьем.
>
> *Освальд Шпенглер,*
> «Гибель Запада»

Кто сказал, что в России нет политических убеждений, а есть только политические настроения? Мне хочется распространить это на русское мышление вообще, поскольку оно является выразителем критического отношения к действительности. Во всякой критике, как только она получает словесную форму, есть рядом с элементом чисто умственным элемент психологический: всякое рассуждение становится горячим, и все горячее по мере того, как из рассуждения оно превращается в протест, проповедь, обличение. Для того чтобы критика заслужила серьезного к себе отношения, надо, чтобы ощущалась под ней крепкая умственная канва, чтобы порывы чувства не нарушали прочности

и ясности этой канвы. Задача трудная, потому что это есть совмещение двух взаимоисключающих начал. Разум спокоен, чувство неспокойно; разум сдерживает, чувство подгоняет; скажем, заимствуя терминологию мимической науки, разум концентричен, чувство эксцентрично. Нужен дар распознаванья в тех крайностях, между которыми мечутся человеческие искания, нужно умение взвесить «за» и «против», нужно уметь остановиться на верной точке между требованиями и возможностями, нужно обладать предвидением последствий — многое нужно, чтобы в критике дать впечатление равновесия между разумом и чувством. И нужен высокий характер... Русская критика, обыкновенная критика русского обывателя, всегда была на рысаках чувства, не на тормозе рассудка. Уже не говорим о том, что и само чувство не всегда бывало искренно, свободно от посторонних примесей, не заражено слепотой, преувеличенностью, предвзятостью. Да, в русском обывателе не было критических убеждений, а были критические настроения. Не исследование развития русского критического самосознания я замышляю, а, как сказал в последних строках предыдущей главы, — личные наблюдения над личными соприкосновениями с этого рода мышлением. Личный характер в данном случае не отнимает от наблюдений общего их значения. Нигде, я думаю, как в России, критическое мышление не имело такого огульного, сплошного характера. Поражала не только одинаковость самого мышления, но и одинаковость приемов его, трафаретность его словесного выражения. Благодаря ли безграничным пространствам наших равнин, вследствие ли иных, внутренних причин (вернее всего, вследствие того и другого), та одинаковость языка, внешнего типа, житейских обычаев, которая сравняла население людское от Днепра и до Камчатки, сказалась и в облике умственном. По крайней мере меня всегда поражала эта одинаковость мышления, уже скажем откровенно — одинаковость мыслительных настроений, разлитая по всему разнообразию людей, с которыми мне приходилось встречаться. Опять скажу — недостаток культурности. Ведь истинная культурность есть та, которая, будучи воспринята человеком, проявляется в нем окрашенная красками его личности. Культура, таким образом, есть некое одинаковое, проникающее в разнообразное и дающее *разнообразие*. У нас же это было — однообразное,

которое, проникнув в разнообразное, давало *однообразие*. Личность не воспитывалась, не разрабатывалась; она оставалась какая была, только облачалась в культуру как в одежду. И одежда была одного покроя, одной мерки. Вот почему наблюдения мои в этой области, хотя и характера личного, имеют значение показательное и, думаю, приобретают право на признание за ними некоторого общего характера.

Мое детство и юность протекали в шестидесятых и семидесятых годах. Это было время того, что именовалось нигилизмом. Давно уж это, и слово «нигилист» вряд ли вызовет образ в уме такого читателя, который мне уже не сверстник, и, конечно, не пробудит в нем никаких воспоминаний. Прочитайте «Отцы и дети» Тургенева — найдете тип нигилиста в образе Базарова; прочитайте «Обрыв» Гончарова — найдете тип нигилиста в образе Марка Волохова, более разработанный, чем у Тургенева, более вдвинутый в реальную жизнь; прочитайте, наконец, «Бесы» Достоевского — увидите их много, уже реально определившихся, вошедших в борьбу и обрисованных с той чрезмерностью, которую сообщает явлениям пророческое прикосновение к действительности...

Мне было восемь лет. Я увлекался Тютчевым и Алексеем Толстым. Неизмеримая разница, их разделяющая, мне, ребенку, тогда не была еще доступна. Алексей Толстой простотой, а иногда и простоватостью образов своих был мне даже ближе, но Тютчев пленял смутно ощущаемой высотой своей, таинственной звучностью стиха; близкая образность его сравнений манила, а далекая безобразность непонятных мыслей внушала трепет. И вот над просыпавшейся моей душой я слышал развенчивающий смех: Алексей Толстой — миндальничание, Тютчев — набор слов. В то время царил Некрасов — гражданская скорбь и обличение:

«Ты стоишь перед отчизной
Воплощенной укоризной».

Такова была вся студенческая молодежь шестидесятых годов. Для них поэзия сама по себе не существовала.

Это шло издалека. Белинский, человек большого

поэтического провидения и верного художественного вкуса, захотел — в такие времена, когда у нас почти ни о чем еще не писали, — писать обо всем. Он стал разъяснять значение искусства и приноравливать свои разъяснения к пониманию таких людей, которые искусства не чувствовали. Он захотел путем поучения заразить обывателя любовью к поэзии; для этого он принижал смысл поэзии и вообще искусства, приписывая им удовлетворение обывательских потребностей в таких областях, куда влияние искусства на самом деле не проникает. Действуя с самыми лучшими намерениями, он заманивал в искусство посторонними средствами. Он поставил всю последующую нашу критику на почву требований *пользы*. Сперва шла речь о пользе духовной, умственной; он строил свою теорию на том, что искусство *объясняет* жизнь. Понемногу эта сторона стала критикой подчеркиваться больше, нежели чисто художественная сторона. Новое поколение критиков, Добролюбов, Писарев, уже рассматривало произведение искусства только со стороны тех идей, общественных, культурных, политических, которые оно провозглашало. Они приветствовали расцвет прозаического творчества со времени Гоголя и выражали надежду, что и прозаики возьмутся наконец за ум и займутся чем-нибудь более полезным, чем писание повестей. Чернышевский явил самую яркую и откровенно разрушительную формулу внехудожественных требований к искусству, когда в своей диссертации об эстетическом отношении искусства к действительности объявил, что искусство лишь *заменяет* природу. Его политическая неблагонадежность, революционный образ мыслей и ссылка придавали в глазах молодежи, как это ни странно, авторитетность его критике в вопросах искусства. С тех пор установился союз революционного образа мыслей с утилитарным отношением к искусству. По тому же пути пошли и живописцы, явив «передвижничество». Они превратили свое искусство в проповедь социального протеста. Как стих Некрасова, так их палитра была отравлена ядом гражданской скорби. Жизнь, та самая жизнь, которая отражалась в глазах Гоголя, Пушкина, Тургенева, перед глазами передвижников проходила каким-то «этапным порядком». Что не пахло урядником, ссылкой, кнутом, считалось недостойным кисти, именовалось баловством. Стоило ли у радуги брать ее краски, чтобы крас-

ками писать обличительные брошюры?.. Пошли в ход известные изречения: «Сапоги выше Шекспира» и «яичница нужнее Пушкина».

Воцарился какой-то галдеж, хаяние всего прекрасного и презрение к тем, кто прекрасным восхищался. Удивительна была в этой молодежи атрофия чувства красоты. Они были слепы, они были глухи к ней. У нас в Павловке, когда мы были детьми, бывало много студенческой молодежи — репетиторы, готовившие нас в гимназию, или товарищи управляющего, воспитанники Горыгорецкого земледельческого института. Это были люди, неспособные не только восхищаться, но даже просто видеть. Для них природа не существовала; они ходили по степи, по лесу, по парку, опустив голову, смотря себе под ноги, будто обронили что-то. Дерево для них не существовало, и дивные закаты солнца горели и сгорали не для них. Сколько раз впоследствии, придя в возраст и узнав разные типы людей, я вспоминал этих молодых шестидесятников, когда читал стихи Тютчева:

«Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!»

Жалкую картину являла эта молодежь во цвете лет и без всякого душевного расцвета. В них было не только непонимание, в них было озлобление против красоты. Это бывало в особенности в тех случаях, когда красота являлась достижением человеческих трудов. Перед великолепной клумбой роз одна фельдшерица с негодованием воскликнула: «Неужели вас не возмущает эта красота?» Они запрещали себе восхищаться, а себя самих они уродовали. Девушки стригли себе волосы, носили синие очки и приемами своими

в обхождении с людьми как будто задавались целью подавить всякое проявление женственности. Мужчины носили, наоборот, длинные волосы; они были неопрятны, нарочито неряшливы и в опрокидывании общественных предрассудков доходили до того, что в присутствии девушек отдавали свои долги природе.

Удивительно, как в этих людях, проповедовавших равенство, как в них самих глубоко коренилось классовое чувство. Не могу не назвать классовым чувством, когда мы ненавидим людей за то, что они принадлежат к тому или иному классу. Ведь со стороны того, кто говорит, что классов нет, что их не должно быть, это есть противоречие самому себе. Логически правильно было бы такое рассуждение: «классов нет, все люди равны, следовательно, я люблю или не люблю человека *независимо* от того, к какому классу он принадлежит». Такое рассуждение было бы естественно. У них же выходило так: «Я люблю или не люблю человека *в зависимости* от того, к какому классу он принадлежит». В естественном последовании мышления связующей частью двух предложений было бы слово «несмотря»; они же ставили слово «потому что» и, таким образом, утверждали то самое, что разрушали. Эта ненависть, сидевшая в них, никогда не дремала. Помню такой случай. Мне лет семь, восемь; сижу в доме управляющего; человека четыре студентов пьют чай; я в стороне смотрю номер «Иллюстрации». Вдруг кто-то зовет: «Князь!» Меня, мальчика, всегда конфузило, когда меня так звали, но раз зовут, я оборачиваюсь. Подталкивают друг друга локтем: «Ишь, откликается»...

Наш тогдашний управляющий в Павловке, Иван Михайлович Мальнев, был сыном некой Марии Матвеевны, крестьянки Киевской губернии, которая из деревни Болтышки, имения Раевских, выехала в Читу, чтобы разделить тяготы сибирского изгнания с моей бабушкой Марией Николаевной. Ваня Мальнев воспитывался в доме моего деда наравне с моим отцом и, по возвращении из Сибири, кончил курс в Горыгорецком земледельческом институте. Его «вольные» идеи, свободное отношение к вопросам собственности ставили его в противоречие с обязанностями управляющего и доверенного. Происходили недопустимые в хозяйстве случаи не только послабления, но и потакания. Пришлось с ним расстаться. Он впоследствии уехал в Ки-

ев, служил там и там же умер от разжижения мозга. Его вдова рассказывала мне о его болезни и о том, как ей хотелось присутствовать при вскрытии тела. Доктор не разрешил; тогда она попросила хотя бы вынести ей на тарелке мозг покойного мужа. Просьба была удовлетворена. «Понимаете, — восклицала она, — Ванин мозг! Ванин мозг!» Она выставляла обе руки вперед и точно потрясала этой невидимой тарелкой... Она была очень хороша собой, и хотя тоже из передовых, но не стриглась и красотой своей дорожила.

Эти же люди завели обычай «хождения в народ», шли в народ, чтобы просвещать его в революционном направлении. Шли в учителя, что было трудно по причине двойного наблюдения: и от министерства и от полиции; шли в доктора, что было легче; большей частью шли работать под видом рабочих. «Служение народу» это именовалось, но на самом деле это было только увлечение отвлеченной идеей. Теперь, оглядываясь назад на те времена, ясно ощущаю всю духовно-практическую несостоятельность этого движения и причины этой несостоятельности. Да, они шли в народ, к народу, но двигала ими не столько любовь к народу, сколько ненависть к тому, что не народ. Они в жизни были тем, что в поэзии своей был их пророк Некрасов. Его прозвали народником, но поэзия его совсем не была народна; это была поэзия «интеллигента» *о народе* даже не для народа. Разница ясно предстанет, если сравним Некрасова с Кольцовым; распространяться нет необходимости.

Припоминаю случай, рисующий зараз и Некрасова и тогдашние настроения в области затронутых вопросов. Перед тем как выпустить в свет первую часть своей поэмы «Русские женщины», ту, в которой говорится о княгине Трубецкой, Некрасов попросил моего отца посмотреть ее и сделать свои замечания. Мнение отца, как родившегося в Сибири, хорошо знавшего декабристов и в особенности семью Трубецких, было ему ценно. Отец свои замечания сделал, и Некрасов их принял все, кроме одного. Он не захотел выпустить того места, где в уста княгини влагаются слова злобы и негодования против петербургского высшего света, которыми он прямо заставляет ее бросить ком грязи

в тех самых, кто были ее родными, друзьями, среди которых она выросла и к которым из далекой ссылки стремилась в течение всей жизни. Как отец ни доказывал неправдоподобность таких речей в устах княгини Трубецкой, Некрасов не соглашался; он и понимал, а все-таки не соглашался. Отец уговаривал, когда вдруг Некрасов сказал: «Да, конечно, но эти строки дадут мне лишнюю тысячу подписчиков» (поэма должна была появиться в «Отечественных записках», которых Некрасов был редактором). Перед таким цинизмом увещания моего отца умолкли... Да, предвзятость, и в этой предвзятости отсутствие любви, преобладание ненависти и, наконец, личный и партийный расчет — вот причина нежизненности тех людей; ненависть, питаемая классовыми соображениями, то есть тем самым, чему они объявляли войну. Только любовь ценна творчески, ненависть лишь разрушает. И они были бессильны создать. Это было поколение глумителей, хулителей, но не строителей. В науке они не оставили следа, в искусстве они были еретики, в музыке они искали «слезу», в песне они увлекались текстом, в живописи дали передвижничество, в литературе гражданскую скорбь, в критике требование «здорового русского реализма». Поколение недовольных, но столь же ненужных людей. Они оказались одиноки; народ, который подымали, так же мало знали, как и тех, против кого его подымали. Несчастные, ни к кому не приставшие, они только пополняли численность административно-ссыльных.

Откуда пошло название «нигилист» — кто скажет? Если Тургенев первый пустил его в печать, это не значит, что он его выдумал; я думаю, наоборот, что он прибегнул к нему, потому что оно уже было в ходу. Во всяком случае, это не было название партии, не сами люди себя так назвали, а их окрестили: от латинского слова «nihil» — «ничто», то есть люди, ни во что не верящие. Наименование это стало понемногу приобретать значение активно-революционное, террористическое, в особенности, заграницей: взрыв в Зимнем дворце — дело нигилистов, Александра II убили — нигилисты... С другой стороны, слово это в обиходе изнашивалось, обесцвечивалось. Вспоминаю, что в семидесятых годах принц Петр Георгиевич Ольденбургский задумал объехать петербургские гимназии. Мой отец в качестве попечителя учебного округа сопровождал

его. В одной гимназии на уроке принц наклоняется к отцу:

— Отчего у того ученика, на той скамейке, такие длинные волосы?

— Отросли, ваше высочество.

— Не нигилист?

— Нет, ваше высочество.

Вернемся к тем, кого называли нигилистами. Из данной мной, хотя и беглой характеристики, думаю, достаточно оправдывается мое утверждение, что все это больше относится к области настроений, чем к области мышления. Все это не столько наука, сколько психология или даже патология. Во всем этом напряжение, несомненно, неврастеническое, психопатическое. И это показательно для русского характера вообще. Никакой умственной дисциплины. Дисциплина вообще противна русскому характеру, и революция, со свойственным ей в известных случаях духом потакания, придумала даже в отчетах учебных заведений заменить ненавистное слово «дисциплина» словом «посещаемость». Но мы, конечно, здесь говорим об одной только дисциплине умственной. У нас боязнь, прямо ненависть к умственно-руководящей силе. Как хотите называйте: дисциплина, закон, форма, самообладание, в науке метод, в искусстве техника, в жизни воспитанность, — все это отметается как неглавное, не только не ценное, но вредящее. На место всего этого ставятся: интуиция, нутро, так называемая простота. На место ясного, точного, определенного ставится смутное, приблизительное, случайное. Люди ценятся, деятельность их оценивается не в силу руководящих ими начал вечного, неизменного, бесспорного характера, а в силу одушевляющего их порыва, как все порывы — временного, как все порывы — на опасной грани бессознательного. Эта зыбкая, ненадежная сторона русского характера была той почвой, на которую падали семена отрицания и хуления. Проповедники, сами умственно более дисциплинированные, одни в силу отсутствия дисциплины воспитательной недостаточно считались с этой опасной стороной характера толпы, другие прямо на ней играли. И толпа воспринимала, она отвечала той стороной своего существа, которая для своего проявления не требует труда, которая не нуж-

дается в накоплении, которая не является плодом умственно-рабочего напряжения, а которая всегда тут как тут, может быть, дремлет, но ждет лишь прикосновения, чтобы вспыхнуть: толпа воспринимала чувством, отвечала *порывом*. Да, русский человек не есть человек убеждений, он человек настроений. В отношениях ли людей друг к другу, в политике ли, в критике ли, в искусстве ли, в религии ли — он силится превратить настроение в закон. Можно подумать, если принять теорию автора «Пол и характер», что во всех мужчинах мужская половина природы спит, а в женщинах говорит одна лишь женская. Не знаю, как бы отнесся Венингер к такому гипотетическому применению его теории в качестве объяснителя народных судеб, но, во всяком случае, в судьбе наших умственных движений явное преобладание женского начала — чувства, над мужским началом — разумом.

Я начал свою характеристику тогдашних людей с отношения к искусству. Это не случайно. Первое болезненное прикосновение отрицания я почувствовал не на моей классовой принадлежности, не на детском моем монархическом патриотизме, не в моих наивных смутных верованиях — я почувствовал его на моей любви к тому, что находил прекрасным. Я ничего еще не видал, я почти ничего еще не слыхал, я только начинал читать, но помню, что глубоко меня оскорбляло, когда некоторые люди говорили: «Ваши Рафаэли, ваши Бетховены, ваш Пушкин». И я отлично знал, что они Рафаэля не видали, Бетховена не слыхали, Пушкина не читали. Послушайте стихотворение Пушкина «Демон»:

«В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел».

Это стихотворение, чисто личного характера, посвященное Александру Раевскому, получает совсем новую окраску, когда в образе единичного «демона» мы увидим совокупную личность целого поколения. Да, они не только подвергали издевательству *предмет* чужого восхищения, они плевали в самый *источник* его. Критика же их была лишена малейшей художественной искры: они говорили так только для того, чтобы протестовать против авторитета, не признать того, что признавалось другими; они опрокидывали авторитеты, точно в бабки играли; да даже в бабках нужна сноровка, а сноровка — та же дисциплина; нужно умение сопоставлять, сравнивать — без сопоставления нет прицела. У них ничего этого не было; дисциплину ненавидели, а сравнения? Что же они знали, что видели? Вот это самая безотрадная сторона наших умственных настроений и критических порывов: люди не имели точек сравнения, они выходили сражаться в умственном смысле натощак, они были неучи в том деле, о котором судили... Один семинарист смотрел на висевшую в моей комнате копию «Мадонны со щегленком» Рафаэля («Madonna del cardelino»), в которой, если помните, маленький Христос поставил свою ножку на ступню Богородицы. Он смотрел, смотрел, губы складывались все брезгливее, и наконец промолвил: «А у Христа-то нога огро-о-омная...» Подошел к картине ближе: «Ах да, вот оно что». И не понимают люди, что они не Рафаэля оскорбляют, а только подобным подозрением выдают свое убожество. А был он близок к кругам студентов Академии художеств... Жалко, глубоко жалко было тех людей... Этот семинарист спился. Большинство из них бродило с волчьими паспортами.

Немногие смирялись, поступали на службу и являли впоследствии бесцветный образец чиновной благонамеренности. Каторжник или чиновник — увы, русская действительность не доставляла много разнообразия в пределах этих крайностей.

Таковы были представители людской породы, наводнившие собой университеты, земские учреждения, больницы, школы, залившие собой необъятные пространства нашей родины с удручающей одинаковостью не только настроения, но и внешних форм его проявления. Таковы были «нигилисты».

Если захотим в этих людях найти черту, общую с представителями иных течений в наших культурных слоях, то мы отметим то, на что указывает гениальный мыслитель, чьи слова приведены в виде эпиграфа к этой главе. Теоретичность, надуманность, книжность — то, что Шпенглер называет «вычитанностью» и в чем видит общее качество русской «интеллигенции». Оторванность от условий и требований действительной жизни — вот что единит все наши умственные течения. И вот почему даже те малочисленные представители общественно-политической культуры, которые заявили себя с положительной стороны, сливаются с этим бродячим стадом отрицателей и перед судом родины пропадают в общем море непригодности. В пятидесятых годах писатель-критик Аполлон Григорьев пустил в ход слово «почвенники»; образовалась «партия» этого имени, кажется, никакой роли не сыгравшая; но название знаменательно как признак прозорливости, с какой люди выбрали своим путеводным началом то самое, чего русской жизни больше всего не хватало. Да, беспочвенность и книжность на верхах; в низах же постепенное расшатывание и обольщение народа обещаниями и распаление его ненавистью. Много упорного труда пошло на то, чтобы побороть в народе тот мистический *страх,* о котором говорит Шпенглер; много труда нужно было положить на то, чтобы ту мистическую *тоску,* которую почуял иностранный провидец русской души, своротить с мистических путей и направить по пути захвата материальных благ; союзником явилось то народное *страдание,* о котором говорит тот же автор «Гибели Запада». Без всякой нравственной поддержки, без руководящей мудрости, при духо-

венстве, лишенном духовного влияния, под гнетом чиновной мелкоты, пред ослепляющей недосягаемостью верховной власти, отравленные и натравленные долгой проповедью отрицанья, — люди подняли меч разрушения и факел пожара и ринулись — куда? Конечно, вправо. Всякий ринулся направо и забыл в пылу удовлетворяемой алчности, что и сам имеет соседа слева. И только последний, самый левый сосед, самый бедный, уже нищий, был обеспечен от ограбления и шел вперед, в открытое море безответственного захвата... Я видел в детстве картинку в одном охотничьем журнале: стрелок в девственном лесу притаился и с ружьем наперевес высматривает сидящую на суку райскую птицу, и сзади подкрадывается к нему тигр... Могло ли быть иначе? В зажженном ими пожаре погибли сами поджигатели, и только последние подстрекатели еще торжествуют...

Но хочется верить верою того же германского мыслителя, что воскреснет русский народ. Только не при помощи тех воскреснет он, кто его сгубил. А губили его с двух сторон. Сейчас, конечно, мы видим только последний период в судьбе нашей родины; оскорбленные во всем, что есть для нас священного, не только по народности, но по человечеству нашему, мы склонны делать ответственными исключительно людей революции. Да, они ответственны за свои *дела,* но за свой *приход,* за свое возглавление? Или они не нашли себе подходящей почвы? А прежний длинный путь, путь, которым шли к тому, к чему пришли? Или там нет ответственностей? Шпенглер говорит: «Когда в какой-нибудь стране оппозиция разражается в революцию, в этом виновата власть *и оппозиция*». Курсив автора; мы же — перед односторонностью некоторых русских суждений, перед той готовностью, с какою они не только за ужасами современности не *видят* безобразий прошлого, но даже из-за ужасов готовы *простить* безобразия, мы должны перевернуть курсив и сказать: когда в какой-нибудь стране оппозиция разражается в революцию, в этом виновата оппозиция *и власть.* Перед судом истории не может быть оценок, основанных на предпочтениях, и для гибнущего народа — опять скажу вослед за Шпенглером, — для гибнущего народа безразлично, приносили ли его в жертву какому-то воспоминанию, как делают реакционеры, или отвлеченному понятию, как делают демократы. Да,

как ни различны крайности, они сходственны в основном своем грехе: и то и другое есть идея, насилующая природу. И кто в этом повинен, не может спасти.

Не могут спасти и те, кто всю жизнь критиковали, но чья критика проходила шепотом. Здесь я разумею наши прежние петербургские гостиные, или, как выражались газеты в «мартовские дни»: «бывшее так называемое высшее общество». Я совсем не согласен с теми, которые говорят, что критиковать не следовало, что критика — это нечто непатриотичное, что это есть расшатывание устоев. Во-первых, патриотизма без критики я не понимаю, все равно как не понимаю настоящей народной литературы без сатиры. Или, вернее, не понимаю тех, кто сатирика обвиняют в нелюбви к родине. Скорбь перед своей болезнью не менее почтенна, чем радость перед заслугами. И если мы любим нашу народность, мы должны любить и самую жесткость приговоров, которые произносятся представителями умственного народного суда. Самоосуждение есть, то есть может стать сильнейшим двигателем к самосовершенствованию. Вот почему не могу не приветствовать проявления сильного, на знании основанного или художественным провидением проникнутого критического суждения. Считаю, что сильна та народная сущность, которая рядом с болезнью, из своих же недр родит и врачевание. Во-вторых, что касается расшатывания устоев, то это даже смешно. Устои давно начали подгнивать и были готовы пасть без всяких расшатываний.

Нет, не за критику буду осуждать наши гостиные, а за то, что эта критика проходила, как я сказал, шепотом. В том смысле шепотом, что она не имела никакого выхода. Она была игрой, остроумным фехтованием. Она не переходила той грани, которая отделяла гостиные от министерства. Она оживляла разговор, она не оживляла то *дело*, которому люди служили. И еще есть причина, почему характеризую эту критику словом «шепот». Это была критика для себя, в своем кругу. Боже упаси что-нибудь вынести. В присутствии других все всегда обстояло благополучно. Перед лицом «народа» и «интеллигентов» замалчивалось то, что в своем кругу критиковалось. И когда из низшей среды раздавался критический голос, его без разбора клеймили «революцией». Сколько раз я удивлялся: почему это когда в гостиной какой-нибудь сенатор по-француз-

ски критикует, это хорошо, все восхищаются, смеются, а когда несчастный студент то же по-русски говорит, это предосудительно? Между тем студент, уж если на то пошло, имеет больше оснований критиковать: сенатор только осуждает, а студент жалуется; сенатор не терпит, студент претерпевает; сенатор едет в своей карете, и городовой ему честь отдает, а студента ведут в манеж и еще нагайкой подгоняют. И вот получалась такая картина, что на верхах, где критика была сознательная, разумная, на знании основанная, она не переходила в действие; а в низах, где критика была неразумная, без научной почвы, буйная, она переходила в дело. К этому прибавлялось и то еще, что в критикующих верхах никогда не было единства, в них была рассыпанность, а в критикующих низах была сплоченность, если не партийная, то обеспеченная одинаковостью своего положения. Так сама критика вырабатывала рознь, потому что сенатор высмеивал, а студент плакал и скрежетал...

Мы несколько забежали вперед. Хочу еще немножко вернуться к молодежи, но уже не шестидесятых годов, а последующего поколения.

Род людской — величина непостоянная. Как философ Анаксагор сказал про реку, что ни одну минуту она не та же самая, так можем сказать и про род людской. Когда говорим об эволюции нравов, взглядов, обычаев, это не значит, что те же самые люди изменились. Род людской течет как река, и, как в реке, вода все время другая. Мы же говорим об изменении. Никакого *изменения* нет, а просто одно поколение не похоже на другое. «Изменение» является результатом нашего умственного процесса, сливающего две отдельные единицы (поколения) в одно общее понятие (род людской). Так вот, чтобы быть правдивым изобразителем моих наблюдений и впечатлений, должен сказать, что последующее поколение явило совсем другой тип людей. Эволюция была в сторону серьезности, искренности, главное — в сторону добросовестности в работе и в принятом на себя служении. Те, прежние, за вечным раздражением, за стремлением к тому, чтобы учить, а еще больше — проучить, упускали дело, пренебрегали непосредственными требованиями своего призвания. Эти, новые, прежде всего работали. Все,

что мне пришлось видеть врачей, преподавателей (опять дам преимущественное упоминание женщинам), фельдшериц, сестер милосердия, учительниц, заведующих школами, — все это было прежде всего занято мыслью о непосредственном своем деле и стремлением *через него* принести пользу человечеству. Ограничение вместо разбрасывания — вот что отличает людей девятисотых годов от их предшественников второй половины прошлого столетия. Они осуществляли гётевское предписание: «Wenn du was leisten willst, so mußt du dich beschränken» (Если хочешь что-нибудь создать, умей себя ограничить). В иных словах выразил то же самое наш мудрый, незабвенный Козьма Прутков, когда сказал, что «нельзя объять необъятное». Они обнимали необъятное, те, прежние; они говорили о человечестве и забывали человека, они задавались далекими горизонтами и упускали свою волость. Еще что в них поражало — их заносчивая авторитетность. Они все *знали,* прежде чем *узнали.* Для них не было вопросов — все было решено, все было то, что немцы называют überwundener Standpunkt*.

В новом поколении я уже совсем не замечал того классового раздражения, которым, как чесоткой, страдало предыдущее. В Борисоглебске во время войны благодаря моему лазарету я был в соприкосновении почти со всем составом наших «врачих», сестриц, сиделок: нет такой, о которой бы упомянул иначе как с уважением. Еще будет случай помянуть некоторых из них на этих страницах, но здесь хочу сказать, что, провожая взглядом это поколение наших уездных работников, поколение, с которым мы докатились до края революции, я должен признать, что росла новая, хорошая, почтенная Россия. Когда говорю «Россия», разумею, конечно, лишь *материал* для новой, почтенной России: положительно что-то в уездной глуши росло и шло к расцвету. Но — пришли большевики...

Не будем останавливаться на том, нужна ли была революция или не нужна. Что за праздные разговоры. Как старушки после похорон плачутся о том, что, если бы послушались совета Глафиры Петровны, то, пожалуй бы, не помер, наверное бы не помер, даже еще и долго прожил бы... Нужна или не нужна, а революция была. Была, и кончено. Думаю, что была потому,

* Точка зрения *(нем.).*

что не могла не быть. Если есть люди, не понимающие, что старое не могло продолжаться, то это не значит, что оно продолжалось бы, если бы *этой* революции не было. Все равно. Она *была*. Но она могла принести многое. Она могла принести возрождение. Она принесла — большевиков. Все было скошено, скошено под корень. Вот это, насколько мог наблюдать, не все понимают из числа наших соотечественников, которых встречал за границей после моего бегства из советского ада. *Все* скошено, понимаете ли? *Все*. Нужна *новая* постройка, *новое* здание из *нового* материала, с *новыми* работниками. Большинство же соотечественников производят впечатление людей, выехавших с квартиры, потому что там ремонт, и дожидающихся, когда ремонт кончится, чтобы въехать на старые места. Не буду судить, правильно ли это или неправильно, но одно знаю: это не *жизнь*.

Да, наше прошлое умерло; но мы живы, дух наш жив, и жизнь зовет нас. Только не в том жизнь, чтобы тратиться на сожаления и потуги к воскрешению умершего прошлого. Мы и сами должны найти в себе силу к тому, чтобы умереть, внутренне умереть; и самую смерть не должны мы оплакивать, ибо не взойдет зерно, аще не умрет. И я даже скажу, что только тот достоин жизни, кто оказался *способным* умереть.

Я попытался в этой главе бросить несколько полос света на то прошлое, которое я видел, а большинство моих читателей не видело. Счастлив буду, если они найдут в том прошлом, которое я осветил, хотя малые искры руководительного света для того будущего, которое они увидят, а я уж не увижу...

Годы войны

— Война застала меня...

— Нет, только, пожалуйста, не так.

— А что?

— Так все начинали. Так начинается всякий рассказ о войне.

Совершенно верно. Война всякого где-нибудь «заставала»: кого в Гамбурге, кого в Наугайме, кого в

Мариенбаде, а кого и дома. Не буду повторять чужой прием, а скажу, что в начале июня 1914 года я возвращался домой, в Павловку, с Женевских празднеств в память двухсотлетия присоединения Женевы к Швейцарскому союзу. Об этих празднествах, поставленных Далькрозом в театре, построенном на берегу озера, я в свое время писал (в книге «Отклики театра»). Возвращаясь оттуда, остановился в Вальмоне над Глионом, чтобы навестить моих друзей Барятинских. Там, если помните (если читали мои «Странствия»), видел бельгийскую королеву. Провел два дня в Берлине и помню, что этот город тогда произвел на меня никогда прежде не испытанное неприятное впечатление. Почему, не знаю, но мне было не по себе; и помню, что после завтрака в Бристоле мне приятно было узнать, что прислуживавший мне кельнер был итальянец... 29 июня, в страшную жару, переезжали мы с невесткой моей, вдовой покойного брата, с ее вторым мужем-шведом, с тремя племянницами, племянником и швейцаркой гувернанткой, — на трех извозчиках переезжали мы в Варшаве с вокзала на вокзал. Мои родственники ехали ко мне погостить в Павловке; они ехали на два месяца, а застряли надолго...

17 июля — объявление войны.

В том глубоком тылу, где мы жили, не могло быть настоящего соприкосновения с войной; ощущали только волны ее. Эти волны можно распределить по трем направлениям: благотворительность, раненые и пленные. Вот то новое, что внесло в уездную жизнь военное время, вот в чем больше всего сказывалась разница с «мирным временем», и об этом буду говорить, не касаясь больших вопросов войны и мира, нужности и ненужности и пр.

Благотворительность закипела сразу. Война была встречена с каким-то восторгом, с опьянением. У нас тогда служил в доме бывший матрос, проделавший Японскую войну. Когда появился манифест, он сжал губы и три дня ничего не говорил. Потом он признался, что он все ждал взрыва, хотя бы ропота, но он только руками разводил: вместо ропота ликование. Одни за другими из разных деревень приходили группы призывных «прощаться», то есть получить на чай. В ярких рубахах по-праздничному, у некоторых в ясный летний

день лакированные калоши... Давали обещание открытки присылать; многие сдержали... Город провожал их поезда с музыкой, с цветами, с угощением... Городским головой был уже упоминавшийся мной Михаил Алексеевич Козловский, женатый на дочери нашей ближайшей соседки О. А. Олениной. Человек энергичный и с большой деловой изворотливостью, он быстро заразил население своим организаторским пылом. Пошли сборы, образовались рукодельные мастерские, столовые для детей, лазареты для раненых. Жизнь в Борисоглебске кипела, работа толковая. Пожертвования сыпались. Приехали ко мне просить устроить спектакль.

Был у нас в городе театрик, в котором помещался кинематограф; он уступил нам залу на несколько вечеров. Я устроил живые картины на военные темы, а после них пантомиму. Первая серия картин: «Призыв». Село, изба, плетень, вдали церковь, и в этой обстановке несколько эпизодов прощания с домом и ухода на войну. С котомками люди уходили, женщины, старухи, молодухи провожали; с каждой картиной сцена пустела и темнела; за сценой звучала, уходила вдаль и пропадала солдатская песнь; колокол ронял несколько ударов; темная, почти пустая сцена озарялась луной — перед избой только старый дед сидит на завалинке и мальчишка четырехлетний с хворостиной в руке сосет палец... Очень вышло красиво. Помогали мне мой племянник Вадим, отлично рисовавший, и молодой художник Ефимов, ученик Пензенской художественной школы. Много было милых подробностей. Около плетня рос настоящий подсолнух; на огороде мы выкопали настоящего лопуха; купола церквушки и колокольни под закатными лучами золотились благодаря кусочкам золотой бумаги... Вторая серия картин: «Поле брани». На фоне туч вырисовывалась картина поля битвы после сражения. Лежали раненые, на холмике высился пушечный лафет, часовой смотрел в темнеющую даль, вырисовывался на грозном небе телеграфный столб с оборванными проводами, две сестры милосердия нагибались над ранеными. В следующей картине на носилках уносили раненого. Третья картина: уже никого живого на сцене, одни трупы. Заря после первой картины потухала, и в третьей — лунная ночь: стальные предметы блестят. На холмике прутик с привязанным к нему белым флажком, на флаге

красный крест; в кустах спрятан электрический вентилятор, и флажок под ветром трепещет. За сценой далекое грустное пение: не то ветер, не то песня, не то стон. От времени до времени далекий пушечный удар... Эта картина произвела огромное впечатление. Но если бы знали, из чего она была составлена! На генеральной репетиции после занавеса прибежал ко мне фотограф:

— Умоляю вас, разрешите снять эту картину; мы наделаем открыток, раскупать будут.

— Ничего в фотографии не выйдет.

— Да уж это мое дело; я ручаюсь.

— Я верю, что вы умеете, не в том дело. Вам для фотографии ведь нужен полный свет?

— Разумеется.

Я кричу за сцену: «Дайте рампу, кулисы, софит!.. Теперь — занавес!» Невероятная картина предстала глазам фотографа: мешки, опрокинутые табуреты, покрытые тряпьем, рогожи, брезенты, из картона вырезанная пушка. Все распалось, улетучилось, картина выдохлась, снимать было нечего. Вся сила картины была в неясности: неясность очертаний, неясность освещения, неясность звуков. И совокупность этих неясностей сообщала ту жуткость, которую испытали зрители. И в этой картине была красивая подробность. Занавес у нас не поднимался, а раздвигался; темно-синего коленкора занавес. И вот в последней картине «Поля брани» две сестры милосердия затягивали эту темную завесу, потихоньку продвигались вдоль рампы и, дойдя до середины, уходили в складки, пропадали. Символический смысл сестер милосердия, набрасывающих покров на ужасы войны, не ускользнул от внимания зрителей.

После этой картины была пантомима. Вылетала на сцену маленькая Сербия, спасая свое знамя; к ней на помощь являлся маленький Черногорец, Россия выходила и осеняла их; под звуки гимнов выходили со своими знаменами союзные державы; хоровод народов их приветствовал; проходили сестры милосердия, перед ними преклонялись знамена. Все кончалось апофеозом, осененным распростертыми крыльями огромного двуглавого орла под звуки русского гимна. Гимны играл военный оркестр, остальную музыку я подсочинил и исполнял на фортепиано, сигналы дал оркестру — вышла целая маленькая партитура. Успех нашего

спектакля был большой; потребовали повторения. Сбор для уездного города огромный, больше трех тысяч рублей чистого.

У меня был в Борисоглебске маленький домик. Там я устроил лазарет, пятнадцать коек. При оборудовании помогали кто мог. Племянницы шили, кроили войлочные туфли, Полина Егоровна Вейс занялась бельем. В день открытия был молебен, было угощение. Состав сестер был назначен; главная надзирательница — Ольга Ивановна Хоперская; главный надзиратель — доктор соседней с моим домом земской больницы Николай Николаевич Масловский. Этот Масловский был замечательный человек, необыкновенного огня в служении своему делу. Я помню его, когда он только что поступил. Большой, долговязый, конечно — всклокоченный, в красной косоворотке, с голосом грубым, с широким жестом — так он выступал в земских собраниях, всегда обличал, стыдил, громил. Как-то, помню, очень он пламенно говорил против каких-то действий управы. После того через некоторое время читается предложение управы ассигновать доктору Масловскому триста рублей наградных.

— Не надо мне вашей награды, а триста рублей прошу обратить на приобретение микроскопа для моей больницы.

Впоследствии он несколько отяжелел (и кто же не тяжелеет?), но в первые годы служения в нем было что-то апостольское. Население его уважало; к нему ездили советоваться со всего уезда: уж коли Масловский не помог, то уж кончено...

Уже поезда три с ранеными пришло, а ко мне еще не присылали; сестрицы обижались. Наконец и до нас очередь дошла. В лазарете нашем царил хороший дух. Ольга Ивановна, некрасивая, в очках, но энергичная, авторитетная, справедливая, установила этот дух уважения к ней и к другим служащим и справедливости в товарищеских отношениях. Ее высоко ценили, и долго получала она письма; уже лазарет не действовал, уже Борисоглебска нашего под разрухой не узнать было, а все Ольге Ивановне приходили поклоны от бывших наших раненых. Ольга Ивановна была не человек, а воплощенная жертва.

Через этот лазаретик в течение трех лет сколько

прошло духовной красоты! Я часто наезжал из Павловки — тридцать пять верст. Живал по два, по три дня, а во время земских собраний и неделями. Какие приезды! Как заслышат стук копыт по деревянному мостику, уже, кто может ходить, высыпят ворота отворять. Прежние встречают как знакомого, новички присматриваются. Но скоро новички становятся знакомыми. Что больше всего сближало, — пишущая машинка. Сколько писем и открыток отстукал я, сколько разослал поклонов: «Кланяюсь Вам от сырой земли и до белой зари» и «Жду ответа, как соловей лета»... Есть лица, которых никогда не забуду.

Безногий Михаил Минашкин, которого я поместил в Петербурге на счетоводные курсы, писал мне из своей деревни Катино Рязанской губернии, что если правда, как он слышал, что у меня все отняли, что у меня нет больше пристанища, то его дом к моим услугам; его вся семья и старики родители приглашают меня. Следовало подробное объяснение, как ехать, докуда билет, где пересадка.

Никогда не забуду Ваню Серова Нижегородской губернии. Его привезли с раздробленным коленом, не колено — кровавый биток. Страдал ужасно; он был уже желтый от общего заражения. Врач объявил, что, если не отнять ногу, он умрет. Но он не согласился: «Лучше с ногой умереть, чем жить без ноги». Совсем молодой, удивительно красивый, с горячими глазами, ждал он смерти и только просил меня помочь ему деньгами, чтобы выписать жену и мать. Они приехали. Помню, после молебна у одра умирающего сына, помню, вдруг старуха оказалась с безмолвным земным поклоном в моих ногах... Я должен был ехать домой в тот же вечер. В течение недели дважды в день справлялся по телефону — Ване Серову хуже... и вдруг лучше, и лучше, и каждый день лучше. Случилось, что я долго не был в лазарете: в Москву ездил на съезд землевладельцев. Вхожу — глазам не верю: свежий, румяный, чистенький и смеется моему удивлению.

Это была тонкая природа. Не забуду выражения его лица, когда я раз вечером читал им «Федора Иоанновича». Как он слушал! Он все приподымался, отделялся от подушки, приползал к нижнему краю кровати; наконец его ноги оказались на месте головы, а голова лежала на руках, обхвативших решетку... Он совершенно выздоровел и ходил с палочкой. Его адрес

был у меня в книжке, но все книги у меня отняты. Он, может быть, думает, что я его забыл...

Из того огромного количества людей, перебывавшего в моем лазарете, я могу только одного назвать такого, который оставил нам неприятное воспоминание. Некто Дроздов, по профессии столяр. Он был нервен, желчен, обидчив; товарищи по лазарету его не любили. Когда были в веселом расположении, подтрунивали над ним, норовили, садясь за стол, занять тот стул, который он называл своим, а они называли «дроздовским». Но и он однажды удивил нас своей привязанностью к лазарету. У нас была главным врачом некая Мария Павловна Милишкевич, прекрасный врач и очень выдающийся человек. Высокая, стройная, с чрезвычайно простым человеческим обхождением и с большим авторитетом, она пользовалась совсем исключительным уважением со стороны раненых. Дроздов для нее готовил скамеечку. Однажды возвращается с прогулки по городу, приносит кусок зеленого атласа:

— Это на скамеечку под ноги Марии Павловне.

— Это, говорю, даже слишком хорошо под ноги.

— Для Марии Павловны ничего не слишком хорошо.

Два года после того что он выписался (уже революция бродила и лазаретик мой был закрыт, потому что я сам в нем поселился с моими племянницами) однажды звонок, выхожу на крыльцо — Дроздов. Что такое?

— Да вот пришел к вам. Был в Москве, имел мастерскую, а меня обобрали, инструменты все отняли, из квартиры выставили. Куда деваться? В наш лазарет, куда же еще...

В 1918 году осенью я встретил Дроздова на Страстном бульваре. Мы очень обрадовались. Он приезжал в Москву с мешками муки или картофеля; он остался в наших местах и жил на нашей станции Волконской...

Самая большая радость была, когда я некоторых из наших раненых привозил на побывку в Павловку. Путешествие на автомобиле, прогулки по саду, чтение, чай на балконе... Сколько тонкого природного такта выказывали эти люди! Ни одного слова, ни одного действия, которые бы не соответствовали требованиям воспитанности. У меня тогда гостила вдова моего брата Григория, француженка, и я рад был видеть, какое

впечатление производил русский человек на иностранку.

Помню одного малоросса, контуженного в голову. Он говорил шепотом; его детские глаза раскрывались в радостном возвращении к жизни, но слух не возвращался; он с большим трудом понимал, когда с ним говорили. Он был садовник; перед цветниками он останавливался как зачарованный. Раз сорвал цветок темного гелиотропа и, подавая товарищу, шепотом произнес: «Понюхай ты, у меня не пропущает». Он потерял обоняние так же, как и слух. Однажды проезжали мы с ним и еще с другим в шарабане парком. Товарищ наклоняется к его уху и восклицает:

— Что бы нам с тобой такой бы парк!

— А ты в нем будешь раненых катать?

Это было совсем удивительное явление; его самая большая радость была поливать цветы. В нем было что-то перуджиниевское...

Так проходила жизнь в лазарете. А кругом уже гудел океан.

В то время очень обострилось национальное чувство, вернее, национальная подозрительность. С легкой руки «Нового времени» пошло в ход выражение «немецкое засилие». Пошло гонение на немецкие фамилии; люди меняли их на русские, даже отчество меняли, отрекались от отца и думали, что перекраскою фасада они утверждали доброкачественность здания. Нельзя, впрочем, их винить: если одни были настолько подлы, что нападали на людей за иностранную фамилию и в фамилии видели указание на патриотическую неблагонадежность, другие, защищаясь от обвинения, эту фамилию меняли и в новом созвучии своего имени искали средство для утверждения своей благонадежности, а еще больше — безопасности. Ужасное время, противное. Тогда уже просыпались дикие инстинкты, только они облекались в одежду патриотизма. Это были первые признаки того звериного хулиганства, которое лишь ждало, чтобы ему кто-нибудь сказал, что и одежды никакой не надо, что можно просто, откровенно зверинствовать и зверствовать. Образовавшийся под водительством какого-то доктора Дубровина Союз русского народа собирал под свое знамя всякое отребье, которое, драпируясь в «православие и са-

модержавие», пробуждало худшие инстинкты того, что Владимир Соловьев назвал «зоологический патриотизм». Каким путем пробил он официальную стену формальностей, обусловливавших общение с собой государя, но только доктор Дубровин посылал телеграммы на высочайшее имя и удостоивался высочайших ответов. Одна из опаснейших ошибок последнего нашего царствования — то благоволение, которое Николай II оказывал подобного рода деятелям и подобного рода организациям. Удивительно, что наверху верили и в искренность и в действительность их. Один близкий государю человек однажды, когда уже положение стало принимать серьезный оборот, счел нужным обратить внимание государя на скопляющееся неудовольствие и начинающееся брожение. При разговоре присутствовала императрица. Она встала, прошла в другую комнату и вернулась с телеграммой. «Вот доказательство, — сказала она, — что все, что вы говорите, не соответствует действительности». Телеграмма была носительницей верноподданнических чувств Союза русского народа. «Вы видите, — сказала императрица, — что народ с нами». Они обольщались именем и думали, что Союз русского народа — это значит: *голос русского народа...*

Своим благоволением и одобрением государь как бы присоединился к ним, вступал в их ряды. Получалось, как будто государь записывался в члены партии. Мыслимо ли это — партийный монарх? Не я буду защищать итальянского короля за его любезничания с представителями социалистов и рукопожатия с большевиками на Генуэзской конференции, но, конечно, это лучше, чем если бы он записался в фашисты. И однако, фашисты, по буйной искренности своих выступлений, разве сравнимы с слащаво-звериным подобострастием этой «шайки» Русского народа? А государь давал им утверждение. Одной рукой подписывая конституцию, он другою писал: «Самодержавие мое останется как встарь». Таким поведением он в глазах населения раскрывал пропасть между собой и деятелями им же утвержденного правительства. С низов этой пропасти стало подыматься нечто отвратительное: благонамеренствующее хулиганье. Я помню в Петербурге на Морской встречаемую мной процессию по случаю падения Перемышля. Это была толпа полупьяных разночинцев, рабочих и подростков, которые под прикры-

тием портрета государя кричали встречным: «Шапки долой!!» В провинции все это приводило к еще более гнусным проявлениям. Оно и естественно: радиусы от центра всегда расширяются. Доносам на почве «немецкого засилия» не было конца. Все, что было подлого, что хотело подслужиться, уходило под благовидную сень патриотизма. Я довольно остро испытал на себе последствия подобных настроений.

У меня состоял управляющим барон Медем. Человек в обращении грубый, в требованиях к служащим крутой. С первых же месяцев его поступления многие из старых служащих должны были повставать со своих насиженных мест. Я стал получать всевозможные кляузные письма и доносы. Оставлял их без внимания. Но вот — объявление войны. Письма прекращаются. Что же вместо них? Когда я был по какому-то делу у губернатора в Тамбове, он мне сказал, показав рукою над столом: «У меня вот какая груда доносов на вашего барона Медема». Вот, значит, какой путь выбрали, — по линии «немецкого засилия». Чего, чего только не пошли выдумывать! У управляющего пьют шампанское после каждой немецкой победы; к нему прилетают аэропланы. Новый священник приезжает в Павловку, ему ямщик кнутом показывает на строящуюся водокачку: «Вот это князь строит немецкую кирку». О воображение людское! Ценный друг художнику, радостный творец неведомых миров! Но какой коварный подстрекатель в невежестве и недоброжелательстве людском! Конечно, не сам ямщик такую нелепость выдумал, но были, значит, люди, которые предавались этому зверино-патриотическому творчеству для возбуждения народа... После того что я на Рождестве устроил у себя для пленных католическую обедню, губернатор получил негодующий по этому поводу донос.

Однажды получил письмо от товарища министра внутренних дел Джунковского. При письме копия с прошения группы граждан города Борисоглебска на имя главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича. Великий князь препровождал прошение министру внутренних дел, министр, через товарища, препровождал мне. В письме Джунковский перечислял все нарекания и, обращая мое внимание на то, что «если даже половина того, что говорят, правда», то и этого достаточно для принятия серьезных мер, — просил меня или уволить Медема, или уволить по край-

ней мере половину моих служащих немецкого происхождения. Из этих требований можно заключить о характере доноса. Действительно, борисоглебские «истинно русские люди» не пожалели красок: у меня служащие немцы, у меня солдатских жен из конторы гонят в шею, семьям призванных не отпускают хлеб с поля иначе как по внесении полной арендной платы и т. д. в том же роде.

По поводу последнего пункта расскажу, как было на самом деле. Как только уборка стала подходить к концу, я прежде всего распорядился, чтобы солдатским семьям была сделана скидка. Приходят ко мне несколько человек деревни Никольской. Просят отпустить им хлеба вперед. Спрашиваю: сколько? Оказывается, и сами не знают; с односельчанами еще не советовались, а так только пришли просить, чтобы я конторе приказал отпустить. Я говорю, что не могу конторе дать такого неопределенного приказания, надо сперва выяснить.

— Только вы поскорей, ваше сиятельство, а то ведь нам чижало и дожидаться — исть нечаво, хоть ложись помирай.

— Поскорей. Так от вас же зависит собрать сведения. Вам много ли нужно времени?

— Да энто что! Мы враз.

— Ну так когда же?

— Да самое главное нам, чтобы до вторника. Мы в среду все в поле бы выехали да и поразвезли нашу рожь... А то ведь исть нечаво, хошь прямо ложись...

— Ну хорошо. Когда у вас будет ответ готов, я сам на Елизаветинский хутор в контору приеду. Хотите в воскресенье?

— Ну спасибо вам на том... А то и впрямь исть нечаво, ложись помирать, да и только...

В воскресенье еду на хутор. Собрались уполномоченные, заявляют, что им бы нужно тридцать копен. Разговор, понятно, не так быстро прошел, как пишется; и все было пересыпано тем же многократным заявлением, что исть нечаво и что единственное, что остается, — ложиться помирать. Но наконец договорились и я сделал необходимое распоряжение и поехал домой. Знаете, когда они выехали за своими копнами? Через неделю. Знаете, сколько копен свезли? Восемь.

В ответе моем Джунковскому я рассказал этот случай как рисующий положение и насколько распоряже-

ния владельца и администрации идут навстречу, более чем навстречу, желаниям крестьян. Относительно подавляющего числа немцев среди моих служащих я ему написал, что на восьми тысячах десятин у меня девяносто три человека служащих; из них, за исключением Медема, только двое с нерусскими фамилиями: один заведующий на хуторе — немецкого происхождения и садовник — латыш; что поэтому, даже если бы я уволил пятьдесят процентов служащих немецкого происхождения, то мне пришлось бы разрезать человека пополам. Ну, может быть, и не совсем так написал, но что-то в этом роде. По крайней мере, когда я зимой был в министерстве, не помню, по какому делу, товарищ министра, уже другой, сказал мне: «Да, я знаю, я читал ваш ответ — ядовито вы ответили».

Вот в чем проходили интересы житейские уже во второй год войны. От здоровых, естественных отношений, установившихся при первом кличе, не оставалось следа. Из всех щелей повыползли клопы и собрались под знамя ложного патриотизма, ложного монархизма, ложного национализма, а на самом деле — под знамя подхалимства, наживы и хулиганства...

Совершенно новое привходящее тогдашней жизни были пленные. У меня в имении их было больше ста человек. Были немцы, поляки, всякие славяне, итальянцы. В общем хороший народ; в неволе своей прижились к месту, привязались и к делу и к дому, а некоторые впоследствии явили доказательства настоящей преданности. Не могу не сказать, что в нашей глуши, при нашей неряшливости, при нашей лени и недобросовестности в работе эти люди являлись носителями культуры. Как ни больно сознаться, они были живым примером того, чего нашим не хватало. Наши это понимали, не говорили, но я чувствовал, что понимали. Да и как же не понимать, когда пленного на работу ставят и уходят, а над нашим всегда приказчик или объездной стоит. Какие мастера хорошие были между ними: столяры, шорники, машинисты. Многому бы могли наши научиться, если бы захотели. Ничем не воспользовались; один лишь внук старого нашего кучера сделался колбасником. Находит ли сейчас применение?..

Крестьяне к ним, в общем, хорошо относились; с русскими рабочими столкновений не было. Одного не

могли перенести наши: на одном из хуторов итальянцы в речке Алабушке ловили лягушек и ели; наши просили, чтобы им другую посуду давали. А другой раз пришла партия немцев из Сибири и всех в ужас привела тем, что на третий день своего прихода поймали собаку и съели. На все ужасы они только ответили, что в Сибирском концентрационном лагере они по необходимости ели и привыкли. Управляющий взял с них расписку, что они ели собаку по собственному желанию. Это было нелишне, потому что городской отдел по надзору за военнопленными очень внимательно следил за содержанием военнопленных на частной службе. Одного галичанина я просил научить наших детей плести соломенные шляпы; уроки понравились, и соломенные шляпы стали прививаться. Этот галичанин потом заболел чахоткой; помню в последний раз его в окне той комнаты, которую мы отвели для больных: из белого его лица глядели два темных горячих глаза; страх был в них: все лицо прощалось, а глаза цеплялись. Он похоронен на нашем Павловском кладбище. Анисим звали его.

Больных было довольно много. Они приходили к нам. Моя дорогая приятельница Елена Николаевна Афонасьева, гостившая у меня, с которой мы потом делили годы и невзгоды революции, занималась лечением. В особенности много было нарывов на пальцах и горловых. Последние были очень мучительны; перед тем как ему лопнуть, тут-то был самый мучительный момент. Помню одного с таким нарывом; он все отвечал «jawohl»*, и мы так и прозвали его — «Jawohl». Был один итальянец с дифтеритом; у него был паралич носоглотки, и жидкая пища носом возвращалась; но и его выходила Елена Николаевна. Его звали Eugenio. Раз у нас за ужином были макароны, послал ему; но ему на блюдечке подали соли, а он, по итальянскому обычаю, подумал, что сыр, — всю соль высыпал и испортил свое родное блюдо... Бывали и эпикурейские впечатления; разве не эпикурейство, когда в темный вечер по аллее возвращаешься домой, а навстречу шаги, и из темноты вдруг — только подумайте, в глуши Тамбовской губернии — раздается: «Eccelenza, felicissima notte» **...

* «Да» *(нем.)*.
** «Сладчайшей ночи, ваше превосходительство» *(итал.)*.

Я, конечно, больше знал тех из них, которые, будучи знакомы с каким-нибудь мастерством, приходили на работу в дом: столяр, каменщик, кровельщик, маляр. Двоих я должен отдельно помянуть; один — австрийский поляк Франц Климек, другой — немец Людвиг Моргенштерн. Франц был учителем в Галиции, в городе Ржешове; Людвиг — парикмахером где-то на Рейне. Эти два человека выказали столько преданности, что я их никогда не забуду. Об этом скажу в своем месте; здесь лишь упомяну, что Франц служил у меня в доме; он был чрезвычайно культуроспособен, интересовался всем, что меня в то время занимало. Так, он вошел во все мои работы о декабристах, помогал мне в устройстве моего музея; не меньше интересовался моими работами по законам речи, и я успел многое ему по этой части передать, что он записал, отлично усвоил и намеревался, вернувшись на родину, применить к родному польскому языку в своей школе. Он играл на скрипке и даже собственноручно смастерил себе скрипку. Я недавно писал ему, но, кроме названия города, другого адреса не знаю, и ответа не получил... Людвиг Моргенштерн, по профессии парикмахер, работал у нас в теплице и так пристрастился к новому своему делу, что говорил, что, когда вернется домой, уже не будет знать, кто он — парикмахер или садовник. И его адрес забыл; на Рейне, но, может быть, уже и город его теперь на французской стороне... Он впоследствии в Тамбове, под страхом смерти, принес мне деньги, благодаря которым я смог выехать в Москву. Но и об этом в своем месте... У Франца оставалась невеста дома, Мария; у Людвига — жена и две дочки.

Трогательные братские отношения устанавливались между пленными и теми нашими ранеными, которых я привозил в Павловку на побывку. Вечерами сходились и много друг другу рассказывали. Франц Климек однажды с одним, неким Пшеничкиным, договорились до того, что оказалось — были в одном и том же сражении по обе стороны речки; может, друг в друга целились... Не обходилось и без неприятностей. Так, был у нас еще один Франц, наш бывший раненый, Ковенской губернии литвин; он, выписавшись из больницы, пошел опять на войну, хотя мы знали, что он вряд ли будет годен. И действительно, через полгода вдруг телефон из Алабухского волостного правления: Франц

спрашивает, может ли приехать. Все в доме обрадовались; он был тихий; как все литвины, медлительный и очень честный малый. Деваться ему было некуда, на родине немцы, он и остался у меня в доме. В отличие от Климека, его все называли «русский Франц». И вот раз как-то один из раненых прибегает в большом волнении: «Богуслав ударил по щеке русского Франца!» А Богуслав был галичанин, помогал нашему шоферу. Все население домашнее было возмущено. Богуслав подходил мириться, но Франц не захотел: «Я не за себя оскорбился, а за русского солдата». Страсти разгорались; это было опасно; надо было затушить во что бы то ни стало. Я позвал того раненого, который мне об этом передал, к сожалению, забыл его имя; несчастный страдал припадками, мы с Ольгой Ивановной часто садились ему на ноги и держали за руки, пока отойдет... Так, я его позвал и сказал, что необходимо, чтобы это дело было прикончено: может распространиться по всему имению, мало ли что может разгореться, может огласиться и до города дойти, еще меня к ответственности притянут. Что же делать, пришлось к этому «личному» доводу прибегнуть. Он как-то решительно ударил кулаком по воздуху и сказал: «устрою», пошел. Через четверть часа все уже знали радостную новость: Богуслав подошел к русскому Францу с протянутой рукой, и русский Франц протянул руку Богуславу. Редко испытал я такое впечатление разряженной атмосферы; стояло ликование, все друг друга поздравляли. Богуслава, однако, перевели на хутор. Он был забияка, и там что-то случилось такое, что его отправили в город. Он был назначен в работники к дальнему соседу нашему Хренникову, но и там что-то произошло; по крайней мере я получил из Борисоглебска немецкое письмо, смотрю подпись — Богуслав: он сидел в тюрьме и взывал к моему заступничеству...

Я думаю, что пленным нашим, насколько это вообще совместимо с неволей, жилось не так уж тяжело. Я давал им немецкие и итальянские книги из своей библиотеки. Наибольшим успехом пользовались роман Эберса «Homo Sum»* и немецкий перевод моих американских лекций о русской истории и русской лите-

* «Я человек» *(латин.)*.

ратуре; последняя книга пошла даже по хуторам... На второй год, как я уже упоминал, была отслужена в большой зале моего «молочного дома» обедня по католическому обряду; многие причащались. После обедни был для них чай с баранками. Когда была в той же зале елка, пленным было сказано, что если хотят прийти на русский праздник, то могут прийти. Пришли все жившие при усадьбе, человек тридцать. Когда кончилась программа этого празднества — раздача подарков, пение и чтение, — вижу, пленные выстраиваются в ряд и Франц Климек выступает с чтением адреса на польском языке, в котором выражается благодарность за то, что забота о них распространяется не только на материальные их нужды, но и на духовные потребности. Адрес в разрисованной папке я хранил, пока вообще мог что-нибудь хранить. Я ответил им, что рад делать сколько могу в пределах права и закона, но делаю это с особой охотой потому, что знаю, что они пишут домой и что добрый отзыв с их стороны, надеюсь, повлияет и на положение тех из наших пленных в Германии и Австрии, которые находятся там в подобных же условиях.

Да, пленные внесли в нашу жизнь нечто очень новое, совсем не русское, а вместе с тем совсем человеческое. Для наших эта совместная жизнь и товарищество в работе могли бы быть источником воспитательного подъема, если бы уже тогда не клонилась наша жизнь к пресечению всяких воспитательных путей. Все зачатки воспитательные были снесены насмарку, все выворочено корнями наружу и уже начинало вянуть, сохнуть и гнить под губительным ветром хулиганского попустительства. Это ясно проступало, когда возвращались наши пленные оттуда, из заграницы. В их раскрывавшихся глазах читались и изумление и ужас. Один сказал, что если бы он знал, то не вернулся бы; другой сказал, что он предвидел, но вернулся только потому, что дома семья. Мой бывший раненый Минашкин из Рязанской губернии писал, что его выбрали председателем волостного комитета. Немножко забегаю вперед,— это было во время Временного правительства, но ведь в жизни все, даже то, что происходит сразу, готовится издалека. Так вот, писал мне Минашкин, что он выбран председателем. Я ответил, что не пропала, значит, деревня русская, когда таких людей, как он, умеют ценить. Через три ме-

сяца уже получаю письмо, что он не может работать — он не узнает людей: «И что это сталось с нашим русским человеком?..»

В августе 1916 года я был очень болен и в конце октября поехал в Крым. В Ялте я нашел моего племянника Михаила, сына моего брата Петра. Мы жили в гостинице «Елена». Я был рад с ним встретиться и пожить вместе. Он отличный музыкант и хорошо поет; хороший баритон, но главное, что его отличает от стольких певцов,— восхитительное произношение, равно прекрасное на четырех языках. Он давал концерты, я ему аккомпанировал. Успех его был большой, и, что особенно ценно, среди артистов он пользовался уважением и признанием; такая певица, как Ян-Рубан, участвовала в его концертах. Он много учился в Милане у известного Ванцо. Теперь он поет в Сербии «Евгения Онегина» по-сербски... Мы жили приятно. Война, по крайней мере в те месяцы, что я там провел, своим крылом не задевала южного берега. Мы видали наших друзей Извольских, о которых писал в другом месте, и хорошего знатока музыки, гостеприимного хозяина, барона Нолькена, жившего на красивой даче Капниста. Жизнь протекала еще в тех приятных условиях довольства и беззаботности, которые народ впоследствии окрестил именем «мирное время». Одно могу только отметить: за мое пребывание в кофейне Флорана сладкие пирожки поднялись в цене на пятачок... Среди этого безоблачного неба вдруг удар грома. Входит ко мне племянник, запыхавшийся: «Распутина убили!» Конечно, ни одно известие не могло бы произвести того уличного волнения, которое охватило маленькую Ялту. Никакое правительственное распоряжение, ни военная победа не способны так задеть обывателя, как известие личного характера, да к тому же преступление, да к тому же еще и со скандалом. Маленькая Ялта была неузнаваема; люди сновали, газетчики кричали; да и погода была грязная, и на улице была «распутица». Нездоровое любопытство разгоралось; газетными вестями не удовлетворялись. Говорят, в Петербурге, где уже начинал ощущаться недостаток продовольствия, кто-то выразился: «Все требуют хлеба и подробностей». С неделю продолжалось нервное возбуждение, но и оно улеглось, тем более что газеты получили приказание выбрать

другие темы разговоров. А тем было достаточно помимо распутинского соблазна и даже помимо войны. Дума поднималась и вздувалась, как нарыв, Милюков в своих речах срывал неприкосновенные завесы, требования гласности и ответственности становились все громче и настойчивее, обвинения восходили и не останавливались перед венценосной главой, в то время как министры летели «чехардой» и расстояние между взлетом и падением все уменьшалось... Жуткое чувство обнимало, уже давно было ясно, что идет к концу, уже давно ощущалось, что должен рушиться тот порядок, в котором мы жили, или, вернее, тот порядок, который привел к беспорядку, в котором мы жили. Но каков будет конец? Какую форму примет он?.. В жутких предчувствиях проходили ялтинские дни. Была половина февраля. Я решил ехать домой. Друзья мои удерживали меня: «Можно ли уезжать от крымской весны? Ведь теперь начинается самое лучшее, розы, глицинии!» Хорошо помню, что я сказал: «Наступает такое время, когда каждый должен быть на своем месте»... И в этом я не ошибался. Было ли действительно мое место в Павловке, на это я и сейчас затрудняюсь ответить определенно. Но тогда я в этом не сомневался.

Числа двадцатого был в Борисоглебске и, приехав, узнал, что на другой день земское собрание. Отбыл собрание и поехал домой. Через два дня после приезда — телефон из конторы и передают мне: отречение государя. Не замедлил последовать отказ Михаила Александровича. Старый порядок кончился, он кончился в своем беспорядке...

Наступило мартовское ликование. Люди встречались, обнимались, поздравляли, предсказывали... В это время произошли земские собрания: выход старой управы, выборы новой, эсеровской. На одном из этих собраний произошел инцидент, который для меня мог разыграться неприятно. Говорили о принятии мер для безопасности уезда. Разные предложения. Вдруг голос из рядов: «Убрать немца из Павлодарской волости». Другими словами: барона Медема. Председательствующий, нотариус Арсений Кузьмич Дологов, оставляет выкрик без ответа; переходят к другому. Новый возглас:

— А вот осталось без ответа заявление относительно немца в Павлодарской волости.

— Да ведь это,— говорит председатель,— частное дело... А может быть, князь Волконский нам скажет, что он насчет этого думает?

Я встаю и говорю, что это действительно дело частное, но, по-видимому, общественное мнение придает ему значение и, хотя я считаю, что значение это преувеличенное, я, конечно, не остановлюсь перед соображениями частного характера, если безопасность требует успокоения умов. На этом кончилось. Когда приехал домой, то передал управляющему, что ему оставаться невозможно. Крикнувший «убрать немца» был, как я узнал, некий Сладкопевцев, страховой агент, один из деятельнейших агитаторов социал-революционной партии. Очень меня тогда поразил этот демагогический прием, эта бомба в толпу. На следующем собрании он был выбран в председатели земской управы. После мы познакомились, и он даже выказывал мне расположение; но тогда его выходка могла кончиться нехорошо. Я все-таки думаю, что меня хранила какая-то звезда; последующие события меня в этом убеждении утвердили.

Странные были люди господа эсеры. О том, как они ко мне относились в первое время по своем воцарении, приводил несколько случаев. В дальнейшем отношение смягчалось, и ко времени их падения мы были почти друзья: они все же льнули к тому, что культурно и не заражено духом наживы. Когда же наступил их последний час, когда их стали преследовать и расстреливать, можно было подумать, со стороны глядя, что мы всегда были единомышленники. Я думаю, что надо так дело объяснить: как князь Волконский, я был в их глазах — принцип, ненавистный принцип, но, увидав, как я отношусь к людям и как люди ко мне относятся, они начали смягчаться и понемногу простили Сергею Михайловичу, что он князь. Они отлично знали мой образ мыслей; я не только не скрывал его, но часто спорил; и тем не менее знаю доподлинно, что среди них было постановлено, что имение Павловка будет мне оставлено во внимание к доброму обхождению с крестьянами. Другой вопрос, принял ли бы я такой подарок. Но отмечаю настроение как интересный поворот. В одном из последующих земских собраний, когда поставили на

баллотировку выбор председателя, раздался голос: «Князя Сергея Михайловича». Другие голоса: «Просим! Просим!» Отказаться нельзя было. На следующем собрании то же самое. Так я, князь Волконский, владелец десяти тысяч десятин, председательствовал в двух эсеровских собраниях; они же были два последние земские собрания Борисоглебского уезда... Но не в них одних был поворот. Каюсь, и во мне относительно их тоже в известном смысле поворот, несмотря на всю мою нелюбовь к ним как к партии, к тем людям, которые сеяли, не зная, что дадут их семена. Та самая волна эсеровского насилия, которая вначале была так оскорбительна, впоследствии представилась мне прикосновением суровой, но все же воспитанной действительности в сравнении с тем, что было после. И сейчас, оглядываясь назад, приводя к общему впечатлению мои воспоминания об этих людях, вышедших из подполья Сибири и тюрьмы для того, чтобы быть расстрелянными или растерзанными тем самым народом, ради которого они несли наказания, я вижу что-то детски слабое в логике, настойчиво теоретичное в прикосновении к жизни, что-то неосмысленно увлекающееся, но в существе своем все-таки благородное, и чем ближе к смерти, тем в благородстве упорнее. Это упорство есть-то, что сохранит их в памяти потомства; не то слепое упорство, с которым они стояли на своих теориях; не то, чем они обманывали себя и обманули других. Их обман искуплен страданиями самообольщения и кровавыми испытаниями разочарования. За их теории их простят; их деятельность будет вспоминаться как тяжелый урок; но за смерть их будут помнить... Кирилл Владимирович Сладкопевцев тоже погиб. Помню, когда в качестве комиссара он сделал распоряжение о чистке и приведении в порядок острога, он смеясь сказал: «Ведь неизвестно, может быть, самому сидеть придется». И пришлось. Он сидел долго и был расстрелян осенью 1918 года...

Да, грустное явление русских умственно-политических настроений представляют эти эсеры. Вижу последнего из них, с которым встретился, того Аполлоныча, о котором дважды упоминал. Летом 1918 года — уже большевики царствовали — он в Тамбове пришел ко мне, чтобы сказать, что если понадобится укрыться, то его комната к моим услугам. В смысле безопасности это было не много, он сам был под страхом

ареста, но это было все, что он мог мне дать. Не помню, о чем я его спросил, о его намерениях ли, о том, к кому он думает присоединиться, но, помню, он ответил:

— Нет, этого я не могу; ведь там стоят на земельной собственности, а я буду говорить за национализацию земли.

— Как! После всего, что было, вы все еще будете вашу старую погудку тянуть? Вы еще верите, что в этом истина?

Он помолчал и потом в каком-то растерянном признании беспомощности произнес:

— Я уж не знаю, что истина, что не истина.

Махнул рукой, встал и ушел. Это был последний мой эсер...

«Мартовские» настроения длились недолго. Правда, народ вел себя так примерно, что в первые три недели не было в Борисоглебске ни одного ареста. Но уже на втором месяце пошло озорство, и понемножку все плотины были прорваны. Какой-то ветер безответственности дул по вольному раздолью наших степей. Все мои обращения к председателю управы Сладкопевцеву обратить внимание на порубки и потравы оставались без последствий, а при свиданьях он говорил, что нет способов воздействия...

Когда появились в газетах первые известия о погромах усадеб в соседнем Кирсановском уезде, я написал в управу просьбу о том, чтобы в мой Борисоглебский дом уже не присылали новых партий раненых. Я предвидел, что в этом домике будет единственное прибежище, куда мне будет возможно пристроиться с моими племянницами и гостившими у меня Еленой Николаевной с дочерью и сыном. Последние раненые выписались в конце августа, дом был приведен в порядок; сестрица Ольга Ивановна просила остаться в нем, пока возможно. Так кончилось мое соприкосновение с войной: лазарет, раненые. Пленные еще оставались в деревне до конца лета. Я тоже выехал из Павловки только в ноябре. О некоторых эпизодах этого последнего лета в деревне расскажу в следующей главе. А сейчас не могу не вспомнить, какое страшное впечатление — страшное по сходству с окружавшей меня современностью — произвела на

меня книга Токвиля «La révolution et l'ancien régime» («Революция и старый порядок»). Книга эта нашими «либеральными» критиками мало ценилась, даже осуждалась; ее относили как бы на задворки исторической литературы. Нахожу, что тогдашняя действительность выносит ее не только на первый план современности, но и на вершину непреложной исторической истины. Что бы ни говорили критики, жизнь сильнее личных мнений и партийных оценок. Эта книга есть французское зеркало тогдашней русской «керенской» современности. Прочитайте ее, если не читали, если читали,— перечтите.

Развал

Лето 1917 года было неприятно. Много пришлось впоследствии испытать всяких лишений, оскорблений, издевательств, но при всей их откровенной наглости эти последующие прикосновения революции были менее противны, чем то ехидное, ползучее проникание в вашу частную жизнь. Когда вы совершенно выкинуты из обычных условий, вас уже ничто не удивляет, но когда вы живете еще в своем доме, окружены своими вещами, своим хозяйством, тут вмешательство постороннего контроля не получило еще того характера беззакония, перед которым приходится смиряться как перед разбойником. Другими словами, я предпочитаю человека, который придет и скажет: «Я беру у тебя этот плуг, потому что он мой»; предпочитаю такому, который скажет: «Я предупреждаю вас, что вы этот плуг продать не имеете права, потому что он не ваш». В таком положении были мы, собственники, в течение того лета. Беспрестанно получались из волостных правлений предписания «на имя частного землевладельца такого-то» о доставлении сведений относительно количества машин, или скота, или зерна, с предупреждением, что если не будет исполнено в кратчайший срок, то будет поступлено «по всем строгостям революционного времени». Приходили с обыском для «проверки» имущества; искали оружия, но все с приличными формами, не по-разбойницки, даже говорили «ваше сиятельство». Ничего не брали, но так долго любовались висевшим в кладовке окороком, что както так вышло совершенно естественно, что им его пред-

ложили, а они его взяли. Мы жили у себя, но не были хозяевами — в своем кармане чужая рука. Продолжаться так не могло; все это положение росло на наклонной плоскости и по наклонной не могло не идти дальше. Вот чего эсеры как будто совершенно не поняли. Они думали, что устанавливают известный порядок на известных основаниях, но они упускали, что они этим самым в известном же направлении воспитывали народную громаду, будили ее алчность, толкали ее к захвату. Этого они не предвидели, но это было естественно. Когда же попустительство останавливалось на полдороге?

Расшатывание чувства собственности шло с поразительной быстротой. «Это все будет наше»,— говорили мне некоторые крестьяне, сельские говоруны. Мальчишки в саду попадались с пучками ветвей красной смородины:

— Зачем вы обломали?

— Все равно наше будет.

— Я знаю, что ваше; да зачем же вы ваше да ломаете?

И удивляло меня всегда, почему они говорят: «будет наше», почему не говорят: «это наше»? Потребовалось некоторое время, чтобы они поняли, что это легче, чем им кажется, проще, чем им рисовали эсеры. Эсеры им говорили: «Подождите, мы дадим, будет ваше». Пришли большевики и сказали: «Чего вы, дурни, ждете,— берите». Могло бы и не быть *большевиков,* а *большевизм* все равно был бы...

Здесь упомяну мимоходом, что в самом начале революции (уже был апрель, но были еще «мартовские дни») я получил телеграмму от Головина, бывшего председателя II Думы, а при Временном правительстве управлявшего наследием министерства Двора. Он предлагал мне принять управление бывшими императорскими, ныне государственными театрами. Я отказался. Во-первых, я не верил в жизнеспособность того, что начиналось; во-вторых, театр меня уже как таковой не интересовал; я уже совсем обосновался на вопросах театрального воспитания и преподавания, и заведовать театрами, «улучшать» театр, в то время как надо создавать актеров, я считал бесполезной и непочтенной тратой времени и стараний. За моим от-

казом был назначен Федор Дмитриевич Батюшков, человек тихий, скромный, образованный, но не театрального, а литературного мира и с театром никогда не имевший соприкосновения, кроме того, что он состоял членом «литературного комитета», рассматривавшего представляемые в дирекцию пьесы. После воцарения большевиков Батюшков некоторое, очень короткое время оставался, но потом вышел, написав комиссару по театральным делам очень дельное и сильное письмо. Я узнал об этом совсем случайным образом. Осенью того же 1917 года, как о том расскажу ниже, я был в казацкой станице Урюпино. Случайно увидел на столе в одном доме старый номер, очевидно, один из последних номеров «Петербургской газеты». Эта газетка всегда уделяла много места не только театральным делам, но и закулисным сплетням. Смотрю: Батюшков, его уход, его письмо. Это были уже устаревшие новости, но письмо так мне понравилось, что, придя домой, я написал ему, послал ему мое сочувствие. Вскоре после того он умер. Мое письмо я адресовал в дирекцию театров и потому имел полное основание думать, что оно могло не быть доставлено. Через два года в Москве узнал — не помню, от кого,— что Федор Дмитриевич его получил. Мы с Батюшковым были товарищи по университету; он был, как и я, учеником Веселовского по романским языкам.

Образовался у нас в Борисоглебске, как и везде, Союз землевладельцев. Председательствовал бывший председатель земской управы Николай Александрович Гусев, дельный, тихий и приятный человек. Ему и его жене впоследствии, когда был вынужден скрываться, был лично очень обязан. Союз наш действовал толково, в особенности в смысле разъяснения крестьянам приемов и условий отчуждения земли. Но под всей работой чувствовалась какая-то ненужность и бездонность. Это мне стало еще яснее, когда я попал как делегат нашего союза на московский Всероссийский съезд землевладельцев. Съезд заседал в Никитском театре. Столько дельного, практически обоснованного я редко когда слыхал в многочисленных наших съездах, комиссиях, собраниях. Редко видал и такое единодушие. Когда был поставлен вопрос о желательности или нежелательности отчуждения поме-

щичьей земли в пользу крестьян, причем несогласным было предложено поднять руку, в обширном зале Никитского театра поднялось только пять рук. И несмотря на это, все вместе оставляет впечатление какого-то истерического крика, бессильного порыва против надвигающейся стихии. Среди ораторов выделялись князь Крапоткин (конечно, не тот) и, если не ошибаюсь, барон Энгельгардт из восточных губерний. Много у меня накопилось материала тогда; вернувшись, я сделал доклад нашему собранию; но сейчас уже не помню. Странно, это мне кажется таким далеким, более далеким, чем то дальнее, о чем писал в предыдущих главах. Но помню и не могу забыть крестьянских представителей на этом съезде. Они, между прочим, были отправлены делегатами... Не знаю, почему употребляю это иностранное слово, и вспоминаю по этому поводу рассказ про одного губернатора, который говорил: «Господа, зачем иностранное слово *делегат*, когда есть русское слово *депутат*?» Итак, эти крестьянские представители были посланы уполномоченными в Петербург к тогдашнему министру земледелия Чернову. Через два дня они вернулись и рассказали нам о своей поездке, о приеме министра и о своих петербургских впечатлениях. Нельзя передать этот черноземный юмор, эту едкость оценки, беспощадность этого суда. И как все это было рассказано! Этот кусок жизни, трепещущий негодованием, можно сказать, облитый кровавыми слезами, был вместе с тем последней степенью художественной формы. Как эти люди, из деревни, которые дальше своей «губернии» вряд ли когда бывали, как могли они, попав в столицу, в кабинет министра, как могли они прочувствовать, обнять и оценить эту обстановку и этих людей и так свои впечатления передать! Вижу, как они ехали, как извозчиков на вокзале наняли, как из-за угла Знаменской их обдало дробным «пуканьем» перестрелки, как приехали в министерство, дожидались и наконец вошли к нему. «Сидит это у стола, косматый, перед ним всё бумаги, а вокруг него всё телефоны — и направо телефон, и налево телефон, и под столом телефон. И он это трубку за трубкой берет и к уху прикладывает. Одну возьмет — нет, не та; другую возьмет — опять не та. «Что такое, говорит, все не та!» Третью трубку — и опять не та. «Ну, говорит, нехай, пущай подождут». А на вопросы наши

все ничего. «Некогда, говорит, так занят, так занят...» Да чем же, говорим, заняты, коли в наше дело не вникаете? Говорит,— всей Россией занят, а не то что ваше дело. «А мы-то, говорим, не Россия разве?» Ведь встал, прощаться стал, ей-богу! А мы как обступим, да за грудки его держим, ну, он тут сказал, что даст распоряжение. А даст ли, да какое, кто его знает?..» Так хлестала народная мудрость этих проходимцев, взявших в руки народные судьбы. Они вышли из министерства, побежали на вокзал, уже не по Невскому, а «проулками», Чернышевским мостом; добежали, едва-едва поспели. Пробирались по вокзалу, мешков навалено, людей видимо-невидимо! Наконец в вагон вскочили, сели, перекреститься не успели, как тронулся поезд... То, что я передаю, есть лишь жалкое приближение, но когда я у нас в союзе на общем собрании это рассказал — народу в зале судебных заседаний было много,— нарастал и разразился такой неудержимый смех, что я был вынужден для перехода к существу доклада сказать: «Да, господа, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

В то время возникла в Борисоглебске маленькая газетка (не помню, как называлась); в этой газетке я писал по вопросам современности, обыкновенно в разговорной форме и стараясь переводить серьезные общественно-экономические вопросы на почву домашне-обывательских интересов. Дорого бы дал, чтобы иметь сейчас под рукой эти мои статьи: в них жизнь момента сказывается с большей яркостью, чем та, на какую способна моя память... Бывали рассказы и юмористические. Один из них был построен на том, что мне передала Элеонора Осиповна Гусева. Назывался рассказ «Булка».

«Софья Васильевна сидела за самоваром и шитым полотенцем обтирала ложку.

Против нее, едва видный из-за стола, сидел ее восьмилетний крестник Ванька, деревенский мальчишка. Уже с пятилетнего возраста он приходил по праздникам из деревни с «поздравлением». До переворота мать говорила ему: «Ну, Ванятка, ступай завтра к крестной барыне». После переворота она стала говорить: «Ступай, Ванятка, завтра к этой самой крестной»...

— Что же ты не в том пальтишке пришел, что я тебе подарила?

— А мать яо прадала.

— Вот как. А она мне говорила, что так тебе пальтишко нужно.

— На што оно мне, когда у меня свое было. А мать яо прадала, семь с полтиной взяла.

Он, чуть не лежа на столе, дул в блюдечко и, длинным взглядом скользя по клеенчатой скатерти, смотрел на «эту самую крестную».

— Ну что у вас на деревне нового?

— Новава ничао, а только скоро будем их бить.

— Кого это?

— А буржуев.

— За что же их бить-то?

— А за то, что буржуи.

Он усиленно жевал вкусную булку, и трудно было даже отличить, что было ему вкуснее,— булка или слово «буржуй».

— Как же вы их будете бить?

— А из ревальверта. А когда не довольно, тогда еще и спинжалом его.

Он поставил сухое блюдечко и пальцем провел под мокрым носом.

. . . .

В ту ночь Софья Васильевна видела во сне, что, кушая булку, она накололась на кинжал»...

Большего не помню. Помню лишь, что в словах мальчика слово «буржуй» проходило во всех падежах. Рассказ этот, как сказал, списан с натуры. Он рисует атмосферу и разговоры, среди которых росли тогда крестьянские дети...

О тогдашние разговоры! Ведь вся Россия говорила: город говорил, деревня говорила, вокзалы говорили, в вагонах заснуть нельзя было, потому что вся Россия говорила. И что за нечесанные речи! Обо всем, специальностей не было, всякий обо всем. Хотелось бы и теперь послушать некоторых из наших говорунов. Один, косивший у меня в парке, сказал мне, значительно покачав головой: «Мы что, а вот послушайте, сын мой приедет, вот говорит так говорит»... И вот приехала эта птица в защитном цвете и в папахе. Наслышался я тогда всяких «контактов» и «продук-

тивностей». Удивительно, как человек думает, что он поумнел, оттого что употребляет слова, которых не понимает. От времени до времени ссылка на авторитет: «Про это хорошо сказала Брешко-Брешковская...» Что сказала, я, разумеется, не помню; ведь для этих людей цитировать имя важнее, чем сама цитата. Другой был Андрей Кованев села Посевкина. Он был из числа деятельных, участвовал в комиссиях, куда-то к сроку поспевал, из тех, которые думают, что без него если не Россия, то уезд, во всяком случае, пропадет. Он меня почему-то выбирал жертвою своего красноречия, и все у него возвращалось, что он принимает меры, «а то боюсь, как бы у нас не вышел конфеликт на почве аграрных беспорядков». Очень ему нравилась эта закругленная фраза, но предотвратить он не сумел. Во всей России самая ужасная губерния была Тамбовская, во всей Тамбовской губернии самый ужасный был Борисоглебский уезд, и во всем уезде самый ужасный наш околоток: имена Мучкапа, Алабух и станции Волконской впоследствии я читал уже в Москве как место действия самых кровавых «конфеликтов».

Был еще другой Кованев, Владимир, славный малый. Он все смотрел и умилялся, как я подстригаю деревья и кусты.

— И для кого вы трудитесь? Ведь смотреть жалко. Сами ведь уже не увидите.

— Я не для себя, я для красоты.

— И кто только после вас стричь будет?

— После меня уже не стричь, а рубить будут.

И до последнего дня я подстригал и подчищал, и до последнего дня Франц и Людвиг расчищали фруктовый сад, так что волостное правление всполошилось: не хотело верить в бескорыстие такой работы — что-нибудь тут неспроста... И до конца все в парке продолжалось, как будто готовилось к будущему лету и к будущим годам...

Прощания настоящего не было: к чему дальние проводы? Одно, впрочем, было прощание тягостное: когда я спускался по ступеням моей итальянской залы в нижнюю часть, туда, где по полкам стояла моя библиотека, каюсь, у меня дрожали колена. Обходил книги и прощался. Тут была вся богословская библиотека моей матери, была моя библиотека по театральному воспитанию, думаю, единственная в России...

На каждой книге надпись: где, когда приобретена... Подходил, просматривал, клал на место. Почему я с ними прощался? Не было основания; о национализации книг в то время не было речи, а о том, что они будут в качестве «народной собственности» на базаре продаваться, могло ли в голову прийти. Но я прощался со своими книгами... Библиотека ниже уровня земли, и высокая и глубокая комната погружена в молчание; фортепиано открыто; мраморный бюст мадонны желтой белизной вырисовывается на темном дубе библиотеки; из южных окон два луча падают в нижнюю часть комнаты на круглый стол, и пламенеет под ними букет красных георгин...

Когда ясно стало, что все прахом пойдет, стал думать: что сделать с теплицей, чтобы растения не погибли? Решил устроить в Борисоглебске базар в пользу одного там ремесленного училища для девочек. В это училище я часто ходил, занимался с девочками, читал им; школа эта меня интересовала; надзирательница, Вера Ивановна Скрынникова, влагала много разума и сердца в руководительство этим заведением. Попросил городского голову Козловского выхлопотать мне разрешение на пользование городским бульваром в течение трех дней для устройства благотворительного базара. Разрешение было дано, с охотой даже. Так как жара была страшная (июль месяц на исходе), то растения перевезли ночью. В пять часов утра разбудил меня топот по доскам мостика; вскакиваю — десять, двенадцать подвод под предводительством Франца и Людвига, и на них знакомые фикусы, пальмы, агавы и прочее тропическое население моей павловской теплицы. Как раз в это время в больнице у меня была целая партия легкораненых, а многие просто с недомоганиями. Всех заинтересовала разборка, переноска и расстановка растений. Бульвар был против моего дома, даже в заборе в этом месте калитка. Целый день проработали и превратили этот бульвар уездного города прямо в кусочек Ниццы. Лоханку фонтана разукрасили висячими настурциями и геранями, в киоске устроили продажу живых и сушеных цветов. На другой день девочки-«ремесленницы», каждая с ножницами, с пачкой купонов, явились в шесть часов утра, чтобы полить, подвязать, подмести. «Пра-

здник цветов» удался на славу. Все раскупили, только самые большие деревья остались; их поставили в городскую управу. Девочки были в восторге и поднесли мне своей работы скатерть, а Францу и Людвигу, как ходившим за растениями, привезшим их, подарили одному — полотенце для его невесты, другому — салфеточек для его дочерей... Так кончила, добровольно и красиво, свое существование павловская теплица...

Жизнь в деревне становилась все менее приятной. К осени она сделалась трудновыносимой; начали подумывать о переезде в город. Жаль было уезжать: осень как будто сознавала, что она последняя. Такой раскраски не видал еще; такого предсмертного лиственного пожара не помню. И все звучали в голове строчки Тютчева:

«Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья».

В природе было все то, чего в жизни окружающей уже не было: ни кротости, ни разумности, ни возвышенности, ни стыдливости уже не было в окружающей жизни. И тем дороже была природа, от которой уходил...

В то лето еще можно было продавать — имущество еще не было окончательно взято на учет. Был продан хлеб, были проданы кое-какие запасы материала, быки, автомобили. Собравшуюся от этих продаж сумму я решил отвезти в Новочеркасск, с тем чтобы положить в тамошнее отделение Волжско-Камского банка. С директором Борисоглебского отделения, Павлом Николаевичем Аносовым, я был хорошо знаком. Здесь кстати упомяну, что жена Аносова, Варвара Ивановна, была сестрой известного Муралова, командовавшего большевистскими войсками в Москве, но не была большевичкой. Высокое родство не послужило ей в защиту, и борисоглебские большевики впоследствии ее выставили из помещения банка с такой поспешностью, что пришлось вещи вынести на улицу; к счастью, погода была не дождливая... Аносов снабдил меня письмом к своему новочеркасскому товарищу; одна добрая знакомая зашила мне квитанцию в рукав

рубашки, и в начале октября я поехал. В первый раз я совершил тогда длинный переезд в теплушке; в первый раз видел, во что превратились наши станции: море солдатских шинелей и мешков. В особенности поразила меня станция Лиски. Я уже раньше видел такую картину завоевания орудий транспорта солдатами. Это было в Грязях, когда я ехал на московский съезд землевладельцев. Я стоял в ожидании поезда, смотрел в открытую арку. Вдруг появилась эта громада и тихо вкатывалась под навес; это был поезд, как будто захваченный солдатами: на платформах, на буферах, на крышах,— всюду солдаты. И на локомотиве с обеих сторон паровика два солдата, как аллегорические фигуры, являли картину военного захвата. То было время, когда царствовали шинель и семечки...

Новочеркасск — милый город; я испытал новое, в Борисоглебске уже непривычное впечатление беззаботной толпы, кофеен, кишащих народом, праздного на бульваре гулянья... Я приехал ночью и попал в маленькую гостиницу, кажется «Америку». Комната такая грязная, что раздеваться было страшно. Только завалился после двух теплушечных ночей, как слышу невозможный говор из коридора. Встаю, думаю, пойду упрашивать, чтобы потише. Стучусь, вхожу: три офицера сидят, перед ними закуска. Только начал излагать свою просьбу,— услыхали, что я путешественник издалека: «Вы устали, проголодались; садитесь с нами выпить, закусить». Такой неожиданный оборот приняла третья ночь моего путешествия... Я успел устроить свои дела в банке, как вдруг известие, что Ростов взят, что путь на Харьков занят. Мне оставалось одно только: возвращаться через Царицын. Мои офицеры отговаривали, утверждали, что опасно, но, увидя мое непоколебимое решение, советовали по крайней мере не брать с собой никаких бумаг. «У вас отберут,— сказал один из них,— отдайте мне, я сдам матери в станицу на хранение». Ничего ценного у меня не было, но были как раз экземпляры тех газетных статей, о которых упоминал. Этого офицера я впоследствии еще раз видел. Когда я был в Урюпине, куда скрылся от борисоглебских неистовств, мне однажды говорят, что на кухонном крыльце меня спрашивают.

Выхожу и, к удивлению моему, вижу моего новочеркасского знакомого. Он был в тулупе, бледный, испуганный, трясся. Он должен был бежать; узнал, что я в Урюпине, зашел и в тот же вечер намеревался ехать дальше; он пробирался в Сибирь. «А ваши рукописи у моей матери» — были последние его слова...

В вагоне по пути в Царицын я познакомился с двумя офицерами, казаками из Урюпина; они ехали домой; до Поворина нам был один путь. От них я узнал, что в станице Урюпинской не так скверно живется,— гусь стоит три с полтиной, и я решил, что, если плохо будет в Борисоглебске, уеду с моими дамами «к казакам». На одной из станций, предшествующих Царицыну, вдруг встречает нас из уст в уста переходящий слух: «В Борисоглебске разгромили винные склады». На следующих станциях уже несколько пьяных, а в Царицыне уже отвратительная картина солдат, шатающихся в шинелях нараспашку, с папахами, свалившимися на ухо, и с папиросками во рту, останавливающихся перед нашими двумя офицерами в глумительно вызывающих позах. Ну, думаю, какой меня ждет в Борисоглебске приезд... Из Царицына пошел вагон четвертого класса, нары в три ряда... В Поворине простился с моими спутниками...

Поезд должен был приходить вечером — мы приехали ночью. Вы не можете себе представить, что был этот вокзал, эта пьяная оккупация. Это море шатающихся шинелей, эта неприкрытая, уже ничего не стыдящаяся наглость людского стада. Я пробирался сквозь толпу с саквояжем в одной руке, с пишущей машинкой в другой. Почему меня не обобрали? Звезда... Выхожу на крыльцо — ни одного извозчика. Грязь, черноземная, непролазная грязь, и все-таки надо идти. До дому по крайней мере две версты. Калоши вязнут, чмокают в грязи. Навстречу попадаются или обгоняют меня какие-то человеческие тени, то шатающиеся, то от чего-то спасающиеся... Темно, вязко, тяжело идти, а над темным городом от времени до времени дробный сухой треск ружейного залпа... Попадаются навстречу мне трое каких-то, тоже торопятся, кричат мне: «Куда идете? В город нельзя, там стреляют. Идите на вокзал». Я им не сказал, что на вокзал может идти только тот, кто там еще не был. Иду дальше, с трудом продвигаюсь. Наконец дохожу до того

места, где асфальтовый тротуар,— легче идти; останавливаюсь, чтобы дух перевести и оттянутыми руками помахать. Смотрю вокруг себя: на асфальте бумага, битое стекло, пустые коробки; магазинные окна выбиты. Был, значит, погром. Иду дальше — на углу улицы три солдата стоят, на меня смотрят. Слышу, один из них говорит: «Вот еще один идет». Я продолжаю идти; тем временем один из трех оставляет своих товарищей, уходит. Иду на них, они ко мне:

— Вы откуда?

— С вокзала.

— С вокзала?

Большое недоверие почему-то прозвучало в этом переспросе. Стали осматривать меня, даже пальто мое распахнули. Я начал замечать, что имею дело не со злоумышленниками. Но вместе с тем, кто же они? Милиционеры? У них на рукаве нет красной повязки...

— Ну, идите себе. Уж видать, что вы ничего.

— А вы кто будете?

— А мы милиционеры. Только повязки сняли, а то все хулиганы...

— А товарищ ваш что же ушел?

— Да просто-напросто испугался. «Довольно, говорит, я их сегодня насмотрелся»... Ну, вот что. Вы приезжий; так видите вон тот большой дом? Это гостиница «Европейская». Наш вам совет: ступайте вы в гостиницу, возьмите номер и из номера не выходите.

Ну, если вы думаете, что я до гостиницы дойду, то дойду и до своего дома; это от гостиницы через дом.

Пошел и, чтобы не стучаться в ворота, не навлекать внимания, перебросил вещи через забор палисадничка, сам стал на скамейку и перескочил через забор. К счастью, никто не видел. Бросился в дверь стучать, Ольга Ивановна вышла, отворила. Она ахнула. Я свалился на стул. В груди у меня колотило, в горле пересохло. Не мог говорить. Ольга Ивановна сварила кофею на машинке. Я выпил кофе, уже без сахара; отошел и стал слушать ее рассказ.

На другое утро повестка из управы: экстренное заседание санитарной комиссии по случаю разгрома винных складов и вызванного тем пожара в соседнем

лазарете. Прихожу. Весь санитарный Борисоглебск в сборе. Ждут председателя Сладкопевцева. Сладкопевцев приходит и говорит, что так занят, что никак не может председательствовать; предлагает выбрать в председатели меня. Отказываюсь, говорю, что провел ночь в вагоне четвертого класса и пр. «Просим, просим, мы все не спали эту ночь». Принимаю, объявляю заседание открытым.

Да, я понимаю, что люди не спали. Кто не слышал этих рассказов, не может представить себе, что такое погром винных складов, что такое это алкогольное большевистское крещение. Цистерны и бочки пылали, и толпа, несмотря на это, черпала, пила и упивалась. Мужчины, женщины, дети, старухи — все хотели своей доли праздника. Выказывали такое презрение к опасности, что оно граничило с храбростью; только не храбрость то была, это было опьянение; они были пьяны раньше, чем пили, они были пьяны от желания. Взлезали на край цистерн, припав грудью, пили. Были случаи, что падали в горящий алкоголь; на поверхности плавал жир человеческий, а они все пили. В ведрах уносили горящую жидкость, на землю ложились, мокрую землю сосали... Горячие ведра не могли нести, садились на них, чтобы потушить. Утром лазареты были переполнены людьми с однородными ожогами таких частей, которые вообще не имеют случая прикасаться к огню... Рядом со складом и отчасти даже в том же доме помещался лазарет для раненых. Солдаты, давно целившиеся на вино, с негодованием говорили: «Ишь, подлецы, нарочно лазарет к винному складу пристроили. Ну да мы все равно доберемся». И добрались. Говорят, это было не без попустительства со стороны командира полка. И вот санитарному составу пришлось спасать и выносить раненых. Здесь были акты геройства. Времени было так мало, что думать о чем бы то ни было, кроме больных, нельзя было, и сестрицы бросили все свое имущество на произвол огня. Я в жизни не забуду этого заседания. Женщины сквозь слезы говорили, а мужчины слушали и плакали. Мне выпала на долю тяжелая задача подавить собственное волнение, выразить от имени собрания и присутствующих граждан благодарность сестрам милосердия, проявившим высокие стороны человеческого духа, в то время как вокруг нас подымались человеческие низы...

После винного погрома в Борисоглебске, так мне казалось, нельзя было оставаться. В Павловке тоже трудно было. Волостной контроль начинал принимать оскорбительные размеры. Кроме того, стало небезопасно. Появился в окрестностях некий Чурилов, разбойник, который наводил грозу на всю округу. В семи верстах, в усадьбе бывшей генерала Бунина, где жила его дочь с мужем, он убил мужа и, заставив жену молиться перед смертью, выстрелил ей в плечо. Я навестил ее на другой день. Жалко было смотреть на эту раненую женщину в доме, где был покойник. Мы в Павловке стали заставлять нижние окна досками. От колокола, который бил часы, была проведена целая сигнальная сеть веревок. Может быть, и даже наверно, это было несерьезно, но по всей округе пошел слух, что Павловка неприступна, что там всюду электрические провода. Тем не менее лучше было уезжать. В первых числах ноября я выехал в город, а на следующее утро — в казацкую станицу Урюпино.

Я поместился сперва у псаломщика, в очень плохих условиях. Они жили вдвоем, муж с женой, и еще один офицер казак, Дмитрий Миронович. На всю нашу компанию был один лишь умывальник, и тот стоял в столовой. Но мы чувствовали одинаково, можно было говорить свободно, а это было такое преимущество по тем временам, что мирило со многим. Для дам моих я нанял дом дьякона за тысячу рублей, дом без всякой обстановки, но ничего другого не было. Обзавелся дровами и стал ждать. К счастью, они не переехали: Борисоглебск стал успокаиваться. Не могу себе представить, как бы в этом доме они могли жить. Впоследствии я переехал в хороший дом неких Миримановых; здесь имел две комнаты. Приехал даже ко мне из Павловки мой «камердинер», беженец, белорус Димитрий. Хозяйка моя, Ольга Димитриевна, была приятная, серьезная дама; две маленькие дочки и незамужняя сестра, Раиса Григорьевна. «Тетя Рая». Сия особа при всех своих достоинствах была менее серьезна и в урюпинской глуши все рассказывала о своих успехах в других местах...

Урюпинское житье было не без приятности. Люди хлебосольные, и хлеба и соли в то время там еще было много, судя по тому, например, что в том доме, куда я был приглашен под Новый год, на столе было целых два гуся, один жареный, другой копченый...

Гостеприимный дом был атамана Демидова. Почтенная добрая жена, кажется, очень несчастная. Ее мать была старушка, впавшая в детство, сын был слабоумный, дочь, кажется, была только по части завивания волос. В супруге атамана было что-то высокое, как всегда во всяком невысказанном страдании. Этот Демидов впоследствии бежал с одной графиней Бобринской...

Богатый владелец консервной фабрики Лившиц с женой. Жили хорошо, имели великолепное молочное хозяйство; таких вкусных молочных продуктов я никогда не едал; неожиданно было в Урюпине найти французскую литературу, французский юмористический журнал, французские романы; это было не только неожиданно, но для меня уже ново. Большая консервная фабрика Лившица еще до большевистского владычества должна была прекратить производство за отсутствием жести для консервных коробок. Любопытно, что, когда воцарились большевики, они сказали хозяину фабрики, которому предлагали быть заведующим своей бывшей фабрики: «Ну если жести нет, отчего вы не сделаете деревянные коробки»...

Лившиц, мой хозяин Мириманов и еще несколько человек затеяли заняться огородничеством. Предвидя надвигающееся оскудение, они облюбовали пустое место за городом и решили обработать его на началах добровольного труда. Должны были работать жены, дети. Обратились за разрешением. Что такое? Частная инициатива? Спекулятивные цели?.. Лившиц намеревался со мной заниматься английским языком. Я уже давал уроки английского одной нашей соседке, мать которой была дочерью священника в знаменитой кочубеевской Диканьке. Много знакомых имен проходило в ее рассказах... Ее дочь была странная, взбалмошная особа; разведенная, с маленькой дочерью. Когда и в Урюпине возглавились большевики и однажды все дамы почему-то решили, что надо им переодеться и бежать, эта особа объявила, что и она последует общему примеру, но пусть никто не смеет думать, что она из боязни бежит,— она бежит единственно из того, чтобы ее дочь не могла когда-нибудь упрекнуть ее в бессердечии...

Приехал и через несколько дней был вынужден бежать симпатичный, даже обаятельный генерал Потоцкий. Его жена прелестно пела; мы успели провести

два приятных вечера. Впоследствии большевики урюпинские пустили слух, что Потоцкий расстрелян, слух, который в залах заседаний вызывал взрывы рукоплесканий, но тем не менее был совершенно ложен: Потоцкий жив и сейчас в Сербии...

Еще были в Урюпине некоторые случайные встречи. Один человек меня на улице остановил — сын местного портного, бывший на румынском фронте в санитарном отряде моего брата Петра; принял меня за брата... С одним пленным чехом играли в четыре руки Брамса и Дворжака. Одного офицера встретил, который был адъютантом Каледина и даже сопровождал его, когда он шел на свидание с Керенским, и даже спас его от покушения в коридорах Зимнего дворца... Наконец, часто бывал у Власова, моего железнодорожного спутника, того, которому был обязан первыми сведениями об Урюпине. Он был женат; с ним жили родители жены, брат, маленькая сестра — большой гостеприимный дом. В последние дни моего пребывания там он бежал. Слышал после, что жена, беременная, поехала за ним, но уже не застала — он был расстрелян...

Мирное житье в Урюпине не долго продолжалось, в начале января уже были большевики. Как везде, так и там они начали с того, что, прежде чем ограбить жителей, объявили обложение на расходы по содержанию советских учреждений. Кто не платил, тех они сажали, брали измором. Получил и я повестку явиться на заседание, и, кажется, даже сумма обложения была проставлена. Я выждал удобной минуты и заявил, что мое обложение, вероятно, недоразумение; по-видимому, меня считают собственником; между тем если бы я был собственником, то я бы не был здесь. Мои доводы подействовали — меня не облагали. Но меня не оставили в покое. Пришли с обыском, искали пулеметов. О, эти пулеметы! В Павловке их у меня искали, в Урюпине искали, в Борисоглебске после тоже искали... Мои две комнаты перевернули вверх дном. Ушли... Через день тот же самый человек приходит снимать допрос: цель приезда в Урюпино, знакомства, семейное положение и так далее, и так далее... Ушел. Однажды мне говорят как достоверное, что решено меня арестовать. Чтобы выяснить это не-

определенное положение, я взял да и пошел к ним прямо в ревсовет. Сидит в шинели и папахе, семечки грызет. Говорю:

— Я такой-то. Слышал, что меня арестовать хотите, так я пришел.

Я увидел такое изумление на лице, которое вполне объяснило отсутствие какого бы то ни было ответа на мое заявление. Я продолжал:

— Так как я живу в семейном доме, а аресты всегда бывают ночью, то я предпочел, чтобы домашних не беспокоить...

— Да нет, нисколько... во-первых, вовсе не ночью, а потом, у нас и не было намерения... мы относительно вас...

И вдруг, обращаясь в раскрытую дверь соседней комнаты:

— Иван Семеныч!

Входит другой, в шинели и папахе, тоже семечки грызет.

— Вы знаете, кто это?.. Это князь.

Второе изумление, уже вдвоем. Кончилось тем, что меня уверили, что против меня не имели никаких намерений.

— Очень рад слышать,— сказал я.— Вы знаете мой адрес, я же даю слово, что не удалюсь из Урюпина, не предупредив, и не выеду, не испросив пропуска.

Когда я выходил, уже на улице подошел ко мне один в папахе, которого я прежде заметил на том заседании, где обсуждалось обложение,— долго тогда почему-то на меня смотрел. Теперь вышел за мной и подошел:

— Вы, того, только политикой не занимайтесь.

— Да я никогда не занимался.

— Ну вот.

Мы прошлись по базарной площади. Он из Петербурга, по фамилии Захаров:

— Я ведь хорошее воспитание получил; я воспитывался в семье очень высокопоставленного чиновника.

— Что же, говорю, не все, значит, буржуи плохи?

— Ну понятно... Через них образование получил... Так вы, того, политикой-то не занимайтесь.

Я хорошо почувствовал, что у меня объявился какой-то неизвестно за что покровитель.

Больше меня не беспокоили. Это было в конце января; 4 февраля должна была состояться в Борисоглебске свадьба моей второй племянницы, княжны Марии Григорьевны Волконской, с Михаилом Павловичем Толстым. После данного мной слова я не мог сейчас уезжать. Свадьбу сыграли без меня... Выждав две недели, я отправился туда же, в ревсовет, просить пропуска на выезд в Борисоглебск. Затруднений не делали. За длинным столом сидели шинели и папахи, в том числе и мой Захаров. Когда мне передавали документ, он крикнул уходившему писцу: «Проведите через исходящие!» Я понял, что он считал важным, чтобы о моем разрешении на выезд остался официальный след. Недоумеваю и всегда буду недоумевать. Но перед отъездом из Урюпина я бросил в почтовый ящик письмо на имя члена ревсовета, товарища Захарова, в котором выражал сожаление, что не имел случая на словах выразить ему признательность за внимание, от него *исходящее*.

Вспоминаю Урюпино с удовольствием. Длинно, низко расползшееся село. Впрочем, тамошние любят, чтобы говорили «станица», не «село». Большие, снегом занесенные пустыри, говорят,— площади. И среди этого огромное трехэтажное здание кадетского корпуса, где при мне плясали, а после меня было столько боев и столько погибло юных жизней... Говорят, летом в Урюпине неплохо: есть поблизости лес, есть купание. Но я помню только в снежном захолустье маленькие домики. Но и там жизнь и даже жизнью выработанное разнообразие. По крайней мере, когда я спросил моего хозяина псаломщика, который из кинематографов, или, как у нас там называли, который из иллюзионов лучше: «Художественный» или «Модерн»,— то он ответил, что оба хороши, но только публику разве можно сравнить: «Ведь в «Художественном» только посмотрите какая публика! Ведь это все сплошь шляпки, горжетки, шляпки, горжетки...»

Дважды приезжали навестить меня мои борисоглебские дамы, Елена Николаевна и старшая племянница Лизет. Приезжали они не без риска, проскакивая во весь дух через села заведомо большевистские. Но старый кучер Петр был испытан и предан; к тому же его дочь была замужем в Урюпине, а сын Павел гостил у сестры. Приезд моих дам вносил оживление

не в одну мою жизнь, но и в жизнь домов, с которыми был знаком. Отъезд их оставлял за собой приятные и в то время уже ценные вещественные доказательства их приезда, вроде мешочка белой муки или иного лакомства. Так получил я последнюю баночку павловского вишневого варенья...

Хочу, прежде чем расстаться с Урюпином, вспомнить один случай. Когда приходили ко мне с обыском, у моей хозяйки, Ольги Григорьевны Мирimановой, был званый чай, очень хороший, парадный чай; это был даже последний на моей памяти настоящий большой, с булками, с вареньем, с печеньями чай. Приход этих людей со штыками, с красными кокардами произвел, конечно, большой переполох, и одна дама, нарядная дама в черном бархатном платье, сочла уместным лишиться чувств. Пока мои комнаты переворачивали наизнанку, ее откачивали, отмачивали и растирали. Когда ушли представители этой прелестной власти, она вышла из спальни, держась за виски. Муж, офицер, поддерживал возвращающуюся к жизни супругу... Когда я был там, в большевистской канцелярии, насчет разрешения на выезд — мое удивление! Кого я вижу заседающим среди шинелей и папах? Мужа нашей впечатлительной дамы. Пока я дожидался бумаги, он вышел ко мне, щелкая семечками:

— Вы что же, в Борисоглебск на время или останетесь?

— Не знаю, как поживется... Как здоровье вашей супруги? — осведомился я. — В последний раз, что мы виделись, она была так нездорова...

— Она у меня очень нервная.

— Ну, я думаю, она успокоилась, с тех пор как вы здесь...

Я выехал вечером. Поезд так был нагружен, что я только по мерзлым буферам мог взлезть. К счастью, свой мешок и пишущую машинку я догадался связать веревкой, так что мог их держать в одной руке, а другой сам держаться... На станции Алексиково, где перемена поезда, имел последнее видение «тети Раи», которая возвращалась домой после поездки на свой бывший хутор... Сколько лиц, канувших в вечность...

Когда я вошел в свой борисоглебский домик, я не узнал его. Все лучшее, что было в Павловке, было раз-

мещено в маленьких комнатах моего бывшего лазарета.

Картины по стенам, ковры, вазы с цветами, мебель карельской березы, семейные портреты... В большой угловой комнате, окнами на юг и на запад, устроили гостиную; там стоял мой «Бехштейн». Тут же была наша столовая, и тут же я спал... Все это мои дамы перевезли; каждую вещицу сами обвязывали, укладывали. Крестьяне, надо сказать, всегда лично ко мне хорошо относившиеся, не препятствовали вывозу вещей, и все попытки задержать обоз в пути разбивались о пропускной лист Павлодарской волости.

Последующее борисоглебское житье протекало в пекле революционного брожения: обыски, аресты, расстрелы, беспокойные дни, непокойные ночи. Мой дом стоял, как вы помните, через дом от Европейской гостиницы; между нами была земская больница и тот кинематограф, где когда-то я устроил спектакль, а теперь происходили митинги. В гостинице разместились самые страшные очаги революционной власти: ревсовет, конфликтная комиссия, впоследствии чрезвычайка, и, наконец, с балкона свесился красный флаг и на нем черный якорь — знамя морского штаба в сухопутном городе Борисоглебске. Саженях в трехстах был острог, и в версте — свальная яма, служившая местом расстрелов; залпы были слышны. В таком приятном соседстве протекали наши борисоглебские дни. И если теперь, закрыв глаза, припоминаю эти два месяца, — знаете, что встает в памяти? Живые картины, костюмы, балетные постановки, репетиции, концерты, пантомимы. Какое-то художественно-благотворительное поветрие носилось над нами рядом со злобно буйствующим хулиганством. Утром панихиды, вечером оркестры; в острог пища посылалась, и в то же время готовился буфет для благотворительного концерта; шились платья для сирот, и тут же кроились костюмы. Когда пришли ко мне с первым обыском, я был на репетиции в Народном доме, за мной прислали; бросаю репетицию, прихожу — штук шесть чинов революционного комитета и с солдатами.

— Какое ваше отношение к Чикаревскому?

А Чикаревский, племянник того охотника, о котором рассказывал в одной из предыдущих глав, третий день сидел в тюрьме, и мы накануне послали ему пищи.

— Какое отношение? А вот посмотрите на стене.

На стене висела афиша того спектакля, с репетиции которого меня вызвали. Среди номеров значились «Живые куклы»; участвующие: Куколка, Петрушка, Негр; Негр — Чикаревский.

— Вот мое отношение к Чикаревскому.

— По постановлению революционного комитета вы арестованы.

Пока я собирался, а они собирали мои бумаги, один из них, развалившись в кресле с папироской в зубах, указывая на афишу, сказал:

— Зачем это *князь* Волконский? Теперь нет князей, все свободные граждане.

— Ну и везите, — сказал я, — свободного гражданина под арест.

Арест, положим, был не очень страшен. Взяли с собой какие оказались бумаги, посадили меня в автомобиль и повезли в Европейскую гостиницу. Здесь просмотрели бумаги, письма, телеграммы и через полчаса отпустили. Среди бумаг была телеграмма о том, что Павлодарская волость основывает больницу и просит назвать моим именем; произвело некоторое впечатление. Был кусочек бумаги, на котором адрес моего брата Петра.

— У вас брат есть? Где он?

— В Киеве.

— Что он там делает?

— Застрял, а что делает, не знаю. Он во время войны заведовал санитарным отрядом на румынской границе.

Услыхав это, один из «товарищей» воскликнул:

— Как! Заведующий санитарным отрядом? Я его знаю, я у него служил. Меня княгиня конфетами угощала.

Через полчаса я был опять дома. Репетиции наши возобновились; Чикаревскому нашли заместителя.

Это был интересный спектакль, в пользу бывших земских служащих, оказавшихся выкинутыми на улицу. Какие затруднения! Уже профессиональные союзы вмешивались, ставили свои требования. Красноармейцы стращали; моему камердинеру Дмитрию, который пошел служить в красноармейскую столовую, было заявлено: «Скажи князю, что если он на афише

пропечатается князем, то будет арестован». Ходили слухи о том, что во время спектакля будет произведен поголовный обыск. За два дня до спектакля, как мне передавали, было заседание бывших земских служащих, чтобы решить, быть ли спектаклю или не быть, — такие носились зловещие слухи. Перед поднятием занавеса приходил ко мне Сладкопевцев, с которым окончательно установились хорошие отношения, просит меня не выходить на сцену: решено в меня яйцами кидать. (Вы видите, что дело было в такое время, когда яйца были еще дешевы.) Были ли слухи преувеличены или ввиду исключительной удачи спектакля не посмели вмешаться и прервать, только вечер прошел без задоринки, и единственное, что полетело на сцену, — пучок подснежников моей племяннице, изображавшей Куколку. Этот спектакль происходил в Народном доме — полторы тысячи человек зрителей. На генеральную репетицию привели из городских и пригородных школ больше полутора тысяч детей.

Из программы не могу не упомянуть три номера. Они действительно были удачны и могли быть показаны где угодно. Прежде всего «Живые куклы». Конечно, сколок с «Петрушки» Стравинского: у Куколки роман с Петрушкой, а Негр ревнует. Они сперва появлялись на ящиках, под музыку «табакерки» дрыгали; иногда они увядали, тогда я вскакивал от фортепиано, кидался на сцену, заводил их ключом (за сценой в это время вертели трещотку), они выпрямлялись, музыка и пляска возобновлялись. Но вот начинаются «глазки» между Куклой и Петрушкой. Негр кипятится. Он очень живописен: шитый халат, чалма с павлиньими перьями, огромная кривая сабля. Понемногу страсти разгораются, они забывают, что должны изображать кукол; они сходят со своих мест, они моей команды не слушают. Я обращаюсь к публике, говорю, что утратил авторитет, и прошу разрешения «предоставить им полноту власти», хотя и не ручаюсь, что из этого выйдет. Начинается драма любви и ревности: преследование, сабля из ножен, валяние в ногах, распущенные волосы, бегство двух соперников за кулисы, отчаянная мимика Куколки, и наконец выходит Петрушка, спотыкаясь, едва передвигая ногами: у него конец сабли торчит из груди, а рукоятка из спины. Он падает к ногам возлюбленной. Плач неутешной подруги над трупом милого дружка.

Но сквозь похоронный марш проступают, как капельки, нотки «табакерки»; она начинает подрыгивать, утирает слезки и, махнув публике платочком, припрыгивая уходит со сцены. Петрушка тоже просыпается от знакомых звуков, возвращается к жизни, поднимается и приплясывает вслед за ней. Негр — за ними. Все хорошо, что хорошо кончается. Все это было исполнено в строгом согласии каждого движения с музыкой, с безупречной ритмичностью. Успех был большой. Конечно, сказали, что относительно полноты власти это я подстроил, чтобы показать, что, переданная народу, власть ведет к убийству. Подстроил или не подстраивал — это другой вопрос, а ведет ли к убийству или не ведет — это опять другой вопрос. Но во время спектакля вопросов не решали, а от души смеялись: эстетика победила политику...

Другой номер была инсценировка «Как хороши, как свежи были розы». В темной комнате, освещенной свечой на столе, лунным светом из морозного окна и красным пламенем камина, я сидел, гримированный под Тургенева, и говорил эти удивительные тургеневские слова. Когда доходил до того места, где: «И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома», — раздвигалась стена и представала картина: он стоял перед окном в костюме онегинских времен, она сидела у окна, «опершись на выпрямленную руку, и долго и пристально смотрела на небо, как бы выжидая появления первых звезд»... Световые эффекты были восхитительны: земский техник устроил при помощи деревянного корыта реостат, так что действительно было видно, что «летний вечер тает и переходит в ночь»... Видение кончалось, когда рассказ возвращался к действительности. Когда доходило до слов: «Встают передо мной другие образы», — раздвигалось другое место стены, и там за чайным столом картина «семейной деревенской жизни». Мать сидела за самоваром, в сторонке «две русые головки», и «руки их сплелись», «а в глубине уютной комнаты» на клавишах картонного пианино лежали «другие, тоже детские руки», в то время как за сценой ланнеровский вальс, к сожалению, заглушал «воркотню патриархального самовара», чтобы из публики его было слышно...

Третий номер, о котором хочу сказать, — живые картины «Стрекоза и Муравей». На фоне темно-синего коленкора дверь — крыльцо жилища Муравья.

В дверях, к притолоке прислонившись, в ермолке, с трубкою в зубах — Муравей. Муравьиха, красивая, дебелая, с засученными рукавами, в корыте белье стирает. За ними видна кухня, посуда, под потолком на веревочке детское белье сушится. По ступеням крыльца штук восемь «муравьят» впихивают куль муки. Направо и налево от крыльца толпа подростков и детей смотрят, как перед крыльцом смуглая цыганочка с гитарою в руках, с кольцами в ушах, с монетками на лбу — поет. Это Стрекоза. Можете сами догадаться, как в соответствии с текстом при каждом новом подъеме занавеса картина менялась. Все картины сопровождались балалайками — оркестр гимназистов. Участвовало человек двадцать детей. Они великолепно исполняли все им показанное, очень полюбили репетиции и заслужили много похвал. Одна из девочек должна была выбыть: были расстреляны ее отец и брат... К этим картинам я приделал конец, как сказал публике: «то, чего у Крылова нет». Дверь жилища Муравья заперта. На сцене никого, кроме Стрекозы. Она свалилась на ступени, гитара поперек колен. Лунный свет, а вместо веселых балалаек за сценой хор поет с закрытым ртом, и во время пения начинает падать на нее снег. Три раза требовали повторения этой картины; всякий раз пение становилось заунывнее, а снег падал гуще... Да, наш спектакль удался. Все, что я вам рассказываю, было совсем не просто, даже очень сложно, но отлично слажено и проведено с той преданностью делу, при которой только и возможен театр. Не забуду милого нашего земского техника Васильева. Он изнемогал от труда и трудностей; он сказал мне, что никогда в жизни не возьмется больше за подобное дело. После спектакля он сказал: «Сергей Михайлович, если когда-нибудь вам еще понадобится, всегда буду работать в вашем спектакле». Он уже заразился «театром», он понял, что значит минута, вознаграждающая за недели труда и безнадежных хлопот...

Хор Сретенской церкви был в самом деле очень хорош. Регент пламенел к своему делу. Для последней картины «Стрекозы» он положил на голоса известную мелодию Гуно к прелюдии Баха. Помню в связи с этим маленький случай другого порядка. Он пришел ко мне для обсуждения музыкальной программы. Пока мы разговаривали, говорят мне, что спрашивает меня бывший конторщик павловской лесной дачи; мож-

но сказать: бывший конторщик бывшей лесной дачи бывшего князя Волконского. Оказывается — конторщик, по недобросовестности уволенный года за два. Теперь требует вознаграждения. Я сказал, что не вижу основания к его требованию. Он возвысил голос, я остался при своем. Он стал кричать все громче и громче и объявил, что пойдет жаловаться на меня в конфликтную комиссию. Он пришел в совершенно истерическое состояние и, уходя, сказал в кухне: «Я подам на него донос, что он с немцами в союз вступает». На меня все это произвело мало впечатления, но когда я вернулся в гостиную, я застал нашего регента в таком состоянии, что он просил отпустить его и отложить окончание разговора до другого раза...

Конфликтная комиссия, о которой упомянул, рассматривала дела между служащими и нанимателями. Должен сказать, что это учреждение произвело на меня хорошее впечатление. Бывшие мои служащие подали заявление об удовлетворении их за год. Ведь это любопытно: требовать с человека удовлетворения за то, что у него все отобрали. Тут были подписи людей, служивших тридцать лет и более, людей, чьих детей я воспитывал, чьих жен за свой счет отправлял в Тамбов на операции. На первом месте стояла подпись нашего машиниста Матвея Яковлевича Маслова. Вдовец, он только за три месяца перед тем женился на престарелой уже экономке нашей Марии Гавриловне. Свадьбу праздновали у нас на балконе «молочного дома», племянницы готовили приданое, одевали и причесывали «молодую»... Когда я в этой конфликтной комиссии сидел, давал свои объяснения по какому-то другому делу, вдруг увидал в дверях лицо бывшего истопника нашего Федора. Отец многочисленного семейства, без жены; я его устроил, дал жилье, корову. Заметив меня, он только глянул и пропал. Я окликнул: «Федор!» Он вернулся.

— Ты тоже подавал на меня?

— Да ведь там другие заведовали...

— Да ты только скажи, мне интересно знать, ты подписал или не подписал?

— Так ведь я что же... разве я...

— Подписал или не подписал?

— Подписал.

Я кивнул головой.

Так вот, интересно было, что меня на это дело в комиссию даже не вызывали, но случайно я оказался там, когда пришли несколько человек из подписавших. Я оказался случайным свидетелем того, как председатель-большевик пробирал их: «Вы получили за два месяца вперед, и вы имеете нахальство приставать к бывшему хозяину, требовать еще?» Странные бывали положения в тогдашние времена. Вдруг этот большевик, которому поручено разбирать недоразумения рабочих с хозяевами, говорит мне, хозяину, князю, владельцу: «Ах, как тяжело с этими людьми! Поверите, иной раз страшно становится, что окно во втором этаже: того и гляди выкинут в окно»...

Я должен в интересах истины упомянуть, что из всех моих многочисленных служащих только двое не подписали заявления: наш старый кучер Сергей и старый, лет сорок прослуживший кузнец Семен Васильевич Чивилев. Настроение служащих мне было понятно в той степени, в какой оно было вызвано стремлением к лучшему, по пословице «рыба ищет, где глубже». Им так напели; естественно было им ждать рая земного и потому бросать интересы хозяина на произвол судьбы и примыкать к тем, от кого исходили обещания, и даже пользоваться возможностью в последнюю минуту развала хватать что попадется под руку. Но поскольку в их настроении выражалось желание содрать с бывшего хозяина, привлечь его к какой-то ответственности, я их не могу понять. Всю жизнь они получали, принимали, и вдруг с того же человека теперь хотят содрать, от которого прежде принимали. Они не были извергами, они были самыми обыкновенными представителями нравственной серости, способные даже и на добрые чувства; но тут сразу выступило то, что в них было звериного. Редко, как именно в этом, я ощутил беспощадность того рубежа, через который большевики заставили перешагнуть: ни малейшей, даже самой тонкой связи с тем, что удерживало человеческую совесть. Люди перешагнули и почувствовали освобождающее блаженство безответственности. Говорят: «изменились». Нет, значит, и были плохи. Я совершенно убедился в том, что в смысле нравственной сортировки людей большевизм оказал услугу: кто был плох, стал хуже, кто был хорош, стал лучше. Теперь все наружу, прикидываться уже ни к

чему: лицемерие не нужно, а цинизм даже вознаграждается...

Да, наши служащие оказались на высоте момента. Провожая их памятью своей, отдавая их тому прошлому, в которое они канули, хочу мельком вспомнить одного. Он не был похож на других... Еду в коляске мягким, теплым вечером со станции Волконской в Павловку. Уже осенние зеленя, в воздухе стрижи, и серебрятся паутинки... «Эй, берегись!» Обгоняем пешехода с котомкой; оборачиваюсь — «Мишка!» Это был внук нашего покойного кучера Варфоломея Деича Ходыкина: он учился в наших мастерских, сделался шофером. На третий год войны он ушел на казенную службу в Москву, а теперь, летом семнадцатого, возвращался на побывку домой. Я, конечно, посадил его и подвез. Интересная его была судьба. Он попал в Архангельск, зарабатывал до двухсот рублей в месяц, а по праздникам его еще приглашали на частную работу. Он ходил на какие-то курсы, состоял членом клуба, познакомился с англичанами и даже начал уже по-английски понимать. А начал он в нашей павловской мастерской. Отец его, Степан Ходыкин, был у нас столяром и в то же время главным представителем крайних направлений среди служащих... Но я далеко ушел от наших художественно-благотворительных упражнений.

Один еще концерт мне памятен. Я был приглашен читать. Выхожу — в первом ряду матросы: ремни, револьверы и на груди патроны, бесчисленное количество патронов. Прочитал «Грешницу» Алексея Толстого, возвращаюсь за кулисы, мне говорят: «Не выходите больше, решено вас домой не пустить и сегодня арестовать». Я не мог не исполнить программы, я участвовал во втором отделении, — остался. В антракте говорю об этом одному знакомому студенту. У меня в Борисоглебске образовалась группа студентов, которые пожелали со мной заниматься читкой; занятия начались с большим увлечением и с приятностью для меня, но было всего уроков пять. Одному я сказал о переданных мне опасениях. Через пять минут он подходит ко мне: «Ваше пальто в буфете, мы пройдем черным ходом, и нас тринадцать человек, чтобы вас проводить». Много доказательств преданности я испы-

тал, и даже от людей, которых в лицо не знал... Мы вышли на улицу; там ждала вся компания и проводила меня в такой дом, где я спокойно переночевал. На улицу старался не показываться. Но вечером была вечеринка, устроенная съездом сельских учителей; на съезде этом я читал доклад о внешкольном влиянии школы; они очень сердечно отнеслись к моему докладу; в числе их тоже были люди, со мной занимавшиеся, ввиду этого я не мог не пойти на их вечеринку в здании женской гимназии. Все прошло благополучно. Но после этого вечера я проводил дни в одном близком мне знакомом доме, а ночевал то в одном месте, то в другом. Последнее мое убежище было у одной старушки мещанки; оттуда я уже выходил только к моим добрым знакомым, по той же улице. Потом и к ним ходить перестал и вышел, только чтобы уже Борисоглебска больше не видать...

Не могу не упомянуть здесь и о пленных. В Борисоглебске было порядочное число австрийских офицеров. Я с ними не был знаком, но через нашего друга Франца Климека они знали обстоятельства нашего житья, и, несмотря на отсутствие личного знакомства, я чувствовал, что установилась издали симпатия. Они не пропускали ни концерта, ни спектакля, тем более что в концертах всегда участвовал один молодой их соотечественник, игравший на скрипке, по имени Покорный. Раз приходит ко мне Покорный и говорит, что ввиду зловещих слухов австрийские офицеры поручили ему передать мне их приглашение укрыться у них и переночевать в их концентрационном лагере. Я, конечно, был глубоко благодарен, но австрийское гостеприимство отклонил. И я был вознагражден за мое воздержание: в ту ночь в австрийском лагере был обыск... Наши павловские пленные давно уже были переведены в Борисоглебск, и Франц с Людвигом часто заходили, помогали работою по дому, по огороду. Они хорошо знали город, его настроения, и многим мы обязаны их предусмотрительному оповещению... Был еще у нас один Франц; этот был караульным при доме; в отличие от Климека и «русского Франца» его звали «другой Франц». С ним связана память о пасхальной ночи. Я спал. Вдруг слышу, будит меня торопливый голос — насколько литвин способен на торопли-

вость; голос русского Франца: «Одевайтесь скорей, стреляют». Вскакиваю. Выхожу на крыльцо — через двор наш пули летают. Это из «главной квартиры», из Европейской гостиницы. Двор был залит луной; на противоположной стороне под высоким забором узнаю в тени очертания Елены Николаевны и караульного Франца. Меня подзывают. Что происходит, неизвестно, но оставаться под этими пулями и рисковать, что, может быть, придут, нельзя было. Франц стал на четвереньки, и мы, использовав его спину как подножку, перелезли через забор во двор земской больницы и тут же под забором прикорчились между грудой бревен около покойницкой. К утру все утихло; мы прошли через больницу и вместе с солнцем вышли на улицу... Этот Франц впоследствии женился на горничной Елены Николаевны, эстонке, и в 1921 году, уезжая на родину, они зашли к нам в Москве; к сожалению, никого не было дома...

Еще несколько картинок борисоглебской жизни.

Обысков было много. Приходили искать пулеметов, приходили искать и отобрали вино. Хорошее вино, ящиков двенадцать; в землю во дворе были зарыты; мы указали место, они штыками тыкали, пока в ящик попадут; выкопали, увезли «для больных». После того врачебные комитеты много раз обращались в ревсовет просить для больниц того вина, которое было отобрано в доме Волконского, но ответа никогда не было. И можно ли было отвечать, когда вино было распито всем составом ревсовета с председателем Карытиным во главе? Этот Карытин был прежде заведующим школой для мальчиков на каких-то новых педагогических началах; пользовался уважением родителей, и вдруг оказывается — большевик и выбран председателем совета: глава уездного правительства. Помню его на митинге в здании кинематографа, делающего заявление о том, что он накануне послал в соседний Новохоперский уезд пушки, потому что там «буржуазия нос задрала». Ужасно жуткое впечатление эти митинги. Внизу, конечно, только посвященные, члены комитетов; но на хорах всякая публика вперемежку. Разговаривать можно только шепотом: со всех сторон подсматривают и подслушивают. От негодования лопнуть хочется, а не надо выдавать себя. Вертится среди публики один

из них, приехавший из Киева Гришка Дубовой. Он во время обыска в моем доме вытащил из кармана нож и хвастался, что он этим ножом в Киеве двух князей Радзивиловых зарезал. Говорят, его впоследствии расстреляли. Еще расстреляли свои своего же, некоего Букреева; тоже приходил к нам с обыском, мебель отбирал, и все ему почему-то нужен был «розовый плюшевый комплект». Я во все время обыска играл на фортепиано; они злились и, уходя, сказали жившему у нас бывшему раненому: «Уж мы сделаем так, что играть перестанет». И сделали, правда, уже после меня: в один, не прекрасный, а дождливый день мой «Бехштейн» был погружен на подводу и отвезен в коммунистический клуб. И вот я вас спрашиваю: с социальной точки зрения, когда это фортепиано, столько денег заработавшее благотворительными вечерами, лучше исполняло свое социальное назначение — когда стояло у меня и я перевозил его на концерты и спектакли, или когда на нем с утра до вечера и с вечера до утра отбивали «собачий вальс», этот всероссийский гимн художественно-большевистских увлечений?.. Вспоминаю еще, что, уходя, эти люди сказали нашему бывшему раненому:

— Мы сделаем так, что ты будешь спать там, где князь, а он будет там спать, где ты спишь.

— Так я, пожалуй, и не захочу там спать.

— Отчего?

— А потому, что я на кровати сплю, а князь спит на диване.

«Народные представители» обругали его княжеским прихвостником и ушли...

Да, верхняя галерея кинематографа была жутким местом наблюдения. Оттуда видел бывшего эсеровского комиссара Николая Кузьмича Краснобаева, когда он защищался против обвинения в саботаже. Ему большевики предложили работать с ними, но он сказал, что не может работать с людьми, которые продают родину. Это заседание должно было быть для него роковым, но у входа какой-то незнакомый солдат, проходя мимо него, шепнул: «Уходите, вас арестуют». Он скрылся в один из дворов, в то время как чрезвычайники по ошибке устремлялись за другим... Это был человек удивительно прямой, честный, благородной души, способный на настоящее, горячее негодование. Во время своего комиссарства он сильно поработал над

тем, чтобы отстоять Павловку. Он и сам туда ездил, но мне говорили, что, когда он вошел в дом, увидел, что сталось с моей комнатой (в которой прежде никогда не бывал), он не выдержал и выбежал вон... Так эсерство, в сущности, отступало перед делом рук своих... Да кто же не разочаровывался в России? Кто, кроме большевиков? Должен прийти и их черед разочарования... Николай Кузьмич все же не избег большевистской расправы. Этот человек, одиннадцать лет «ради народа» просидевший в одиночном заключении в Шлиссельбурге, был «представителями народа» расстрелян. У Краснобаева остался брат Иван, который взялся проводить меня в Тамбов, когда я покидал Борисоглебск. Он потом ушел к белым, и ничего я о нем не слышал до прошлого мая, когда вдруг в Риме получил письмо из Каттаро...

Расстрелы все учащались, и чрезвычайка все больше свирепела. Один из приговоренных перед расстрелом о чем-то начал просить палачей. Другой, наш помещик Безобразов, начал его стыдить, что он перед такими людьми унижается. Его за эти слова заставили рыть могилы... Ужас овладевал жителями; надвигалась ночь; об увеселениях, даже благотворительных, уже не думали. Открыли на главной улице магазин всяких вещей, куда всякий нес то, без чего мог обойтись: лампы, рамочки, коврики, вазочки — все, из чего составляется «убогая роскошь наряда» уездно-обывательской квартиры. Но когда появились там платья, предметы утвари, то и этот источник жизни был насильственно закрыт. Как раз в это время пришел номер советской газеты из Москвы, в котором, кажется за подписью Троцкого, говорилось, что «буржуазия должна быть поставлена в такие стесненные условия, квартирные и продовольственные, чтобы почувствовать себя в железных тисках революции». Можете себе представить, что подобное наставление должно было вызвать в провинции...

Из наших большевистских главарей лично знал, то есть встречал, только двоих: упомянутого уже председателя совета Карытина и нашего борисоглебского министра финансов Дандурова. Карытин был высокий, сухой; имел странную особенность: при гладких, мягких с проседью волосах — на лбу точно клок конского волоса. Он заболел прогрессивным параличом и умер в страшных мучениях, преследуемый галлюци-

нациями... Дандуров был черный кавказец, его жена была рыжая и писала романы... Карытин и Дандуров были основателями «нового порядка»; потом уже пошло по рельсам. Что еще вам сказать о них? У меня были две дворняжки, по двору бегали; я прозвал их «Карытка» и «Дандурка»...

Среди этой обстановки — недоумеваю, как это могло осуществиться — я успел еще открыть в Народном доме в пользу раненых и увечных воинов «Выставку декабристов». По просьбе комитета я прочитал им благотворительную лекцию, а потом предложил выставку. Только затруднялся: как устроить переноску и установку вещей? Обратился к моим студентам и студенткам. Когда они меня приглашали с ними заниматься, я спросил: «Чем?» Они ответили: «Всем, что интересно». Я их спросил: «А выставка декабристов интересна?» — «Конечно, интересна». И мы заработали; двенадцать дней работали: красили, подметали, полы мыли, перегородки ставили, бумагой обклеивали, вещи развешивали, расставляли... Из всех имевшихся у меня, вывезенных из Павловки воспоминаний я собрал в четырех залах четыре отдела: «До Сибири», «Сибирь», «Официальная Россия» и «Возвращение». Состоялось даже официальное «открытие» по приглашениям, на второй день Пасхи 1918-го. Каталог в двести номеров продавался при входе. Одним словом, все как следует. Был страх, конечно, за некоторые портреты: как на них посмотрят представители власти, если заглянут. Но не заглянули. А как они в нашей революционной глуши смотрели на те воспоминания, которые я так заботливо собирал, вот несколько примеров.

Когда забирали у меня в доме бумаги, то документы, относящиеся к декабристам, тоже приложили к «делу». Им говорят, что ведь это историческое, что это про декабристов; один отвечает: «Да, я знаю, у меня в Вильне товарищ декабрист». Все это было унесено. Согласно официальному докладу посланного туда впоследствии из Москвы председателя Коллегии охраны памятников, «бумаги, отобранные в доме Волконского, израсходованы в уборной чрезвычайной комиссии».

Другой раз увидели портреты на стене:
— Генералы? Содрать их.
— Это ведь декабристы.
— Знаем мы этих октябристов. Содрать.
— Ведь это же первые революционеры.
— Оставить... А это что за генерал? (указывая на портрет Николая I работы Дау).
— Это?.. Это Дау.
— А, ну Дау так Дау. Пусть висит.
Когда попался в руки алфавитный список собственных имен, встречающихся в сибирских письмах моей бабушки за годы от 1827-го до 1855-го, было произнесено: «Ведь вот сколько имен, а ни у кого из них еще не было обыска»...
У меня было несколько интересных автографов. Для того чтобы как-нибудь обратить внимание Москвы на то, что у меня в Борисоглебске есть все-таки вещи, заслуживающие сбережения, Елена Николаевна отобрала два автографа и, передавая их чекисту, сказала: «Эти два документа исторические, эти документы, один за подписью Бонапарта, — приказ о реквизиции кораблей в Венеции, другой — о реквизиции во Франции телег и лошадей за подписью не более, не менее, как Робеспьера»... Было ли это исполнено, мы не знали. Но через полтора года в Москве кто-то из работавших в архивах говорит мне:
— А у вас в деревне интересный архив был.
— Почему вы думаете?
— Да как же: автограф Робеспьера, Бонапарта...
— Как вы знаете?
— Да Ленин нам препроводил — из вашего архива в Борисоглебске.
Значит, совет был исполнен. Но на судьбу оставшихся вещей это не имело влияния. Через несколько месяцев я узнал, что Борисоглебская чрезвычайка получила от Ленина благодарность за бережное отношение к историческим ценностям. Только и всего... Что я здесь рассказываю, происходило уже после меня. Возвращаюсь к последним дням моего в Борисоглебске пребывания.

5 мая вечером я сидел у моих добрых знакомых и по просьбе хозяйки играл на разбитом ее пианино. Было половина одиннадцатого, и помню, что по просьбе

хозяйки же играл я «Aufenthalt» Шуберта. Входит Елена Николаевна и говорит: «Вам надо уезжать». Оказывается, чрезвычайная комиссия приходила в дом; искали меня для расстрела. Любопытный допрос.

— Где бывший князь Волконский?

— Уехал под Москву.

— Когда?

— Первого числа.

— Дайте ответственную расписку, что это правда.

— С удовольствием.

— Ну, все-таки мы дадим знать по уезду о задержании бежавшего бывшего князя Волконского. Кто он такой? Генерал? Военный?

— Нет.

— Царский чиновник?

— Нет.

— Так кто же он?

— Бывший князь Волконский, литератор.

— Литератор? Да? Где же он пишет?

— Где — довольно трудно сказать, а книги вот здесь есть; можете посмотреть.

— Где его комната?

— У него нет комнаты.

— Где он спит?

— В этой комнате.

— Где его кровать?

— У него нет кровати.

— На чем же он спит?

— Вот на этом диване.

— Где его письменный стол?

— У него нет письменного стола.

— Где же его бумаги?

— Что есть, то под этим столом.

— Где его револьвер?

— У него нет револьвера и никогда не было; да и стрелять он не умеет.

— Ну как же! Когда понадобится, отлично подстрелит кого надо... Что в этих сундуках?

— Зимние вещи, подушки, одеяла...

— А где спрятаны пулеметы?

— В доме их никто не имеет и не прятал, но вы можете искать.

— Что вы делали, когда мы пришли?

— Книжку читала.

— Какую?

— Стихи Бодлера.

— Покажите... Иностранная...

Так продолжалось в течение пяти часов: вопросы, обыск и все вперемежку с ругательствами. Прислуга трепетала; русский Франц лепетал и заикался...

«Вам надо уезжать».

После этого я ушел к моей старушке мещанке, чтоб уже не выходить от нее. Только было решено, что на другой день вечером, в десять часов, мне выйти на мост, — мне принесут платье, чтобы переодеться.

Вечером я вышел. Деревянный мостик через сухой овражек, или, как у нас говорят, буерак, лежал в луне. Пылью дышал сухой воздух; тополя не трепетали... Мне передали солдатскую шинель и фуражку. На другое утро в четыре часа пришел Иван Кузьмич Краснобаев. С котомкой платья и котомкой белья, напутствуемые пожеланиями и булками старушки, мы вышли. У нее остались кое-какие мои рукописи и пишущая машинка. Она их после моего отъезда закопала в землю и через два года прислала в Москву. Машинка была совсем ржавая, а рукописи, когда я их развернул, рассыпались в моих руках... В двух верстах от города должен был ожидать нас верный человек с телегой. Мы пошли. Улица пересекала железнодорожное полотно. На полотне стоял часовой, он «товарища» не окликнул... У последних изб города на бревнах сидели, ожидая нашего прохода, Елена Николаевна и тот добрый приятель, который снабдил меня солдатской шинелью. Мы мельком простились и прошли дальше...

С южной стороны под Борисоглебском пески; идти не совсем легко. Солнце начинало греть — вставал яркий, жаркий день... Наконец стала видна телега. Мы сели и развалились. До села Поворина двадцать верст; там имели у кого отдохнуть, было письмо, а до станции оттуда восемь верст. С южной стороны под Борисоглебском, за песками, начинается широкое займище — так у нас называются пойменные места: тут слияние Вороны с Хопром; весной и осенью непролазно топко, а летом сухо, колко, тряско. Из гати хворост торчит, на мостках дырявые доски подпрыгивают... Вода в затонах рябится и серебрится. Взлетает чибис с хохолком, крылья подбиты и две лапки еще висят — не успел подобрать... Река все ближе; пошли камыши...

Нет-нет дыхнет болотной прохладой. А сверху печет. Телега стучит и толкается; сено колется и пахнет... Тихо в мире, грезно на душе...

«И куда не обернешься,
Только небо да камыш...».

Озверение

Я знал, что я осуществлял кроме бегства от людей еще и бегство из природы; путешествие в Поворино было последним с ней соприкосновением; волна революции выкидывала меня вон, после этого я три с половиной года провел на городской мостовой: булыжник, пыль, асфальт. Три с половиной года не видал, как хлеб растет, и часто думал: увижу ли когда?..

Мои друзья Охотниковы жили на Дворянской улице. В Тамбове, как, вероятно, и во всех других городах, новые названия улиц только на дощечках значились и все «Советские» продолжали называться «Дворянскими». Михаил Михайлович Охотников был много лет председателем управы в Усмани и был одним из редких, которых революция переизбрала. Он был женат на дочери писателя Потапенки, Дионисии Игнатьевне. Бежав из имения, они осели в Тамбове. Я застал атмосферу нашу же, борисоглебскую, но, пожалуй, в более острой форме; напряжение чувствовалось сильней. В губернском городе представителей дворянства, помещиков, профессоров, учителей гораздо больше, чем в уездном, и потому большевистские расправы занимали, в то время по крайней мере, больше места в губернской жизни, чем в уездной; масштаб их был шире, имена расстрелянных не сходили с уст. И ужасные подробности! Кто-то лесом проходил и видел несколько трупов недавно расстрелянных; лежали в куче, а один не был добит и, лежа лицом к земле, рукой судорожно ерзал по груди, все крестился, крестился... Один мой знакомый восемь месяцев сидел в ужасающих условиях; заболел сыпным тифом; сестра приехала из Москвы, чтобы ходить за ним. За два часа до его смерти пришли объявить, что, по отсутствии улик, он свободен... Говорили тогда в Тамбове, что приговоренным предлагалось перед смертью выразить жела-

ние, — это желание исполнялось. Некий Загряжский попросил бутылку шампанского. Когда принесли, налил себе стакан и выпил за возрождение России и гибель ее врагов...

Дом Охотниковых был как раз против того дома, в котором помещался «Контррев», та же чрезвычайка. Это соседство однажды оказалось малоприятным. Первые дни июля ознаменовались попыткой свержения большевиков. Ночью мы были разбужены залпами ружей и треском пулеметов. Дом наш был деревянный, и пули легко могли пробить, не говоря об окнах. Обитатели все собрались на лестницу, которая в середине дома занимала как бы колодезь, из кирпича построенный. Перестрелка, дробная, густая, продолжалась всю ночь; несчастий в доме не было, настроение на лестнице царило веселое, девочки Охотниковы хохотали до упаду... На другое утро Тамбов узнал о падении большевиков. В следующую ночь, уже с гораздо меньшей тратой выстрелов, большевики вернули отобранную было власть. Впоследствии тамбовцы прозвали это — «недоворот».

В доме Охотниковых я нашел и другую особенность наших борисоглебских настроений: театральные увлечения. Готовился вечер, уж не помню, в пользу чего; Дионисия Игнатьевна должна была танцевать. Мы поставили с ней военный танец на музыку «Marche grotesque» Синдинга и восточный танец, к которому я составил музыку. Вечер был в большой зале бывшего Дворянского собрания, и присутствовала отборная публика: чрезвычайники и много латышей. Помню, что они обступили эстраду, а эстрада низкая. Перед выходом Дионисии Игнатьевны, которой я аккомпанировал, я, идя к фортепиано, обратился к обступившим и сказал: «Из вас только первый ряд видит, а если бы вы отошли подальше, то и другим будет видно». — «Ну, ну, не рассуждай!.. Не рассуждай, пошел, наяривай!..» Я поспешил исполнить приказание.

Из лиц, с которыми встречался у Охотниковых, упомяну милого человека, Виктора Эккерсдорфа, студента-медика. Умный, образованный, разносторонний, веселый и талантливый рассказчик. Много приятного связано с его памятью, но и много страшного. Сперва приятное. Он отлично знал логику, объяснял ее с увле-

чением; все эти «barbara, celarent» и пр. были у него, как говорят французы, на конце пальцев. Я с удовольствием вспоминаю наши беседы. Садились мы обыкновенно в городском саду и за стаканом кефира перед татарскою молочной лавочкой рисовали графики логических фигур. Он отлично подражал и в лицах изображал эпизоды экзаменов в медицинской академии. Когда Охотниковы уехали «на Украйну», Эккерсдорф устроил мне столование в доме своей сестры. Вот тут уже переходим от приятного к страшному. Сестра была замужем за состоятельным человеком, Булгаковым. Он был арестован и приговорен к смерти. Стали упрашивать, уговаривать, предложили... согласились. С невероятными усилиями брат и сестра раздобыли по Тамбову положенную сумму — Булгакова освободили. Но нужно же было кому-то по городу рассказывать, как дорого это бедной женщине обошлось. Приходят из чрезвычайки: «Вы вот какие слухи распускаете, будто вы чрезвычайную комиссию деньгами задобрили!..» Увели мужа; жена его больше не видала; кто-то из знакомых опознал труп в лесу...

Мой приятель в конце лета увез сестру в надежде переправиться с нею через границу. В ноябре того же 1918 года, уже в Москве, однажды слышу звонок. Отворяю и глазам не верю: Эккерсдорф! Но потребовалось время, чтобы узнать его; еле ноги волочит, оброс бородой, лицо одутловатое и с синими пятнами, как бывает при цинге. Он плохо мог говорить, рассказывал толчками, но тем ужаснее был его рассказ. В Брянске, куда он приехал с сестрой, его задержали вследствие какой-то канцелярской неточности в паспорте; сестру отпустили, его отправили в тюрьму. Что это было! Каждую ночь заключенных выводили на допрос, вернее, на издевательство. Председатель чрезвычайки был настоящий изверг, мучил допросом и тешился причиняемым страданием. Несчастные никогда не знали, что их ожидает там, куда их ведут, и даже по пути. Почти всякую ночь по дороге к допросу кому-нибудь из них пускали пулю в спину; однажды раздался выстрел, и человек, с которым Эккерсдорф шел под руку, повис у него на руке... Страшно было слушать его, страшно было смотреть на него: милый, веселый Эккерсдорф озирался, глаза блуждали, говорил толчками, и ни разу распухшее лицо не улыбнулось; положим, улыбаться было нечему... Он собирался все-

таки бежать, но денег не было. Я только что представил в наркомпрос рукопись своей книги «Законы речи» и получил за нее плату; предложил ему тысячу рублей (в то время это еще были деньги). Мы простились, больше не виделись... Вдруг два месяца тому назад в Риме получаю от него письмо из Белграда, пересланное редакцией «Русской мысли»: он выбрался тогда, он счастлив, здоров, женат, занимается какими-то поставками в Англию, Испанию, занят богословскими вопросами, собирается в Америку и зовет меня с собой в Los Angeles, тот самый, где я когда-то, давно-давно тому назад, читал лекции в университете Станфорда...

В доме Охотниковых было много своей, незаимствованной жизни, до известной степени богема. Там всегда что-нибудь предпринимали: то декламировали Пушкина, то читали Достоевского, то вдруг столы убирали и танцевали танго. Это не значило, что жизнь была беззаботная. Как-то раз, это было через день после «недоворота», сидим в гостиной, отворяется дверь: штыки, красные кокарды и — прямо на меня:

— Мы вас ищем.

— Пожалуйста, для чего?

— Вы в белой шляпе ходите?

— Нет, у меня белой шляпы нет.

— Ну, вы артист?

— Уж не знаю, как вам сказать. А только если вы белую шляпу ищете, то это не я, а если меня ищете, то при чем же шляпа?

Мы отлично знали, кто «белая шляпа»; ему только за несколько часов перед тем помогли переодеться и скрыться; как только была упомянута «белая шляпа», я понял, что не за мной пришли. Потерпев осечку, этот маленький еврейчик не хотел, видимо, признаться в ошибке и объявил, что приступит к обыску. Обшарили все, но не взяли ничего... Я после встречал этого человечка на улице; он узнавал меня и отворачивался как от неприятного напоминанья...

В доме жила какая-то кухарка, то есть бывшая кухарка, ведь не одни князья «бывшие». Чья она была, от кого осталась и что делала, кто знает? Старая, но с «остатками», и по этому случаю мазалась и в ушах носила кольца. Ужасная была говорунья, на-

зойливая. К ней ходил какой-то из контррева, грубый человек, который иногда, когда мы на балконе чай пили, приходил, становился перед Дионисией Игнатьевной и начинал не то себе в ус говорить, не то ее бранить:

— Скоро, скоро мы всю эту сволочь бывшую уберем... Ваш муж-то где сейчас?

— Мой муж уехал в Курск (что была сущая правда).

— Да, как же! Знаем мы! Небойсь на той стороне реки в лесу скрывается.

Он мог простаивать часами; когда ему не отвечали, он сам себе отвечал; мы перестали слушать. Он, между прочим, всегда заступался за какие-то права своей дамы сердца. Однажды я сказал «бывшей» кухарке:

— Что-то давно не видать вашего аблаката.

— Да, вот тоже слово нашли. Аблакат! Не аблакат он мне вовсе... Какой он аблакат? Теперь аблакатов и нет уж. А вы: аблака-а-ат...

Была очень милая латышка Эльза у Охотниковых; она и готовила, и шила, и убирала, и за детьми ухаживала, настоящий друг семьи. Но когда Охотниковы уехали, она осталась: у нее была зазнобушка — красивый, в защитном цвете латыш. Любовь ее не была слепа, и знаю, что часто она говорила ему правду в лицо, и думаю даже, что она иногда достигала смягчения нравов.

Когда уехали Охотниковы и рассыпалось все, что собиралось вокруг них, дом опустел. В квартиру въехал некий Гулевич с женой, служивший по части продовольственного снабжения; занял две комнаты, а остальное пошло под канцелярию. Они меня не выселили, приняли на пансион, и мы очень сжились. Муж почти всегда был в разъездах. Жена была миленькая птичка и питалась, как птичка, что не совсем соответствовало тому, чего вправе ожидать от своей хозяйки столующийся у нее пансионер. Но они были совсем милые люди; он через два года навестил меня в Москве...

Тем временем чрезвычайная комиссия Тамбовская свирепствовала все больше. От выселений, реквизиций стон стоял. Люди подбирали свой скарб, выкинутый на улицу, с плачем разводили руками. Все выкидывалось; охотниковская библиотека недели целые ле-

жала в раскрытых ящиках на дворе, чудные книги восемнадцатого века мокли под дождем... Люди таскали свою рухлядь из места в место: одни уезжали — спасались из Тамбова, другие приезжали — спасались в Тамбов. И так по всей России: север спасался на юг, юг спасался на север. Можно себе представить, что были железные дороги... Расстрелы продолжались. Стали подбираться к старикам. В доме Александры Николаевны Нарышкиной жили: старушка Воейкова, та, чей дом был занят контрревом, и старик князь Челокаев, давнишний и последний тамбовский предводитель дворянства. Этим трем было за восемьдесят лет каждому. Старушка Воейкова, кажется, умерла своей смертью. К Челокаеву пришли, чтобы вести его на расстрел. Старик сказал, что не пойдет: «Несите меня или здесь пристрелите, а я не пойду». Его оставили, но взяли со стола его золотые часы... Старуха Нарышкина, бывшая статс-дама, богатая основательница Нарышкинского общежития в Тамбове, давно мозолила глаза. Она была родная тетка Чичерина, знаменитого наркоминдела, прославившегося кроме прочего и тем еще, что нашел итальянского короля подходящим на должность президента республики чрезвычайников... Это мне напоминает рассказ, слышанный мною о покойном бельгийском короле Леопольде. Ему представлялся какой-то знаменитый французский врач. Последний позволил себе — как и Чичерин итальянскому королю — сказать, что его высокий собеседник был бы отличным президентом республики. Заметив, что король как будто не особенно доволен его словами, он осведомился, не сказал ли он чего-нибудь королю неприятного? «Ну, как вам сказать,— отвечал король,— ведь вы врач?.. Было ли бы вам приятно, если бы вам сказали, что из вас выйдет отличный ветеринар?»... Высокое родство с Чичериным не спасло старуху Нарышкину: или Чичерин не пожелал вступиться, или, как неоднократно объявлялось, «приказ опоздал». Ее подняли на телегу, повезли. Она была мужественна, но по дороге у нее сделался разрыв сердца: она избежала «человеческого суда». Прятание под сукно приказов о нерасстреле было обычным приемом. Читал в одной советской газете, что в Киеве два человека (а может быть, и пять, не помню) было расстреляно; обнаружилось, что телеграмма о неприменении «высшей меры» пришла во-

время и была спрятана. Виновный был привлечен к суду и приговорен к лишению должности «за ослушание»... Последние описанные мною случаи происходили уже после моего отъезда из Тамбова, осенью 1918 года. Теперь расскажу о том, что определило мою карьеру в течение последующих трех лет, что стало моим заработком и вместе с тем утвердило за мной в глазах этих, ну, скажем, людей характер политической безвредности.

Проходя как-то бульваром, я повстречал того Аполлоныча, борисоглебского эсера, о котором уже упоминал. Несет под мышкой кипу бумаг.

— Что это у вас?

— Тут разное... А кстати, вас может заинтересовать. Объявления народного университета. Возьмите, познакомьтесь...

Первым лицом в этом новом учреждении был Сергей Николаевич Жихарев. Его отец был когда-то знаменитый сенатор Николай Степанович, прославившийся ведением политического процесса «семидесяти двух». А сын был народный социалист... Я пошел в канцелярию народного университета. Выходит ко мне Жихарев. Не забуду впечатления от этого человека. Иоанн Креститель по наружности; глубокие, пламенные глаза. Я предложил свои услуги в качестве лектора по искусству читки и попутно литературе. Он сказал, что у них программа еще не выработана, расписание еще не составлено, но что он будет, во всяком случае, иметь меня в виду:

— Позвольте ваш адрес записать?

— Волконский, Дворянс...

— Как? Сергей Михайлович?

Что он знал обо мне, на чем основывался,— только это прекрасное незабываемое лицо просияло.

— Да садитесь, пожалуйста, я не знал... Да, конечно, мы вас приглашаем. Я познакомлю вас с Бунаковым, нашим деканом, и вы с ним сговоритесь. Приходите ко мне послезавтра утром в десять часов.

Не могу сказать, как меня взволновал этот радостный прием, как тронуло участливое уважение со стороны такого человека. Через день я был у его домика. Позвонил; почему-то мне не отворили, и я прошел во двор. На балкончике сидело много народу,

между прочим наш борисоглебский землевладелец Евгений Павлович Кондырев. Хозяина не было, подсаживаюсь к Кондыреву, говорю:

— Мне Сергей Николаевич сказал прийти сегодня.

— Да, вот нам не заказывал, а всех собрал...

— Как это? Не понимаю.

— Да вы не знаете?

— Не знаю.

— Его вчера убили. Двое солдат вошли, спросили: «Дома Сергей Николаевич Жихарев?» Вошли, прошли в кабинет, выстрелили и ушли...

Да, на каждом шагу мы соприкасались со смертью. Смерть была хозяйкой жизни... Перед кончиной своей Жихарев успел поговорить с Бунаковым, и я начал мои лекции. На этом я утвердил свои последующие занятия, когда переехал в Москву, этим просуществовал в течение трех лет...

Аудитория народного университета состояла преимущественно из учителей сельских школ. Я нашел очень много стремления, большую искренность увлечения, хорошее понимание и очень для меня дорогое доверие. Последнее явилось не сразу. Первую лекцию я начал обращением: «Милостивые государыни и милостивые государи!» «Очень неуместное обращение»,— сказал один из присутствовавших своему соседу; сосед оказался Эккерсдорф... Понемногу, однако, отношения установились, и, когда я кончил официально установленное число лекций, слушатели просили устроить частный курс в стенах того же здания... Пригласили меня и в другое учреждение, какие-то кооперативные курсы. Просили также лекции по русской истории, в частности по истории литературных и умственных движений... Была, не помню по какому случаю, а вернее без всякого случая, вечеринка. Музыка, чтение и китайские живые тени. Последнее было очень остроумно, с незлобивыми карикатурами на некоторых профессоров. В этих китайских тенях и я принял неожиданное участие, изобразил скупого старика, с мешком, и один из моих слушателей меня огромным ножом зарезал...

Во всей этой молодежи я нашел гораздо больше жизни и радости познания, чем впоследствии по тем театральным студиям, в которых протекала моя мо-

сковская лекторская деятельность... Положение учителей в то время было очень тяжелое. Они все почти были не большевики. Я был на заседании учителей Тамбовской губернии, на заседании, которое было в то самое утро, когда думали, что большевики свергнуты. Председательствующий с кафедры объявил: «Сегодня власть большевиков в Тамбове пала». Надо было слышать взрыв рукоплесканий... Положение их было тяжело от двух причин. Во-первых, все теснее предъявлялись им требования коммунистического исповедания, все больше испытывали они давление на совесть. Во-вторых, все громче поднимался голос материализма, и, несмотря на лозунги культуры, духовных интересов и пр., умственному труду отводилось все менее почетное место в общей экономии человеческого труда. Начинало страдать материальное положение. Учителя чувствовали себя на задворках. Вот, вероятно, почему я, сам того не ожидая, вызвал горячий взрыв сочувствия, когда кончил последнюю лекцию моего курса четверостишием, не помню чьим, но, кажется, перевод с немецкого:

«Почтен, кто, потея, за плугом идет,
Но стоит и тот уваженья,
Кто, мозгом трудясь, голодая живет
И черепом пашет гряду просвещенья».

Трудно было учителям и вообще всем, посвятившим себя воспитанию, и потому еще, что в само то дело, которым они занимались, проникала ужасная струя сухости, черствости, а следовательно,— принимая во внимание, что дело касалось детей,— смело можно сказать: жестокости. Помню, на одном заседании лекторов Тамбовского университета, где обсуждалась программа будущего года, присутствовала какая-то комиссарша, а то даже и не комиссарша, только жена комиссара, но и это, по-видимому, уже очень много; по крайней мере, как я узнал, она лекторшей не состояла, никакого касательства к университету не имела, и тем не менее председательствующий не решился спросить ее, в силу каких полномочий она участвует в заседании. Впрочем, участие ее было своеобразное. Она вошла, когда заседание уже давно началось, и ушла до окончания. Сама ничего не предлагала, но только два раза высказала критику говорившим. Профессор новой истории заявил, что он будет читать

курс о революции в Германии, она сказала, что роль Германии в революции не столь значительна, чтобы ей отводить место в программе на первых порах нашего революционного существования... Одна из присутствующих докладывала свою программу по методике внешкольного и дошкольного воспитания. Пожилая, почтенная, к сожалению, забыл ее фамилию. Но вы знаете этот тип женщин, который вырабатывается только долгим воспитательным общением с детьми. Они при седине своей сохраняют столько свежести душевной, такую яркость впечатлений, выражений, ощущений, что можно подумать, они совместили в себе молодость всех тех детей, с которыми имели дело. Все, что они рассказывают: планы ли будущих занятий или случаи минувшего опыта — все в их передаче носит характер чего-то впервые им раскрывающегося; в них цветение детства, радость невиданного. Вот такой человек нам рассказывал, и мы с восхищением слушали его речь, оживленную зараз житейским опытом и душевной свежестью. Я отлично чувствовал неприязненность, которою среди нашего молчания выделялось молчание коммунистки. Наша докладчица была именно того рода человеком, который этим людям должен быть ненавистен. Я всегда замечал, что перед всем, что носит печать любви, искреннего увлечения, беззаветности, коммунисты или умолкают, или стервенеют. Ничто им так не противно, как любовь,— она их выбивает из позиции. Ведь любви нельзя научить, ни научиться; любовь нельзя ни реквизировать, ни купить. И вот они ее упраздняют из обихода детского воспитания. Вся та сторона школьной жизни, которая является плодом лучших сторон женской души, все, что от сердца, от преданности, от чувства долга, да скажем в одном слове — все, что от материнства, все это изгнано; на место материнства — национализация ребенка... Когда докладчица кончила, комиссарша заявила, что то, что было доложено, в настоящее время не имеет никакого приложения: все это основано на принципе семьи, а семья теперь упраздняется. Докладчица сказала: «Я вам на это отвечу после, когда все программы будут рассмотрены». Я с интересом ждал, да не я один, этого ответа, но комиссарша в середине какого-то доклада встала и ушла... Напустить дыму, показать себя, взбаламутить, страху напустить — вот всегдашняя пружина их вы-

ступлений. Я знал впоследствии в Москве таких, которые бывали в учебных заведениях только на общих собраниях и только в начале учебного года. Они только ругались и грозились... Да, из всех соприкосновений с большевистскими деятелями, конечно, самое противное — соприкосновение на почве воспитания, и в особенности воспитания малолетних: это есть развращение природы, убийство духа. Те женщины, которые остались на своих постах: надзирательницы, преподавательницы — положительно героини при теперешних условиях работы и контроля. Полуграмотные люди приходят учинять проверку преподавания, и я знаю школу, где женщина — контролерша, блюстительница народных прав, окончив ревизию, безграмотным почерком занесла в контрольную книгу замечание о том, что в кухне посуда была не вымыта... О том, что становится из детей, не имевших исключительного преимущества попасть под руководительство упомянутого типа надзирательниц, а которые попадали в руки коммунистического персонала, достаточно известно. О том, как развилась детская преступность, каких чудовищных размеров достигла детская проституция, о том, что мужские заведения соединяются с женскими (это называется «вливаются») и что тринадцатилетней девочке, сделавшейся матерью, говорят, что она исполнила свой гражданский долг,— это уже всем достаточно известно, а если неизвестно, то не потому, что об этом слишком мало писалось... Писалось много и хорошо; оно и понятно: дети — это будущая Россия... В то время, о котором пишу (1918), я еще мало видел, но все готов был предчувствовать, и ничто впоследствии меня не удивляло, когда припоминал эту комиссаршу в заседании Тамбовского университета. Да, в этом самый корень озверения.

Хочу здесь упомянуть о факте, который слышал впоследствии в Москве. Он до такой степени чудовищен, что с трудом ему верю, однако вот что рассказывала одной моей знакомой одна из надзирательниц Московского воспитательного дома. Будто кормилицы кормят детей грудью сквозь дыру, проделанную в доске. Это для того, чтобы ребенок не видел, кто его кормит, не привыкал к лицу, не привязывался к кормилице. Это есть убийство семейного начала в самом корне. Если заношу этот факт с оговоркой, то не потому, что источник, из которого почерпаю его, не вну-

шает доверия, а потому, что сам факт мне представляется слишком отвратительным: это уже не озверение, это ниже зверей.

Хочу помянуть из числа моих тамбовских слушательниц Софью Владимировну Щелоковскую. Она была учительницей в женской гимназии и в то время еще кое-как проходила этот трудный путь, становившийся все труднее. С любовью относясь к моему предмету, она вместе с тем зорко следила за отношением ко мне других слушателей; она много способствовала установлению добрых отношений. Она была сестрой того Кирилла Владимировича Сладкопевцева, о котором так часто упоминал в предыдущей главе. Она не разделяла эсеровских убеждений брата и уже тогда сильно боялась за его судьбу. У нее был и другой брат, довольно известный как юмористический рассказчик. Он был в Киеве и заведовал какой-то академией театрального искусства. Как все люди у нас, занимающиеся этими вопросами, он пренебрегал главным: законами правильной читки, на законах речи основанных. Но об этом когда-нибудь...

И в Тамбове навестили меня мои дамы, Елена Николаевна и племянница Лизет. Иду однажды по Дворянской: на извозчике две сестры милосердия мне машут. Никаких таких я не знал сестер милосердия, чтобы могли мне махать. Оказывается, мои дамы; пристроились к санитарному вагону военного эшелона. Комиссар поезда согласился их принять, и они в платочках приехали; по дороге ходили за больными, даже один холерный был. Этот военный комиссар впоследствии выказал к моим дамам расположение и явил такие доказательства доверия, что даже отсидел неделю за то, что бывал «в княжеском доме»; он, как сам после говорил, ответил на обвинение, что он бывал «не у князей, а у людей». Смешной, беззаветный тип. Он несколько раз катался верхом с моей племянницей и при этом давал ей советы, как с лошадью обращаться: «Да ты, Лизет, ее того... покруче, да в зад ее, в зад ее!» Он отлично знал, что они ехали меня навестить, он даже пришел к нам в гости, но не выдал в Борисоглебске моего пребывания.

Однако пребывание становилось все менее приятно и все более рискованно. Однажды во дворе разговор,

как будто меня спрашивают. Нагибаюсь и кого же вижу? Людвига, нашего пленного. Привел его в свою комнату. Он был взволнован и тороплив. Его с другими перевели из Борисоглебска, и он с опасностью жизни перелез через забор концентрационного лагеря, чтобы принести мне известие о том, что мои дамы выставлены из дома, выехали в Москву, что дом мой со всем, что в нем находится, объявлен народной собственностью. Он при этом передал мне присланные Еленой Николаевной две тысячи рублей. Добрый, славный, великолепный человек, и я даже не знаю, где он...

А в Борисоглебске за это время вот что произошло. За домом установили наблюдение, поставили солдат. Как-то вечером выходит наша Ольга Ивановна, а ее окликают:

— Сестрица, ты откуда?

Оборачивается — солдат.

— А из этого дома.

— Как! Из этого дома? Да ведь этот дом самое гнездо. Мы его караулим.

Через день или два — арест Сладкопевцева. До того был схвачен Краснобаев; его схватили на вокзале в Грязях, когда он пил чай с нашей знакомой и бывшей соседкой Зоей Николаевной Измайловой. Обоих схватили и привезли в Борисоглебск. Измайлову отпустили, а Николая Кузьмича посадили. Кто проходил мимо острога, мог его видеть в окне третьего этажа, выходившем на площадь, а если не было его у окна, то всегда можно было видеть к решетке привязанный букетик: ему присылали, в воду поставить нельзя было — он пристраивал цветы к решетке. Но наступил день, когда на решетке уже не было цветов... Итак, арест Сладкопевцева. Елена Николаевна была у них в гостях, когда нагрянули в автомобиле чекисты; она помнит картину маленьких детей, цеплявшихся за автомобиль, в котором увозили отца... Через два дня приходит в дом госпожа Сладкопевцева и сообщает, что заключенные слышали в открытую дверь, пока были на допросе, что Елене Николаевне произнесен смертный приговор. После этого под окнами дома каждую ночь сидели солдаты. Каждую ночь в обычный час, от двух до четырех, ожидалось прибытие авто-

мобиля... Тем временем днем происходили обыски с обычными ругательствами и издевательствами. Товарищ председателя чеки, приехавший из Петербурга рабочий Артамонов пришел шарить в сундуках, комодах и шкапах. На коленях перед сундуками он выкидывал вещи: направо — что ему и его жене пойдет, налево — что его товарищам. Когда нес особо отложенные вещи для предъявления в чрезвычайную комиссию, тут, по рассказу Елены Николаевны, около ворот, выпала у него коробка, футляр; из нее вывалилась ложка, принадлежавшая моему деду декабристу, ложка, которою он в Сибири ел и которую я хранил, для которой сделал футляр с надписью... Елена Николаевна подобрала, но чекист эту ложку унес...

Так проходили тягостные дни и тягостные ночи. Автомобили проезжали мимо. Но каждую ночь, от двух до четырех, горело электричество, под окном звучали солдатские голоса, и на постели сидел и смотрел, как будто тоже чего-то ждал, наш черный Таксик. Этот удивительный песик все треволнения проделал с обитательницами нашего дома. Он раз даже в чрезвычайке был, сопровождая свою хозяйку, и, придя в кабинет председателя, вскочил и сел на стул рядом с ним. Его взяли потом в Москву, но на станции Токаревке он вышел по своим надобностям и пропустил третий звонок. Он бежал за поездом...

Атмосфера сгущалась. Был вселен в дом приехавший из Петербурга член «экзекуционной комиссии», другими словами — главный палач. Он, подписывавший смертные приговоры, был вселен в мой дом. Мой письменный стол уже давно был украшением кабинета председателя чрезвычайной комиссии (это тот самый стол, помните? Иван Павлович, Иван Иваныч...). С каждым днем становилось хуже, с каждой ночью более жутко. Но надо думать, что в среде самих членов чрезвычайной комиссии было разногласие. Когда пришли предъявить приказ о выезде в Тамбов, что значило расстрел, Елена Николаевна наотрез отказалась. Тут произошел обмен мнений, в котором, к досаде некоторых членов чрезвычайки, но к большому удовлетворению моей измученной приятельницы, было выдано разрешение на выезд в Москву. С этой минуты в течение пяти дней, до самого отъезда, матросы, члены чрезвычайной комиссии, не покидали дома и отбирали имущество: одеяла, чулки, халаты, ложки,

платья... Легче было бы перечислить то, что нашим дамам оставили, чем то, что отобрали: их отпустили нищими.

Все это я узнал уже после, когда сам приехал в Москву. Но узнал и другое еще — что этим мучения не кончились. По приезде на станцию Грязи вагон был окружен штыками, и наши три дамы — Елена Николаевна, ее дочь Ольга 14-ти лет и моя племянница — были высажены и уведены для допроса. Из Борисоглебска был донос, что везут военную переписку, пятьсот тысяч денег и на миллион бриллиантов! Для допроса выехала чрезвычайная комиссия из Воронежа. Каждую из трех женщин допрашивали отдельно под револьвером. Сундук был выпотрошен, содержание вывалено на пол теплушки, и этот остаток имущества был подвергнут осмотру. Через сутки наших путешественниц отправили «в распоряжение московской чрезвычайной комиссии».

После посещения Людвига я решил оставить Тамбов и тоже ехать в Москву. Я попросил от университета командировку, конечно, с тем, чтобы не возвращаться. Как долго длятся канцелярские мытарства в советской стране и сколько их надо пройти, это знают только те, кто испытали это счастье. В последнюю минуту, когда я уже держал в руках все необходимые для выезда документы, вдруг комиссар меня окликает: «Гражданин! А гражданин! Вы что же на обратный проезд бумагу не берете? Вон у того стола... А то ведь назад не попадете». Я выждал минуту, когда увидал, что он занялся с другим посетителем, и, вместо того чтобы идти к «тому столу», пошел к выходу.

Разрушение

О жизни в советской России много писалось. «Три года», «Два года», «Четыре года»... Впрочем, нет, такого заглавия, как «Четыре года в советской России», я еще не встречал. Все, кто писали, выехали раньше, а те, что выехали в одно время со мной, не успели еще напечатать в то время, как я пишу эти строки. Но мне кажется, что *количество* прожитых и пережитых там годов, очень важное для пережившего и пишущего, для читающего не может иметь большого значения: кто знает один год, тот знает и два и больше;

и даже кто знает неделю, тот знает годы. Кто же теперь не знает — холод, голод, салазки, дрова, печурку, хождение по комиссариатским канцеляриям, разыскивание комнаты № 73, людей в папахах, говорящих о том, что вопрос надо рассматривать в такой-то «плоскости», заполнение «анкет» о вашем отношении к советской власти, о том, когда кончили образование... Кстати, на первый вопрос я неизменно писал: «никакое», а на второй: «век живу, век учусь». Кто не знает, что никогда нельзя было спокойно спать, никогда не было уверенности, что в два часа ночи или в четыре утра не будет звонка. О, этот звонок, длинный, долго не прекращающийся — пока не отопрут! И эти люди в папахах со штыками; и обшаривание ящиков, шкафов, сундуков; это грубое глумление, все на тоне: «Как бы не так. Знаем мы...» Кто же не знает этих ужасных дней, когда с каждою зарей новые известия о выселениях, ограблениях, арестах, расстрелах. Входят к вам и падают в изнеможении на стул: жена, или дочь, или ребенок, или старуха — и непрекращающийся плач, потому что даже и обратиться не к кому: на всякий вопрос издевательство. Или ничего не говорят: «Не известно», «Приходите после», «Успеете еще узнать-то». Или проходит элегантный в защитном цвете и «брюках галифе» чекист, проходит мимо молодой женщины в слезах и, расшаркиваясь, говорит: «Вот вы теперь интересная вдовица». Нужно ли рассказывать, что и в гости ходить было страшно, что вы всегда рисковали попасть в засаду, быть уведенным неизвестно куда. Одна женщина пошла к знакомым, а дома, чтобы не сбежал куда-нибудь, заперла ребенка на ключ; когда ее арестовали в «западне», умоляла отпустить домой, чтобы только ребенка высвободить, сдать на руки,— не отпустили. Я раз попал — опять звезда какая-то спасла. Ошибся подъездом; звоню в квартиру, отворяют мне: папахи, штыки, вся прихожая вверх дном, сундуки раскрыты, вещи валяются, и среди всего этого в слезах хозяйка и двое детей. Я, конечно, сейчас увидел, что ошибся, но осенило меня спросить: «Здесь живет Ольга Михайловна такая-то?» Хозяйка сквозь слезы говорит: «В соседнем подъезде». Иду к двери, вдруг: «Товарищ! Товарищ! Подождите». Хорошо «товарищество». И как исказили это прекрасное слово! Что может быть прекраснее — «товарищ по школе», «товарищ по не-

счастию», а тут вдруг на бульваре незнакомый к незнакомому подходит: «Товарищ, позвольте прикурить»... Итак, подозвал меня, и тогда начинается «товарищеское» обращение: руками в карманы, ладонями вдоль ног... А я только что вышел из канцелярии наркомпроса, где получил тысячи три, если не больше, уже не помню, за свою рукопись «Законы речи». Но я свои заработанные деньги — опять звезда — положил под жилет, не в карман: не заметил «товарищ». Не хочу утверждать наверняка, что он меня обшаривал с целью обобрать, но наверно можно сказать, что, попадись она под руку, такая сумма у меня на руках бы не осталась.

Все это, повторяю, известно уже всем. Но одно дело узнать эти ужасы, читать их из книги, а другое — пережить, да не только пережить, а каждый день переживать, безостановочно, без отдыха переживать. Вот эта повторяемость, эта непритупляющаяся острота однообразия, изо дня в день, без всякого возможного исхода, без луча, без просвета,— это та сторона советской жизни, которая непередаваема и впечатление которой недоступно тому, кто сам не пережил. Вот почему говорю, что в книгах «два года» или «три года» — это одно и то же, это только разница типографских знаков, но не разница впечатлений. Самое сильное в печатном рассказе отсутствует: длительность и безысходность.

И тем не менее надежда не умирала, она возрастала с увеличивавшимся сознанием невозможности конца. Таково уже существо надежды: чем меньше ей основания, тем она сильнее. И мы надеялись. Уже переехав границу, читал я в одном стихотворении:

«Бывают ночи без просвета,
Но без надежды никогда».

Мы надеялись, и только наличие надежды давало силу жить среди той смерти, которая нас обнимала. Когда говорю «смерть», не разумею человеческие жизни; не о зверствах тюрем, заложнических лагерей, расстрелов говорю, но я хочу отметить ту смерть, которая лежала в корне всякой деятельности и таким образом подтачивала самый принцип жизни не в отдельном человеке только, но во всех начинаниях людей, во всех их предприятиях.

«Деятельность советского правительства проходит под знаком творчества». Так мне сказал один юный поэт, сам служивший в наркомпросе, как раз в том подотделе «реформы школы», который заказал мне книгу по искусству чтения. Это было осенью 1918 года, когда я только приехал в Москву. Мы обедали в одном заведении, называвшемся «Алатр», на Тверской, во дворе бывшего дома Фальцфейна. Этот ресторан был специально для артистов; дорого, каждую неделю дороже, но возможно было, ходили; откуда только деньги брались, но только ходили. Это была театральная биржа. Тут были актеры, искавшие ангажементов, и режиссеры, искавшие актеров; люди на рельсах и люди, выбитые с пути. Тут же и я нашел много из предложенных мне лекций по декламации и мимике. Но это актерское прибежище скоро было закрыто, несмотря на все ходатайства и заступничества. По этому поводу вспоминаю, что когда благодетельница наша Екатерина Ивановна, державшая столовую по Пречистенскому бульвару во дворе дома № 25, должна была хлопотать о возобновлении ей права на держание того, что было приказано именовать «коммунистическая столовая», то на ее прошении рукой Луначарского было начертано: «В столовой этой, как мне известно, столуется много актеров, а потому существование ее необходимо для правильного функционирования многих актеров»... Итак, молодой поэт уверял меня, что «деятельность советского правительства проходит под знаком творчества». В то время всякая деятельность проходила под каким-нибудь «знаком», все равно как всякий вопрос рассматривался в какой-нибудь «плоскости». Мой юный поэт искренно верил в искренность начинаний того подотдела наркомпроса, куда ходил каждый день на службу; там, действительно, были люди очень милые, когда-то получившие образование, горевшие замыслами, новизной... Но, как пример того, что все это стоило, расскажу историю моей рукописи. Мне было объявлено, что она будет печататься в Москве, что корректурные листы будут присылаться мне и что первые листы я получу через два месяца. Через четыре месяца я обратился в подотдел — спросить, почему я не получаю корректуры? Мне отвечают, что рукопись послана в Петербург для печатания... Через полгода новый запрос — и тот же ответ. Через год пишу Луначарскому письмо, в кото-

ром прошу сделать распоряжение о возвращении мне рукописи, нужной мне для внесения некоторых поправок и вставок. Получаю от канцелярии ответ, словесный, что, где моя рукопись, неизвестно. Можно ли справиться в подотделе? Этот подотдел уже не существует. Может быть, можно спросить у кого-нибудь из служивших в то время? Никого из них нет. Может быть, известен адрес? Адрес ничей не известен, да и люди те уже не в Москве. И в самом деле: одного из принявших мою рукопись я встретил через два года на Пречистенском бульваре, выходя как-то из столовой Екатерины Ивановны,— он приехал на несколько дней из Харькова; другого я видел в Париже, когда был там после моего бегства. Оба с интересом справлялись о моей книге: они не были виноваты,— никто никогда не был виноват...*.

Я рассказываю то, с чем лично пришел в соприкосновение, но я не единственный. Сколько серьезных трудов погибло таким образом, и люди настолько были доверчивы, что даже не оставляли черновиков... Сколько рисунков, графических таблиц! И везде, во всем то же самое — поглощающее море смерти, а именовалось: «под знаком творчества». Громкие слова на устах. Во имя культуры у меня отнимается моя библиотека, книги, объявленные народной собственностью, продаются на базарной площади уездного города; а московский Институт музыкальной драмы (бывшая Филармония) одну из имеющихся у меня книг, «Моя музыкальная летопись» Римского-Корсакова, покупает за пятьдесят две тысячи рублей. Так во имя культуры одна рука уничтожает, другая переплачивает.

В связи с судьбой моей павловской библиотеки повторю здесь то, что мне рассказал упоминавшийся уже мною австрийский военнопленный, скрипач Покорный. Он приезжал в Москву, разыскал меня и между прочим рассказал следующий эпизод, которого

* Я написал свою книгу заново, и летом 1921 года она была принята к печати одним получастным-полуказенным издательством в Москве. Вышла ли она, не знаю, но считаю долгом предупредить интересующихся вопросом читателей, что, написанная два с половиной года тому назад, книга эта («Законы живой речи и правила чтения») в настоящее время уже не представляет последних выводов того, к чему я пришел в своей работе. Имею намерение дать новое изложение теории и правильного чтения и методики их усвоения.

был свидетелем. На базарной площади в Борисоглебске один человек продавал книги моей библиотеки. В числе их было шесть французских томов — биографии композиторов, которые я когда-то привез из Парижа. Подходит крестьянин, берет том «Бетховена», вырывает страницу, скручивает папиросу, закуривает и после этого ознакомления с доброкачественностью бумаги покупает все шесть томов за тысячу шестьсот рублей... В одном красноармейском клубе, где я читал лекции, подходит ко мне заведующий библиотекой коммунист. «Что у вас, спрашивает, за книга в руках? Я не могу видеть книгу, чтобы не посмотреть». «В таком случае,— говорю я,— вы легко поймете, что я должен испытывать, когда подхожу к полке книг». И рассказал ему случай с «Бетховеном», пошедшим на цигарки, и то, что сделали с моими книгами...

Институт музыкальной драмы, о котором упомянул, был одним из тех заведений, которые мне пришлось особенно наблюдать,— я в нем преподавал в течение двух с половиной лет. Это был яркий пример той мертворожденности, которая была печатью всех советских учреждений. На открытии Луначарский, конечно, сказал речь, как всегда, длинную, как всегда, пересыпанную цитатами, бесчисленным количеством иностранных слов. Это был исторический обзор оперы с указанием ее несоответствия требованиям «пролетарской культуры». Говорилось о том, что опера прежде была торжественна, что в ней изображались герои, что теперь героев не должно быть, что надо положить конец «помпезному шествию», сделать ее понятной народу и т. д. Ни одного указания воспитательного характера, ни одного ясного обобщения задач призываемого к жизни заведения. Но таков уж прием этих людей: они всегда говорили об идеях, никогда о фактах или действиях. Луначарский на всех открытиях, заседаниях, митингах говорил: «Мы создадим нового актера!» Из кого и при помощи кого? Ни одного учебника декламации или мимики нет — а мы создадим? Вся Россия заиграла — и ни одного учебника. Нет деревни, то есть говорю о первых двух годах после революции: не было деревни, где бы не было сарая, превращенного в театр; парикмахер за вечер получал десять тысяч. Все играют и воображают себя гениями.

Выписывают режиссера, он дает указания, ему говорят: «Нет, пожалуйста, мне замечаний не делайте, я талант, я играю по чувству». Нет учреждения, нет железнодорожного управления, где бы после канцелярских часов служащие не собирались в «студию»,— и начинается урок пластики или танцев, или репетиция «Марата», или «Вихря», или какого-нибудь «Пожара». Прежде, до революции,— так мне говорили в так называемом ТЕО, то есть в Театральном отделе,— во всей России было восемьдесят два театра; теперь в одной Москве одних красноармейских полтораста. Да, если искусство состоит в количестве, можно сказать, что драматическое искусство в советской России процветает...

Под этим количеством представлений какая же подготовка? Под этим «расцветом» какое удобрение? Несчастной молодежи только говорят громкие слова: «Мы создадим, мы воздвигнем» и пр., но чаще всего: «Мы опрокинем, уничтожим, растопчем»... Скажем несколько слов и о самой молодежи. Скажу в общем; понятно, есть исключения. После широковещательной речи наркомпроса на открытии Института музыкальной драмы ученики остались в недоумении относительно того, что же такое за заведение, в которое они поступили, и что, собственно, музыкальная драма... Происходили волнения. В одном заседании педагогического совета представитель учащихся заявляет, что ученики просят сделать им разъяснение: они волнуются, не знают, чего от них ожидают, какие задачи заведения и чем оно отличается от других... Совет решает, что для удовлетворения вполне понятного желания будет прочтено несколько разъяснительных лекций разными профессорами заведения перед всем составом учащихся. Первую лекцию поручают мне. Должен сказать, что редко я с такой любовью отнесся к предстоящему выступлению, как к этому; я готовился всякий раз, как оставался один: на улице, когда шел с лекции на лекцию, дома, когда ложился, или утром, когда вставал; меня подбадривали пытливость молодежи и доверие коллегии товарищей по преподаванию. Лекцию назначили на десять дней вперед, чтобы оповестить, или, как там говорят, «информировать». Ну вот сделали соответствующую «информацию». В назначенный час я был на своем месте. Знаете, сколько из пятисот учащихся пришло? Пятнад-

цать. Я прождал двадцать минут, подошло еще восемь человек — я ушел. О других лекциях уже не подымалось разговора. Если таково было отношение к этой в исключительные условия поставленной лекции, то можно себе представить, что была так называемая «посещаемость» в обычные уроки. Одну свою слушательницу спрашиваю:

— Да вы что же, бывали у меня на уроках?

— Я сегодня в первый раз.

Это был мой двенадцатый урок... На митингах своих ученики рассуждали о задачах театра, о призвании актера, о том, какой должен быть театр: реальный, условный, символический, выносили оценки преподавателям, но на следующем после митинга уроке — один человек... Ученица понятия не имеет ни о чем, ни об одной отрасли сценического мастерства, то есть просто даже читать не умеет, голос деревянный, ни вверх, ни вниз, ударений не понимает,— ловит меня на лестнице: «Вот я должна на будущей неделе в Антигоне выступать, так хотела вас попросить некоторых указаний»... Вот пример того, что это за публика. На экзаменах требуется ответить письменно на опросный лист, или, как там говорят, «анкету». Одна пишет: Пол? — Барышня. Возраст? — Шестнадцать. Профессия? — Артистка. Я одну спрашиваю: «Вы учились танцевать?» Медленно: «Нет»... Поспешно: «Но выступала». Я бы понял обратное: училась, но не выступала. Самомнению этих существ нет конца; некоторые из них идут в класс под именем «премьерша»; другие говорят: «Вот такая-то наша премьерша». Иногда это говорится с усмешкой, как бы в кавычках, но с первого года поступления некоторым удается прослыть премьершами. Выделение это, конечно, ничем не оправдывается. Все это нездоровый, ненормальный, искалеченный элемент. Все мазаные, подведенные, глаза нарочито с поволокой. Несчастные существа, которые понятия не имеют о том, что такое огонь искусства; никогда в них ни искры истинного увлечения. Они думают, что быть актрисой — это прежде всего устроить себе свою, на других непохожую внешность, а работа не в том состоит, чтобы, научившись, разрабатывать то новое, чему научилась, а в том, чтобы свои собственные измышления выявлять и свою природу в своих же ошибках и недостатках укреплять.

Из той, я даже не могу сказать «молодежи», пото-

му что в них прежде всего нет молодости, той массы народа, которая прошла за три года перед моими глазами во всевозможных «студиях», я только в одной среде нашел проявление настоящей свежести. Это в рабочей среде. Здесь я видел яркие, любознательностью горящие глаза; каждое слово принималось с доверием и с жаждой. Я очень много читал в так называемом Пролеткульте. Там были исключительно рабочие, на нерабочих был процент. Я всегда буду вспоминать с признательностью эту молодежь и их отношение к моей работе и ко мне лично. Не скажу, чтобы были таланты. За три года только одного видел, про которого могу сказать, что это действительно материал, что будет жалость упустить и не обработать такое золото. Но он жил где-то на окраине, там ходил в какую-то студию и только раз пришел на мой урок послушать. Он читал бытовые вещи Некрасова и Никитина так, что без слез нельзя было слушать. Белокурый, небольшого роста, с проникающим и, что так редко среди людей, идущих, скажу — лезущих, прущих на сцену,— с удивительно гибким голосом. Его фамилия была Кобазев. Но если бы и взял его кто-нибудь в руки — кто же у нас умеет научить? Люди прежнего театра, я убедился в этом, никакого понятия о технических приемах не имеют и потому, конечно, говорят, что они не нужны. Они только следуют указаниям своей личной природы; хорошо, когда природа не вводит в заблуждение, а если при неверном подходе или необработанности своих средств *вводит* в заблуждение? Но в том их и ошибка, что они не допускают, чтобы природа могла не подсказать; таким образом, они прямо узаконяют невежество, провозглашают невмешательство разума и выучки в то, что считают делом «души», а не сознательного мастерства. Таковы учителя. А каковы взгляды новых руководителей, это буду иметь случай сказать ниже и скажу, потому что это один из красноречивейших примеров того духа разрушения и смерти, который руководит теми людьми в том самом, что они называют «строительством». Итак, талантов в Пролеткульте не было, но была свежесть и горячность восприятия. Расскажу о случае, благодаря которому память о них мне особенно дорога.

Мой подход к вопросам театрального воспитания если не шел вразрез с теориями Станиславского, то,

во всяком случае, был «с другого конца». Он строил свою систему на воспитании чувства, я же говорил, что никакое чувство не вывезет, если человек не умеет владеть своими голосовыми и мимическими средствами, сознательно руководя ими согласно указаниям законов природы. Станиславский в то время царил, и «чувство» и «переживание» не сходили с уст, ни даже с расписания уроков. Такое же расположение застал я и в Пролеткульте. На первых порах студийцы отнеслись как будто с опаской к моим, новым для них словам; но мало-помалу из занятий и из достигаемых результатов увидели правду моего подхода и подарили меня доверием, которому я на второй год имел случай видеть подтверждение столь же веское, сколько трогательное.

Однажды прихожу на урок; ученики мне рассказывают, что у них состоялось заседание преподавательского состава, на котором постановлено, что «на уроках Волконского должен присутствовать инструктор, для того чтобы разъяснять студийцам, что из указаний Волконского приемлемо, а что должно быть отвергнуто». Затем один из них раскрывает большую книгу и говорит:

— После этого у нас состоялось собрание учащихся, на котором мы вынесли следующее постановление: «Студийцы, заслушав сообщение о том, что на занятиях с нами преподавателя Волконского должен присутствовать инструктор для разъяснения нам того, что из его курса приемлемо, что нет, постановили: заявить собранию преподавателей, что мы, студийцы, люди взрослые, сами уже способны разобраться в том, что нам полезно или не полезно, что искусство нас интересует со всех сторон, что поэтому мы желаем ознакомиться со всеми возможными теориями и, наконец, что подобную опеку над Волконским мы считаем нежелательной». Вот, Сергей Михайлович, что мы ответили.

Нужно ли говорить после этого, с какой любовью я к этим занятиям относился? Личное отношение учащихся было самое человеческое, какого только можно было желать, и знаки внимания тем дороже, чем проще и непринужденнее. Люди были вежливы как-то мимоходом, без нарочитости. На первых порах говорили «товарищ Волконский», но скоро перешли на «Сергей Михайлович». Одна только разбитная девица все про-

должала «товариществовать». Я нагнулся к сидевшему рядом со мной ученику и спросил, как ее зовут. В следующий раз, когда она меня окликнула «товарищ Волконский», я спросил: «да, Татьяна Ивановна, что вы желаете?» Не знаю, польстила ли ей такая личная форма обращения, но она после того имела мудрость называть меня по имени и отчеству. Как-то летом студийцы моего класса ездили в Сибирь, в артистическую поездку; они мне прислали оттуда куль белой муки...

И со всем тем я от них ушел, должен был уйти, потому что не мог мириться с направлением руководителей. Эту молодежь воспитывали на принципах классовой розни, на чувствах вражды и ненависти; выбор пьес для игры, как и для чтения, вращался в пределах «революционного репертуара». Жалко было видеть эти юные сердца, раскрывающиеся к жизни и которые распаляются злобой. Я не стесняясь говорил им свое мнение. Уж не знаю, чем объяснить, только я никогда не испытал над своими лекциями никакой цензуры. Я говорил им, что всю жизнь относился к людям свободно, без классовых предрассудков, что не для того я испытал ужасы революции, чтобы вдруг измениться, что если я сколько-нибудь пользуюсь сочувствием моих слушателей, то не потому, что я перестал быть буржуем, не потому, что сделался пролетарием, а потому, что остался человеком, как это ни трудно по нынешним временам, когда просыпается в людях зверье. Два раза я выходил из Пролеткульта, два раза возвращался по просьбе учеников. Но в третий раз уже написал в совет обстоятельное изложение причин, по которым считаю, что мои лекции при таком направлении не нужны. К этому прибавлялось и то еще, что как раз в это время была там поставлена пьеса «Невероятное, но возможное». Ужаснейшая пошлятина. Люди давали друг другу подколенники, ловили на себе и давили насекомых, вытаскивали друг у друга из носу что-то такое, что размазывали на ладонь и рассматривали. Одним словом, тошно смотреть было на эти достижения «пролетарского режиссера». Я написал, что *для этого мои занятия* не нужны. Прибежал один из преподавателей, сказал, что собирается депутация студийцев, но я просил передать, что прошу не беспокоиться, а в доброжелательстве их не сомневаюсь и ухожу не из-за них. Встретил как-то

через несколько месяцев целую гурьбу пролеткультцев на бульваре: «Ну уж как вы там хотите, Сергей Михайлович, а в будущем году вы *будете* у нас»... Я не у них, я совсем в другом месте; но я бы хотел, чтобы, если когда-нибудь эти строки попадутся комунибудь из них, хотел бы, чтобы они знали, что, за исключением двух моих лучших учеников и продолжателей моего дела, Фишерова и Маркова, о которых скажу ниже, они, пролеткультцы, лучшее мое воспоминание в том царстве зла и смерти, что именуется РСФСР. И в этом моем воспоминании о них я выхожу за пределы лекций и студийных занятий: память их мне дорога не как лектору только, а как русскому человеку, который в море мрака и гнили, заливающем родину, озирается на то единственное, что вызывает искру надежды.

Я бы хотел назвать нескольких из них, тех, имена которых помню. Для читателя это будет, может быть, неинтересно; но, не знаю почему, иногда записки мои в моих глазах приобретают что-то загробное. Часто *там* мне казалось, что я никогда не увижу остального мира Божьего, и часто, даже всегда, здесь мне кажется, что я уже никогда *туда* не попаду. Четыре года я жил с мыслью о неизменной окончательности моего положения, и когда я писал, у меня было такое чувство, что я пишу не перед могилой, а уже из-за могилы. Вот это чувство просыпается во мне всякий раз, как прикасаюсь к таким воспоминаниям, которые остались как дорогие проблески во мраке. Я хотел бы подчеркнуть разницу между тем, от чего я бежал, и тем, от чего мне грустно было уходить. Читатель простит, если я ему скажу, что, когда я в таком «загробном» настроении, меньше меня интересует тот, кто меня читает, нежели тот, о ком пишу. Вот почему часто проходят под пером и ложатся на бумагу имена, которые ничего не скажут читателю, потому что я и сам не могу большего о них сказать, как то, что они мне памятны...

Был староста нашей группы, Сидельников; большой, с немного тупым лицом, не очень послушным голосом, но замечательно одаренный для пластики. Из него вышел бы прекрасный мимист. В нашем ритмическом представлении, которое мы дали и дважды повторили в театре Зона, он изображал Вождя в мимической картине, сочиненной Ниной Георгиевной

Александровой, нашей главной ритмичкой в Москве. В нем было что-то индейское; он был бы великолепен краснокожим и с перьями на затылке. Он был коммунист, пошел добровольцем и погиб на льду под Кронштадтом при последнем восстании...

Был длинный, долговязый Языканов, заменивший покойного Сидельникова в Вожде. Светлая природа, чистая...

Маленький Алексей Матавин был тонко чувствующий, впечатлительный к красоте; отличный ритмист.

Был Григорьев, бывший когда-то учителем, хорошо, тепло и с пониманием говоривший о детях. Это тот, который мне читал протокол заседания...

Был и другой Григорьев; мы звали его «Гриша». Милый, замечательно аккуратный, так что занимал даже какую-то по Пролеткульту должность, выдавал какие-то свидетельства, подписывал бланки. И наш «Гришенька» был не совсем безразличен к некоторому почету, связанному со всяким званием: он все-таки чувствовал себя маленьким органом советской власти; но это было не из чванства, а только вследствие природной скромности его и необыкновенно совестливого отношения к обязанностям. Его все любили...

Прекрасный малый был Носов, разумный, с ясными взглядами. Вспоминаю о нем еще с особенным интересом потому, что, выходя с большой нашей ритмической демонстрации, он сказал мне: «Я в первый раз понял, что значит, когда говорят, что искусство облагораживает душу»...

Было двое Тумановых: один просто Туманов, а другой «Туманов с трубкой». Последний был молчаливый, все вслушивался да присматривался. Раз спросил его: «Отчего вы, Туманов, никогда не отвечаете? Я ведь и не знаю даже, знаете ли вы или не знаете. Могу подумать, что вы безучастны». Он показал мне свою тетрадь, в которой все было записано и которая свидетельствовала о вдумчивом внимании.

Был Петров, человек с волей и врожденным чувством порядка.

Вот. Имен больше не помню, но это не значит, что забыл людей. Не скажу, чтобы искусство от них со временем выиграло, но Россия когда-нибудь о них возрадуется... Возрадуется, если их не успеют испортить. В той атмосфере, в которой проходит их умст-

венное развитие, они получают готовые формулы мышления, прежде чем успели сами мыслить; они получают готовые оценки прежде, чем успели умственно расцвесть. Коммунистические теории им навязываются, они их хватают и повторяют, не претворив в себе, без всякого личного творчества. Они превозносят футуристических поэтов, не испытав еще прикосновения красоты. Они судят раньше, чем думали, они восхищаются, не испытав восхищения. Мысль предшествует чувству, слово предшествует мысли, суждение основано на доверии, определяется желанием не отстать от «моды». Когда некоторые превозносили Маяковского и презрительно складывали губы, произнося имя Пушкина (таких было очень немного), я им говорил:

— Как вы думаете? Что нужно для того, чтобы судить?.. По-моему, два условия нужны: нужно знать и нужно иметь, с чем *сравнивать*. Не обижайтесь, но много ли вы знаете, много ли вы видели?.. Я вырос в семье, где жили литературные, художественные интересы; в доме родителей моих бывали Тургенев, Майков, Полонский, Некрасов; Владимир Соловьев, философ и поэт, был свой человек; лучшие умы, артисты, музыканты, все бывали у нас. Изъездил я всю Европу, перевидал и переслушал лучшее, что было в музеях, выставках, концертах, театрах. Доступны мне кроме родного четыре языка, что можно было, перечитал по интересующим меня вопросам. И между тем я уже за тридцать перевалил, когда только начал признавать за собой право суждения, а книги мои, которые ваши же библиотеки покупают по двадцать тысяч за том, я писал в сорокалетнем возрасте... Узнайте сперва; узнавши, испытайте, все равно — восхищение или омерзение, только испытайте собственное ваше чувство и тогда выразите его как умеете. Но не повторяйте чужие слова, да еще такие иностранные, мудреные, что и не поймешь ничего... Вот из вас сейчас кто-то сказал «продуктивный»; а что значит «продуктивный»?

— Продуктивный? — полезный.

— Вот как? Молоко полезно?

— Полезно.

— Продуктивно?

— Нет.

— Сон полезен?

— Полезен.

— Продуктивен?

— Нет.

— Что же значит «продуктивный?».. Ну, значит плодотворный. Понимаете — плодотворный? Чуете прекрасное русское слово?

— Понимаем.

— А вот кто-то сказал «компенсация». Что значит?

— Компенсация? — награда.

— Вы думаете? Вот от взрыва складов пострадала деревушка тут за Тверской заставой. А про жителей говорят, что они от правительства получили компенсацию. Что же, по-вашему, они сгорели и за то, что сгорели, получили награду?

— Нет, они не награду, а за убытки.

— А за убытки как называется?

— Возмещение.

— А награда за что получается?

— За услугу.

— Ну за услугу, за подвиг, за старание... Ясно, значит, что такое «компенсация»? Это то же, что возмещение. Так зачем же будем нерусское слово употреблять, да еще с неверным значением и которое туманит наше понимание, когда есть два отдельных, чисто русских слова?..

Вот в чем губительная сторона этой заразы иностранными словами: вытесняются из мозга известные понятия; они сливаются в одном, малопонятном слове, и вместо двух ясных, определенных получается одно неопределенное, туманное. Я ввел такой прием на своих лекциях: я иногда нарочно запинался, говорил иностранное слово, но предпосылал ему — «с позволения сказать». Так, я говорил: «Я должен вас... с позволения сказать, ин-фор-ми-ро-вать»; или: «Мы с вами в то время еще не были... с позволения сказать, в кон-так-те». Один профессор университета при мне сказал, что нужно сторожу поручить отапливать аудиторию, что «в крайнем случае его можно *гонорировать*». О «великий, могучий, правдивый, свободный русский язык»! Не велик уже, потому что испошлился; не могуч, ибо ослабевает, раз прибегает к чужим языкам за помощью; не правдив, когда черпает не из корней своего духа; не свободен, когда во власти внешнего лоска, а не внутренней культуры... Мои приемы стали прививаться, пробуждать внимание к чистоте языка;

я читал и особую лекцию «О чистке русского языка». На третий год многие уже сами говорили «с позволения сказать»...

Коммунистов среди той массы, которая прошла перед моими глазами, было очень немного, и из этих немногих — настоящих, по убеждению коммунистов совсем мало. Многие шли из выгоды. Одного юношу я знал, который мне со слезами и с содроганием рассказывал о том, что сделали с его отцом — священником; через год узнаю: он записался в партию, уехал на юг, получил отличную командировку... Одного спрашиваю, указывая на девушку:

— Скажите, почему она коммунистка? Ну чем она коммунистка? Просто милая девушка во цвете лет.

— А она думает, что ее будут бояться.

Тоже своего рода снобизм.

В каждом учебном заведении была, что называется, «коммунистическая ячейка». Члены ее пользовались, конечно, как вообще коммунисты, разными личными преимуществами; но и сама ячейка стояла в известном смысле вне закона: она была самостоятельной единицей, влитой в учебное заведение. При выборах ячейка выбирала своих представителей, которые считались выбранными помимо общих выборов от состава учащихся. Составление ячейки бывало иногда трудно. Один заведующий школой сказал мне: «Ну как я устрою у себя ячейку, когда у меня на полтораста человек один коммунист — двенадцатилетний?» А между тем наличность ячейки была очень важным условием существования в школе. Другой заведующий рассказывал, что он подавал ведомость с требованием причитающихся на школу каких-то продуктов. Принимающий от него бумагу спрашивает:

— У вас есть ячейка?

— Нет.

Обращаясь к соседнему столу и передавая ведомость:

— Удовлетворить в шестой части.

Стойкость тех преподавателей и заведующих, которые *не* записывались в партию, заслуживает большого уважения. Но это не значит, что все записавшиеся изменили своим убеждениям. Когда от принадлежания к партии зависит жизнь учебного заведения, обеспеченность учащихся, можно ли бросить упрек в того, кто ради этого принимает клеймо коммунизма? Но

еще больше заслуживает уважения стойкость учащихся, которые в опросный лист записываются беспартийными и имеют мужество оставаться таковыми, несмотря на все приманки коммунизма. Окруженные соблазнами мира сего, соблазном хлеба и соблазном власти, они не смущаются картиной безопасности, в какой живут товарищи, и во внутреннем сознании своей правоты находят возмещение за внешнее ограничение прав. Одна из наибольших жестокостей в этом отношении была введена осенью 1921 года. Студентам был роздан опросный лист с приглашением ответить между прочим на вопрос о сословном и служебном положении отца. Кто оказывался сыном офицера, чиновника, дворянина, лишался пайка...

О несправедливостях при применении коммунистического принципа можно бы много рассказать. Но здесь, собственно, всякий может и сам себе вообразить, до чего упорство в жестокости может дойти. Как происходят выборы в учреждениях, всем хорошо известно. Читается список коммунистических кандидатов. «Кто против?» Все молчат. «Прошли единогласно». В этой области царит однообразие. Но большое разнообразие можно подметить в том, как сами коммунисты к таким приемам относятся. Я рассказал однажды об этом жене видного коммуниста, из кремлевских, — Красикова (скажу о нем два слова ниже). Так она отказалась верить: «Ну разве это мыслимо! Рабочие настолько сознательны, что такого насилия бы не допустили над собой». Она, очевидно, принадлежала к убежденно верующим, к типу слепых идеалистов. Есть и такие, которые это знают и этому не сочувствуют. Эти стыдятся лжи, они разочарованы в товарищах, они втихомолку даже критикуют. Но есть (и это большинство) циники, которые знают и одобряют, которые движимы принципом — «так им (то есть некоммунистам), подлецам, и надо». Есть, наконец, и такие, которые на все свое дело смотрят как на какую-то пробу. Один так говорил: «Все это опыт. Но если даже он приведет к гибели, не только нашей, но и общей, мы все должны этот опыт довести до конца». Как видите, все степени представлены в коммунистическом сознании, от слепой веры до зрячего цинизма...

Я упомянул, что на лекциях своих говорил довольно свободно; во всяком случае, слушатели мои, как коммунисты, так и некоммунисты, отлично знали, ка-

ков человек стоит перед ними. К чести молодежи, по крайней мере той, которую я знал, жгучие вопросы проходили в полном с обеих сторон молчании. Я говорил не стесняясь; никогда, конечно, не говорил *все*, что думаю, но никогда и не сказал того, чего *не* думал. Среди свободного обмена, в каком проходили мои уроки, некоторые мои слова падали в глубокое молчание. С уважением вспоминаю ту большую дисциплину духа, которая в этом молчании проявлялась. Коммунистам не было никакой причины молчать, и, однако, какое-то уважение перед личным мнением их удерживало... Но дисциплина духа есть спутник возраста, и некоторые заведующие школами младшего возраста, или «первой ступени», как они там называются, говорили мне, что иногда дым коромыслом стоит у этих детей «от политики»... Бывало и так, что мои слова не вызывали никакого изменения температуры, подвергались свободному обсуждению, даже ставились новые вопросы; это был необманный барометр: значит, в аудитории нет коммуниста, ни чекиста...

Такова была молодежь. Кто же были руководители? Руководители были коммунисты. Казалось, что может быть общего между коммунизмом и искусством? А между тем они проникли и в искусство. Насилие может всякую дверь прошибить, но оно и разрушает тот дом, в который входит. Теорий этих людей относительно искусства я никогда не мог понять. «Пролетарское искусство» мне так же непонятно, как «пролетарская наука», вообще как «пролетарская культура». Что значит «пролетарская музыка» или «пролетарская геометрия», для меня темно. Для этих людей, очевидно, существует, то есть еще не существует, но может, должна осуществиться и пролетарская музыка, и пролетарская алгебра, и пролетарская медицина. Развивая дальше, мы дойдем и до пролетарского «дважды два». Повторяю, не понимаю, и, несмотря ни на какие разъяснения доброхотных ораторов, несмотря на многочисленные заседания, где эти вопросы подвергались обсуждению, я так и не понял. Один из принципов, на которых они верхом сидят, это «коллективное творчество». Исходный лозунг во всем, не в одном искусстве: что «спасет не Бог, и не царь, и не герой, а сам народ». Этот лозунг распространяется и на искусство. Тысяча

рабочих могут составить одного Пушкина; это им кажется так же просто, как математическая истина. Людское количество ставится на место человеческого качества. В применении к жизни этот принцип ведет к неминуемому ослаблению личности, к поглощению ее в общем океане людей; при этом он сообщает личности какое-то ложное сознание своей ценности помимо каких бы то ни было личных заслуг; таким образом, подтачивается самый корень жизненной ценности — характер. Перенесенный в искусство, этот принцип есть просто-напросто убийство искусства. Судите сами. Объявили войну «герою»; в пьесах все — толпа. И не понимают, что это есть убийство того, в чем сама сущность искусства, — убийство символа. Этим, можно сказать, обезглавливается искусство. Ведь без символа искусства нет. А толпа разве может быть символом? Представьте такую сцену. Сидит какой-нибудь на троне паша; приходит к нему человек, начинает говорить. Паша, представитель грубой силы, спрашивает: «А ты кто такой?» «Я, — отвечает человек, — я — Истина». Или женщина говорит: «Я милосердие». Все это понятно, это есть олицетворение, это символ. Но представьте вместо одного человека два. Будет олицетворение? Будет символ? Не говоря о нелепости такого ответа, как — «*мы* Истина». Конечно, никакого символа уже не будет; аллегория погаснет; из единого превратится в собрание единиц. И не от количества будет тут зависеть сила; даже наоборот, чем толпа будет больше, тем от нее меньше будет исходить убеждающей, проповеднической силы. По той простой причине, что толпа не может быть символом, что в едином человеке *чувствовалось* множество, а выразителем единства множество *не может быть*. Этого не понимают люди, проповедующие то смутное начало, которое они называют коллективным творчеством. Нет, идеи их мне темны; поговорим о некоторых случаях проникновения идей в практику жизни.

Я случайно зашел однажды в ТЕО, Театральный отдел, помещавшийся на Неглинной улице против Александровского сада, и попал на неожиданное зрелище. В этот день вновь назначенный заведующим Мейерхольд читал перед составом служащих свою «декларацию». Я попал на это первостепенной важности событие. Мейерхольд, который в «александринские» времена ходил во фраке и белых перчатках, теперь

заменил фрак косовороткой, а белые перчатки черными ногтями. Этот политический фигляр, сатанинской пляской прошедшийся по русской сцене, теперь завершал свое дело разрушения. Он заявил, что театр есть не что иное, не имеет право быть иным, как органом коммунистической агитации; театр есть коммунистический фронт, все равно как военный фронт, и в нем должна быть такая же дисциплина; армия театральная должна повиноваться приказаниям, и если ТЕО найдет нужным в целях политической агитации послать актера, а то и целый театр в тот или иной город или даже на военный фронт, не может быть места рассуждениям. Так строил театральное дело новый руководитель его, так развивал свои теории и так на началах твердой дисциплины, к поддержанию которой в качестве наблюдателей за служащими приглашались матросы, утверждал заведующий ТЕО свои взгляды на искусство и свою «Тео-критическую» власть... Я имел случай через некоторое время слышать изложение руководящих начал «нового театра» в довольно откровенной форме и, как бы сказать, ближе к делу.

Я был приглашен читать в красноармейском клубе в Кремле, в Клуб имени Свердлова. В Николаевском дворце, в бывших покоях великой княгини Елизаветы Феодоровны, за чудными зеркальными окнами, из которых вид на Замоскворечье, слонялись по паркетным полам, в шелковых креслах полулежали в папахах и шинелях красноармейские студийцы. Работа была неблагодарная. Слушателей моих гоняли на работу, на дежурства, в караулы, а то и вовсе угоняли на фронт. Состав слушателей всегда был другой, никакого курса вести нельзя было, ни одного даже стихотворения разучить. Это было вечное переначинание. Наконец сами руководители признали невозможность положения и пригласили преподавателей на совещание для выработки программы и упорядочения занятий. Такие маленькие «генуэзские конференции» по всем ведомствам не прекращались (по крайней мере в той области, с которой я приходил в соприкосновение), но результаты бывали не плодотворнее большой. На это совещание пришел помощник Мейерхольда, как тогда говорили, его правая рука. Это был некий Басалыга, когда-то помощник режиссера в Малом театре. Вот обмен мнений во время заседания, который мне запомнился. Один из преподавателей говорит, что надо заве-

сти класс выправления речи: нельзя же терпеть на сцене смешение говоров, — люди со всех концов России. Басалыга возражает:

— Выправлять речь? Для чего? Что ж такое, что всевозможные акценты? В России много народностей, все народности должны быть представлены в искусстве. Акцент? Луначарский говорит с акцентом, это не мешает ему быть прекрасным оратором.

Заходит речь о репетициях:

— Репетиции? Зачем репетиции? Совсем не нужно, это препятствует свободному развитию коллективной личности, это тормозит свободное творчество.

— Да как же пьесы ставить без репетиций?

— Пьесы? Для чего пьесы?

— Так что же ставить?

— Да не ставить. А придут, посидят, расскажут друг другу свои переживания в октябрьские дни, пропоют три раза «Интернационал» и разойдутся. И у всех будет легко и тепло на душе.

Позволительно спросить этих «людей театра», что же остается от *театра?* И не верно разве, что самый принцип, которым они хотят заставить *жить* свой «коммунистический театр», есть принцип *смерти?..*

На первой моей лекции в Клубе Свердлова я увидал человека в числе моих слушателей, который слушал с совершенно каменным лицом. Он был в штатском, и потому я сейчас же признал в нем какое-нибудь «начальство». Это оказался заведующий клубом, важный коммунист Красиков. Он дважды был комиссаром юстиции (только подумайте: «justitia» по-латыни — «справедливость», министр справедливости у большевиков!), после он был председателем трибунала и комиссии по отделению церкви от государства. Несмотря на каменное его лицо, я все же видел, что урок мой ему нравится. После лекции он подошел познакомиться и повел меня в здание судебных установлений посмотреть большой зал, этот дивный круглый Екатерининский зал. Там в тот вечер читал лекцию Стеклов; аудитория в папахах скучала и курила... И были правы, скучая: я ничего никогда более тягучего в смысле лекторства не слыхал... Когда я уходил, раздались по коридору за мной шаги: Красиков догонял меня, пошел со мной и стал излагать свои впечатления по поводу моей лекции, а еще больше свои пожелания:

— Вот когда вы говорите об ударении, это очень хорошо, очень нужно для всякого оратора; но желательно было бы, чтобы вы подбирали примеры более соответствующие, знаете, такие, с протестом, такие, знаете... Ну, одним словом, революционные. Ведь это для них ближе, это им родное, тут он себя найдет... Ведь таких примеров вы сколько угодно подберете у того же Пушкина...

Он долго говорил на эту тему, на тему того, *что* интересует красноармейского студийца. Однако при дальнейшей моей работе я убедился, что главари очень ошибаются относительно литературных настроений своих питомцев. Были, конечно, такие, которые в азарт приходили, декламируя:

«Сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи,
Растопчем искусства цветы».

Но большинство было настроено благодушно. И знаете, что имело наибольший успех? Маленькое стихотворение Тютчева «Гроза в дороге». Выписываю его для тех, кто его не помнит:

«Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу! За тучей прогремело.
Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой...
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя:
Пламень, беглый и летучий,
Окаймил ее края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Все сердитей и смелей.

Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля».

Вот что больше всего нравилось этим детям земли, что в папахах и шинелях слонялись по залам Николаевского дворца...

Красиков, разговаривая со мной, провожал меня все дальше; я жил в Шереметевском переулке, он проводил меня до самых моих ворот. Заинтересовался предстоявшим в театре Зона нашим ритмическим представлением. На программе между прочим стоял моего сочинения «Ритмический марш». Я сказал, что, к сожалению, не могу так его поставить, как бы хотел.

— Почему?

— Потому что у нас учеников всего полтораста человек, а для этого нужно по крайней мере человек триста.

— Так поставьте в Кремле. Мы вам дадим пятьсот...

К счастью, разговор об этом не возобновлялся.

Два раза после лекции Красиков пригласил меня чай пить. С его женой, Натальей Федоровной, я был уже знаком: она была моей слушательницей в клубе, а потом поступила в Музыкальную драму. За стаканом чая он много рассказывал о партии. В то время заседал в Кремле Интернационал. Я спросил:

— Кто же из ваших иностранных гостей наиболее вас радует?

— Итальянцы. Их программа наиболее близка к нашей, и они наиболее из всех готовы.

Впоследствии эта уверенность должна была поколебаться. Когда я приехал в Италию три месяца тому назад (в марте 1922 года), я нашел, — по рассказам, конечно, — что Италия вовсе не такой зрелый плод, который вот-вот свалится.

Я спросил Красикова, какой момент после утверждения их власти был для них наиболее критическим. Он ответил: «Деникин».

Красиков ко мне благоволил. «Вы, конечно, представитель буржуазной культуры, — сказал он раз, — но вы самостоятельны и по-своему верны себе». Два раза он дал мне записку на получение как преподавателю клуба пайка из кремлевских складов. Это был замечательный паек: сыр, сардинки, икра, сахар, масло... Да, Красиков относился хорошо, но и он, по-видимому, в иных случаях ничего не мог. Когда осенью 1921 года я приехал в Петербург с намерением ехать «дальше», я получил известие из Москвы, что прихо-

дили меня арестовать. Елена Николаевна, будучи в Москве, зная отношение Красикова, обратилась к нему за советом, тем более он был комиссаром юстиции. Он сказал, смеясь: «Надо Сергею Михайловичу переменить фамилию». Они любили на трагедии отвечать шуточкой и смешком...

Вспоминаю по поводу Красикова еще маленькую подробность. Когда в тот вечер мы выходили из залы судебных установлений, где шла тягучая, сон наводящая лекция Стеклова на темы политической экономии, в садике перед зданием несколько игравших детей кликнули:

— Здравствуйте, товарищ Красиков!

— Здравствуйте, здравствуйте... Вы что же, граждане, не на лекции?

Припомню здесь, что я имел случай видеть и еще одного из больших большевиков. Чтобы просить об освобождении двух моих двоюродных братьев-заложников, о которых скажу ниже, я был у Каменева. В великолепных хоромах генерал-губернаторского дома принимал меня председатель Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Он выслушал, сказал, что это не от него зависит, что заложники переведены в ведение некоего Медведя, что-то записал, что-то «тем не менее» обещал и, провожая меня к двери, спросил:

— А что, второй том «Архива декабриста» выйдет?

— Не знаю, я уже этим не могу заниматься.

— Почему?

— Потому что не могу себе позволить роскошь издавать шесть томов иллюстрированного издания.

— Да это государство должно издать.

— Уж этого я не знаю. А кроме того, мои работы по этому делу все пропали.

— Как так?

— Да так. В официальном отчете делегата Коллегии охраны памятников значится, что отобранные в доме Волконского бумаги израсходованы в уборной уездной чрезвычайной комиссии.

— Да ведь это издевательский ответ!..

В моих разговорах с большевиками всегда наступал момент, когда я стоял на краю опасности. Но мы подходили к двери, его рука была протянута, я протянул свою и вышел...

Вернемся к грустной повести о судьбе некоторых

советских предприятий в области театрального воспитания.

Я был свидетелем гибели одного начинания. То были инструкторские курсы рабоче-крестьянского театра. Люди приехали на зов с разных концов России в уверенности, что, по истечении курса в несколько месяцев, из них сделают не только актеров и режиссеров, но и преподавателей актерского и режиссерского мастерства. Наивно? Да, с их стороны наивно верить, но раз их пригласили, почему же и не поверить и не поехать? С их стороны наивно, а со стороны пригласивших?.. Краткосрочные курсы были во всех ведомствах и по всем отраслям. Как же иначе? Ведь надо торопиться: советской республике все нужно, а никого нет. Были прежде люди-специалисты, но их поразогнали, порасстреляли, осталось малое количество «спецов», за ними, положим, ухаживают, но ведь только по необходимости и пока нет «своих». Один оратор так выразился про учителей и профессоров: «Это тот навоз, без которого мы не можем обойтись, но который будет выкинут, как только минет в нем надобность». И вот расплодили краткосрочные курсы по всем отраслям. Длительность курсов обычно полагалась в девять месяцев. Почему этот срок беременности, неизвестно, но в течение этого срока должны были нарождаться и учителя по всем предметам, и мастера, и счетоводы, и дипломаты, и актеры, и режиссеры. Так были открыты и краткосрочные курсы для будущих инструкторов рабоче-крестьянского театра.

Не знаю, как другие краткосрочники в других ведомствах, но эти, окончив положенный им срок, увидали, что их ничему не научили. Мало того, они убедились, что если бы их и продолжали учить, то все равно при такой программе и таких некоторых учителях они бы ничему не научились. Положение людей было трагическое, и должен сказать, что они в нем выказали много мужества. Они потребовали продления курса еще на год; они выработали собственную программу, да с каким умом, с каким пониманием дела! Всем опытом своего *незнания* они построили требования своему *знанию*. Это было в области умственной то самое, что железная дорога, которая по проложенным рельсам сама провозит себе рельсы для постройки дальнейшего пути. Они потребовали собеседования с Мейерхольдом, добились. К тому времени прежнее по-

мещение на Неглинной уже было занято другими, они устроились в бывшем «Славянском базаре». Я часто у них бывал, и из них многие ко мне приходили, держали меня в курсе вопиющего с ними обращения. То им обещали, то на них рукой махали, как на кого-то докучливого, кому говорят: «до вас ли сейчас!» А при вступлении в должность Мейерхольд заявил, что рабоче-крестьянский театр будет его излюбленным детищем... Прихожу как-то на лекцию — помещение занято другим учреждением. На другой день приходит ко мне курсант с извинением, что не успели меня вовремя предупредить; пока лекций не будет, а надеются впоследствии получить помещение в Харитоньевском переулке. Туда уж я не мог ходить, слишком мне было далеко, я извинился, и мы простились; и денег я даже недополучил... Студийцы эти хорошо ко мне относились. Однажды иду по Остоженке — с другой стороны улицы меня окликают, и перебегает ко мне один из них, Зенкевич была его фамилия; он был председателем совета учащихся, умный, дельный, коммунист.

— Сергей Михайлович, наши курсы яблоки получили, и на вашу долю мы отложили. Вот адрес, а вот билет на получение.

— Ну что вы беспокоитесь. Вам нужнее, я и без яблоков проживу...

— Нет, нет, мы знаем, что вы больше каждого из нас работаете.

Признаюсь, это был, может быть, самый ценный для меня в жизни комплимент, это признание из уст коммуниста... Впрочем, справедливость заставляет меня упомянуть еще один случай. Меня приглашали по телефону в одно заведение читать лекции. Я отказывался за неимением времени, но вот третий телефон: ну хоть только зайти поговорить, — может быть, и устроится. Призыв был настолько убедителен, женский голос настолько искренен, что я пошел. Ничего из совещания нашего не вышло, потому что времени у меня действительно не было, но я нашел большое сочувствие и к моей работе, и к тому, что я рассказал про условия, в каких живу. Я ушел, искренно сожалея, что обстоятельства не позволили мне принять приглашение... Каково же было мое удивление, когда через три дня я получил банку сгущенного молока и бутылку портвейна от той самой особы, с которой вел пере-

говоры. Только много месяцев спустя узнал я, что она одна из виднейших коммунисток... Возвращаюсь к инструкторам.

Зенкевича я раз встретил уже после того, что перестал у них читать. Он приходил в Институт слова, где я читал, присутствовать на заседании в качестве представителя какого-то общемосковского учреждения учащихся. Он был похудевший, дерганый, измученный. Я бы не удивился, если бы услыхал, что он кончил сумасшедшим домом. Да, вот это бывало страшно в Москве: надо было видать людей два раза, раз в неделю, а если с бо́льшими промежутками, то жуткая замечалась перемена, и нужно было над собой произвести усилие, чтобы не выдать своего впечатления... Что сталось с этими курсами, не знаю. В сентябре 1921 года на Никитской кто-то меня приветствует.

— Простите, не узнаю.

— А я с рабоче-крестьянских курсов.

Я обрадовался, хоть и не узнал. Спросил про курсы — только рукой махнул:

— Нет больше ничего, и все рассыпались, я еще вот брожу.

У него на плечах был мешок. Я спросил, как его фамилия.

— Медведев.

— Как! Вы Медведев! А я вас не узнал... Как я любил ваши ответы, а еще больше ваши вопросы!..

Хотелось пригласить его зайти вечером, чтобы узнать о кончине курсов, но я через два дня уезжал в Петербург, а оттуда, надеялся, дальше. Мои последние вечера были заняты. Мы простились... Никогда в жизни мы не увидимся, но там, на Никитской, остался навсегда образ этого бедного человека, худого, с открытым воротом и мешком на спине. А были когда-то горящие глаза, и рука так радостно записывала...

Еще одного из моих инструкторов упомяну. Шантаев был прекрасный образец русского человека. Он служил на одной рязанской фабрике. В те трудные времена, которые переживали курсы, он вместе с Зенкевичем был неустанный борец: ходил по учреждениям, записки подавал, секретарствовал на заседаниях. Сколько мучительных хлопот, и для чего?.. В Шантаеве, можно сказать, слился и выразился весь дух этого злосчастного заведения. Он прекрасно понимал, *чего* он не знает, *что* ему нужно, *почему* не соответст-

вуют курсы своему назначению. Он был как больной, который знает свою болезнь и знает, как ее лечить надо. Как-то давно-давно слышал про одного врача, который внезапно лишился дара слова; он пальцем показывал на левую руку выше локтя, давая этим понять, что ему нужно сделать подкожное вспрыскивание. Вот что мне напоминал Шантаев, и он был как бы воплощением всего состава курсов.

Я этим людям очень благодарен. Среди них были и коммунисты, и некоммунисты, но не забуду единодушия, с каким они постановили выразить негодование по поводу того, что в нашу квартиру вселили проститутку. Я в тот день из-за домашней суматохи опоздал на лекцию и объяснил почему; рассказал, как это произошло и в каких грубых издевательских формах; как комендант кричал на всю квартиру: «Если вы ей не поставите кровать, в двадцать четыре часа будете выставлены из квартиры!» Без различия убеждений мои инструктора все испытали обиду от такого обхождения с их преподавателем... Да, есть хорошие люди в России...

И последним из них упомяну одного, имя которого забыл, но не его самого. Он был Вятской губернии, часто к нам приходил, и в доме его звали «вятич». Так он и остался в памяти, а фамилия стерлась. Большой, радостный простак. Он часто ездил на родину, привозил грибов, которые сушила его бабушка. Он носил привезенную с родины белую шубку мехом наружу — на севере кухлянками зовутся — и огромную пегую папаху. От него веяло северными лесами. В его рассказах — старые скиты, чистые бревенчатые горницы, многоводные реки.

«И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...».

Когда вспоминаю людей, приходивших к нам, сейчас рисуется в памяти наша кухня. Ведь кухня была единственная общая комната, это была гостиная; здесь мы принимали. Здесь вокруг печурки сходились и жильцы и гости. Тут и дрова кололи, и распиливали, и воду носили, и пищу готовили. Сюда же стекались все новости: обыски, аресты, расстрелы, болезни, декреты, требования домового коменданта — все это обсуждалось вокруг печурки когда с волнением, когда со слезами, а когда и со смехом. Печурка играла боль-

шую роль в жизни; она стала символом, все равно как самовар: в ней была семейственность, домовитость, последний остаток «очага». Да, печурка занимала большое место в тогдашней жизни. Иду по бульвару, слышу: две дамы разговаривают, одна другой, по-видимому, расхваливает свою знакомую: «Ну если бы вы знали, какая она приятная, уютная, экономная...» Кто, думаю, эта особа, награжденная всеми добродетелями? Дама продолжает: «Такая опрятная, не дымит»... Тут я понял, о ком речь. Наша печурка, кроме всего прочего, была еще и мудрая; мудрая, потому что примирительница. Перед ней умолкали разности убеждений, перед ней утихали недоброжелательства; к ней подходили осторожно, выжидали очереди, друг другу уступали, друг другу помогали. Наш «уплотнитель» был Иван Михайлович Касаткин, коммунист, из «старых», 1902 года, и в коммунистической иерархии важный человек. Должен сказать, что всегда буду вспоминать с уважением то, как он себя держал по отношению к нам, и знаю, что это взаимно. Вообще скажу, что одно из ценнейших чувств в жизни — то уважение к человеку, которое пробивается сквозь враждебность убеждений, тот мост, который это уважение перекидывает через непроходимые, казалось бы, пропасти. Жена Касаткина, Вера Дмитриевна, была милый человек и очень хорошенькая: круглое личико, глаза, как вишни, и сияющая улыбка. У нее был исключительно прекрасный голос — настоящее, глубокое, сочное контральто. Она была моей ученицей по Музыкальной драме. При других условиях из нее, несомненно, вышла бы знаменитость; но в том царстве чепухи, конечно, и она заглохнет... Чтобы их вселить, меня выселили из той комнаты, где было фортепиано; но благодаря добрым отношениям я все же имел доступ к инструменту, что при тогдашних обстоятельствах мне было очень дорого...

В эту же кухню приходили и мешочники, крестьяне ближних и дальних мест, предлагали крупу, мясо, масло; бабы-молочницы приносили молоко, творог, яйца. Спрашивал я их, как у них в деревне живется. Нарочно спрашивал, — отлично знал, какой будет ответ. Ответ всегда бывал один: «Ох, трудно, барин! Тяжко, ваше сиятельство! И не поверите, как тяжко; и что только дальше будет...» Но тут я же на них наваливался: «Как! Вы все, что хотели, получили, нас

обобрали, поразогнали, порасстреляли, сейчас нас застаете, сами видите, как: дрова колем, воду таскаем, печку топим, у вас припасы по неслыханным ценам покупаем; с утра до вечера, все потерявши, мы работаем, а вы, все получивши, к нам же приходите жаловаться? Да ведь вы же наши правители. А мы вам разве жалуемся?..» И на это ответ всегда бывал один: «Да мы что, мы разве понимаем...» Так раздавалась песенка о деревенской темноте в ответ на лучи коммунистической «зари»... А одна молочница так выразилась:

— Чем плохо? Людей нет. Вот чем плохо.

— Как это — людей нет?

— А так. Прежде были люди, было к кому в услуженье пойти, а теперь не к кому иттить.

Из некоторых мест приходили и такие объяснения: что «помещики по городам разъехались, с большевиками снюхались и на нас теперь вымещают, что мы у них землю отняли». Эта формула, во всяком случае, метит не столько в помещиков, сколько в большевиков...

Уже начиная с 1920 года многие из приносивших продовольствие не соглашались продавать на деньги, требовали «мануфактуры», а чаще хлеба: деревня приходила в город за хлебом!..

О том, что вселили к нам женщину с четырьмя детьми, как раз в комнату против моей, я упоминал в другом месте; о том, как было приятно заниматься при таких условиях, упоминать не стоит, а во что эти дети превратили уборную, какое употребление делали из ванной — это относится к области таких предметов, о которых упоминать не принято в печати.

О том, что вселили нам проститутку, я уже упоминал. Она была недовольна — комната оказалась не по ней:

— Сейчас видать, что для прислуги комната, — сказала она Елене Николаевне, нашей «квартирной уполномоченной».

— Раньше вас тут жила княжна Волконская.

— Теперь нет княжон.

— Знаю, я только отвечаю на ваше замечание, что вас поместили в комнату прислуги.

Повторить те ругательства, которые огласили коридор, непозволительно в печати... В первую ночь у

нее ночевало три человека; так как она отказалась их назвать, то ее выселили.

Душой нашей квартиры была милая наша хозяйка Надежда Амандовна Ренкуль. Она была деятельной помощницей, неутомимым товарищем в общих наших нуждах. Ее работоспособность и работоготовность не знали пределов: дрова, вода, печурка, стирка — все она умела, все справляла. Маленькая, черная, стриженая — кто не знал Надежду Амандовну!.. Из всех нас одна только наша «тетя Надя» не имела службы, не жила «отхожим промыслом»; она сосредоточилась на заботах о доме и, для того чтобы оправдаться, несла титул «коммунистической уборщицы». Но и она сколько раз в папахе и полушубке ходила на вокзал и возвращалась двенадцать верст пешком с мешком на спине, а ей было под шестьдесят... Но вернемся к главной нити моего рассказа.

Может быть, эта нить покажется не такой важной в общем ходе событий? Что такое лекции, студии, театр — среди тех картин ужасов и страданий? Но, во-первых, всякий пишет о том, что ближе наблюдал, а во-вторых, театр и театральные интересы дают типичную ноту в том смысле, что определяют собой степень жизненности в прочих начинаниях. Ведь театр — это то, что большевики взяли под свое особливое покровительство; они им даже успели очки втереть Европе: «Говорят, театр там процветает?» Так говорили мне некоторые иностранцы. Процветает? Ужасная картина тамошнего театра. Или пробавляются старьем, или ставят новую пошлятину с агитационными целями. Мейерхольд поставил «Зори» Верхарна с такими коммунистическими «отсебятинами» вплоть до пения «Интернационала», что сама жена Ленина выступила в газете с письмом, в котором восставала против кощунственного обращения с автором... Нет, театр затхл, театр гибнет, и ничего впереди не видать. О технике актерского мастерства никто не понимает даже, что значит работать над своим улучшением. Трудно на этих страницах говорить о таком сложном вопросе, как падение, даже гибель театра. И не буду на нем останавливаться, только скажу, что свожу вопрос к трем причинам: первая — внутреннего характера, другие две — внешнего.

Первая причина — неведение самих актеров и руководителей актерского воспитания в том, *что* такое актерское мастерство, в чем состоит его техника. Не только незнание техники, но даже непризнание ее необходимости и признание ее вреда.

Вторая причина — общие условия советской жизни, которые для артистов выражаются в двух словах: *халтура* и *паек*.

Третья причина — тот общий дух легкой *удовлетворяемости*, которым движется вся деятельность тамошних людей не в одной области искусства, та коммунистическая дешевка, в которой увядает всякий художественный порыв.

Думаю, что и одной из этих трех причин достаточно для гибели театра, но самая главная, конечно, первая. Как сказал, не буду останавливаться на вопросах общих — буду придерживаться моих личных с ними соприкосновений.

Я был одно время, очень короткое время, причастен к Большому театру. Малиновская, Елена Константиновна, была директрисой бывших московских императорских театров и жила даже в той квартире, где я в качестве директора останавливался, когда приезжал из Петербурга, — на углу Дмитровки и Кузнецкого. Однажды весной 1919 года я получил от нее письмо, в котором просит меня позвонить к ней. Я тогда только вышел из больницы после сыпного тифа и лишь по прошествии трех недель мог позвонить. Она приглашала меня вступить в состав того, что именовалось «директория Большого театра». Это было коллегиальное учреждение под председательством Немировича-Данченко. Коллегиальность и состав были условиями, скорее, притягательного свойства. Коллегиальность покрывала личную ответственность, а состав, исключительно из артистической среды, лишал эту службу той безвозвратной «советскости», от которой хотелось бы впоследствии умыться. Жалованье, кажется шесть тысяч в месяц, имело для меня значение. Однако очень скоро я заметил, что и это такая же чепуха, как и все прочее. Собирались нехотя. Однажды получаю повестку, что просят меня написать какую-то записку и представить ее в такое-то заседание; дело выставлялось как важное и спешное. Готовлю свою записку, прихожу в назначенный час — никого; собрание не состоялось.

Я уже решил уходить, когда случилось обстоятель-

ство, заставившее меня повременить. Проходя по Страстной площади, вижу раз — идет толпа, окруженная солдатами. Подхожу — люди, усталые, измученные, еле тащутся. Спрашиваю громко: «Кто это?» А из толпы мне женский голос отвечает: «Мы иностранцы!» Но не одни иностранцы: вдруг из толпы меня кто-то окликает по имени-отчеству; смотрю — Радкевич, служивший в министерстве иностранных дел. Потом другой голос: Владимир Антонович Арцымович, бывший товарищ Сазонова по тому же министерству. Я понял, что передо мной проходят переведенные из Петербурга заложники. После узнал, что в этом же эшелоне был мой двоюродный брат Петр Петрович Волконский. Впечатление от этого зрелища было настолько сильно, что я не мог сдержать себя: я ринулся в толпу, но получил сильнейший удар в грудь от одного из конвоиров... Придя домой, я решил — и сам еще не знал что, — но решил сделать так, чтобы люди правительства знали, как некоторые другие на это смотрят. Наконец решился: написал Малиновской, да не ей одной. Я иногда ходил в ТЕО на какие-то заседания и там за это получал какое-то вознаграждение; там была в то время главою Каменева, Ольга Давыдовна, жена знаменитого Каменева и сестра, во всяком случае не менее знаменитого, Троцкого. Я решил написать обеим этим моим начальницам, Малиновской и Каменевой, или, как их называла одна моя знакомая, La Framboise et la Pierre*. И я написал, что после зрелища надругания над истрепанным, измученным человечеством, которое я видел, моя совесть не позволяет мне брать казенное содержание, и я от него отказываюсь. Что Малиновская сказала, не знаю, но Каменева одной моей знакомой, служившей в канцелярии ТЕО, сказала: «Волконский написал мне такое дикое письмо... отказывается работать». Моя знакомая возразила: «Сколько мне известно, Сергей Михайлович от работы не отказывается, а только от жалования». Вот причина, по которой я остался еще в директории и вышел только спустя шесть недель. Жалования своего я не взял; конечно, я «наказал» только себя, но, говорят, мне моего «дикого» поступка не простили. По крайней мере люди сведущие говорили, что именно этому я обязан тем, что все не получал академического

* Малина и камень *(франц.)*.

пайка. Тринадцать раз меня к нему представляли разные учебные заведения, в которых преподавал, и только на тринадцатый раз получил его, уже за три месяца до отъезда из Москвы.

Малиновская ничего мне не сказала. Перед тем она как-то раз выказала мне даже внимание. Когда узнала, как обошлись с моей библиотекой, она посоветовала написать Луначарскому и обещалась передать письмо. Она при этом сказала: «Все, что вы пожелаете, вам будет возвращено». Я написал Луначарскому, повторил слова Малиновской, но прибавил, что мне столько не надо, а раз предлагают мне вернуть, то прошу возвратить портрет моей матери; описываю портрет, который находится среди вещей, отобранных у меня и сваленных в Народном доме в городе Борисоглебске*. Письмо передал Малиновской... Оно осталось без ответа. Луначарскому я, таким образом, писал три раза: раз передавал, как обошлись с моими книгами, бумагами, тем, что стало принято называть «ценностями»; другой раз — по поводу возвращения мне рукописи «Законов речи»; третий раз — о портрете моей матери. Ответов я не удостаивался, но слышал, будто он кому-то сказал: «Никто мне не высказал столько истин, как Волконский». Раз и он пожелал выказать мне любезность. Во время одного заседания в ТЕО под председательством Луначарского подходит ко мне секретарша и шепотом передает, что «Анатолий Васильевич просит во время перерыва подойти к нему». Жду перерыва, подхожу. Он слышал про моих двух двоюродных братьев, Волконского и Чихачева, что они сидят в заложниках, и хотел бы за них похлопотать; просит написать ему их имена и пр. Я исполнил, но ничего из этого не вышло. Волконский Петр Петрович просидел девять месяцев. Между прочим, он повредил себе забавной выходкой. В тюрьме (это еще было до перевода из Петербурга в Москву) идет перекличка:

— Волконский!

— Здесь!

— Князь?

— Светлейший.

Это ему дорого обошлось, но после девяти месяцев

* Уже много позднее узнал, что портрет этот украшает канцелярию уездного наркомпроса, висит над столом комиссара, товарища Крадина.

все-таки выпустили. Судьба бедного моего троюродного брата Чихачева была много печальнее. Его в ноябре, в страшный холод услали без пальто в Нижний Новгород. Там, в тюрьме, он колол дрова, повредил себе глаз, схватил сыпняк и умер в тюремной больнице. Мы были с ним близки с двенадцатилетнего возраста. Прелестный человек, образованный, доктор Хейдельбергского университета... Луначарский ничего не сделал. Он поверхностный человек. Я уже год как знал, что моя рукопись утеряна, а он, заметив меня однажды в театре, кликнул мне вослед: «О вашей рукописи я сделал специальное распоряжение». Я сказал: «Спасибо за внимание» — не мне же было ему объяснять, что его старания напрасны...

Малиновская тоже выказала участие к моим двум родственникам. Когда я сказал ей, что уже обращались и к Красикову, и к Каменеву, и к Луначарскому, она сказала:

— Одного вы еще не попробовали.

— Чего же? — спросил я с поспешностью.

— Обратиться ко мне.

— Обращаюсь. Жалею, что поздно.

— Никогда не поздно помочь.

— Вам удавалось?

— Часто.

Не знаю, она ли помогла или другой кто, но только относительно Чихачева уже было поздно: приказ об освобождении встретился с известием о смерти...

Малиновская по службе, говорят, была нервная, неровная; среди служащих царило иногда сильное возбуждение, но она не замечала. Она искренно верила в успешное шествие театрального дела и все повторяла: «Какие перспективы! Какие перспективы!» Каменева была известна тем, что разговоры деловые прерывала возгласами сочувственно-благотворительного характера. Секретарь ей докладывает, а она вдруг воскликнет: «Ах, у вас какие рваные сапоги! Я вам выпишу ордер на новую пару». В смысле театрального образования рассказывали совсем странные вещи: будто старую испанскую пьесу «Фуэнте овехуна» она предполагала ставить в японских костюмах...

Заседание, на котором Луначарский взял у меня сведения о моих двоюродных братьях-заложниках, было созвано для обсуждения и выработки программы балетного училища. Он открыл заседание, а потом

совещание собиралось раза два в неделю без него. Участвовало человек двенадцать; времени потратили много, но разработали программу великолепно. Результат? Малиновская объявила, что русский балет имеет всемирную известность и потому нет никаких оснований вводить какие бы то ни было изменения в программу преподавания. Почему же они не сговорились раньше и почему мнение Малиновской оказалось сильнее Луначарского? Еще с любопытным случаем противоречия здесь столкнулись. Жена Горького, вторая жена, Мария Федоровна Андреева, которая была та же Малиновская в Петербурге, прислала отзыв, в котором выражала мнение, что обучение балетному искусству с раннего возраста противоречит принципу «единой трудовой школы», по которому дети все должны получать *одинаковое* образование, специальности недопустимы в детстве, и только после пройденной «единой трудовой» может наступать разветвление, или, как выразился Луначарский с той убийственной страстью к иностранным словам, которою одержимы эресефесеровские люди, — «полифуркация». Однако мнение Андреевой не было принято во внимание. Но самое любопытное то, что, в то время как комиссию торопили с выработкой программы, ввиду того что учебный год начинается, помещение театрального училища было занято военным лазаретом и никакой не было возможности, ни даже надежды добиться от военного комиссариата выселения его... А дезинфекция? А ремонт?.. Но громкие слова были сказаны, комиссия собиралась, программа выработана, шум на Москву и на Петербург... Разве не разрушительная чепуха?

Случай лазарета в помещении училища заставляет меня вспомнить, что подобные примеры захватов или, вернее, перехватов помещения одного ведомства другим случались на каждом шагу. В этом отношении «военком» имел преимущество перед прочими «комами». Наш Ритмический институт поместился в особняке бывшем Коровина в Малом Власьевском переулке; он осел там, огражденный всеми гарантиями Луначарского. В одно прекрасное утро является какой-то полевой штаб и объявляет, что имеет ордер на этот дом. Штыки, кратчайший срок, караул, все как следует. Никакие хлопоты не помогли — пришлось выселяться.

Только благодаря энергии нашей директрисы Нины Георгиевны Александровой Луначарский взялся за дело и отвоевал помещение обратно. Но полтора месяца учебное заведение бездействовало, и когда мы снова вошли в дом, мы нашли, что все, что можно было отвинтить, было отвинчено, все, что можно было отодрать, было отодрано и почти все, что можно было унести, было унесено, между прочим все книги, специальная библиотека по вопросам ритма, которую мы с большим трудом собрали из частных рук по Москве... Когда обратились в учреждение, ведающее междуведомственные столкновения, ответили, что раз при сдаче не было описи, то ничего нельзя сделать. Какая же опись при захвате?..

Ничего не могло быть противнее, как выселение. Ни отобрание имущества, ни арест не вызывали такого внутреннего отпора, как это требование оставить помещение. И наивные люди при каждом известии о том, что такого-то выселяют, спрашивали: «куда?» Так и не могли привыкнуть к тому, что единственный вопрос, на который можно в данном случае ответить,— «откуда?», а никак не «куда?». Да, ничто не может быть унизительнее выселения, и ничто не сравнимо с оскорбительностью приемов. К нам в квартиру в Шереметевском переулке однажды явился в папахе какой-то из управления кремлевскими домами для вселения в наш дом. Меня не было дома. Жил я тогда в конце коридора, в комнате с одним окном во двор; раньше я имел две комнаты на солнце, одна была проходная, но меня выселили, чтобы поместить супругов. Это понятно; только жаль мне было уходить из комнаты, где было фортепиано. После того люди мне говорили: «Как же вы согласились? Ведь вы, как профессор, дающий уроки, имеете право на две комнаты, вы имеете *право* на фортепиано»... Как смешно было слышать при тех всем известных условиях жизни пустозвонное слово «право». Право? Сами посудите. Человек в папахе обходит квартиру:

— В этой комнате кто?

— Волконский, преподаватель, лектор.

— Бывший князь? Вон его отсюда.

— Да ведь он лекции читает в скольких учебных заведениях.

— Знаем, Луначарский много таких понабрал.

— Он и в Кремле читает, и в Военной академии.

— Ага? Вон уж куда пробрался... Ну, одним словом, пусть очищает.

Звезда захотела, чтобы этот человек уехал на фронт, и его распоряжение повисло в воздухе. Дамоклов меч на этот раз не упал, но всегда висел над головой...

Мое повествование, уже чувствую, кажется читателю разбросанным. Что же делать, когда сама жизнь была такая. Разве не разбросанность, что на заседании по балетным вопросам я должен давать сведения о моих родственниках-заложниках? Не разбросанность, что, начиная лекцию в Военной академии, я должен извиниться за опоздание, потому что только выпущен из Чеки? Между острогом и уроком пластики, между расстрелом и репетицией — так проходила жизнь. Прихожу раз на лекцию в Ритмический институт, вижу: прелестная белокурая девушка в глубоком трауре.

— Почему вы в трауре?

— Моего брата расстреляли.

. . . .

— Ну-с, господа, что мы сегодня читаем?

— «Осел и соловей».

— Начинайте: «Осел увидел Соловья...»

Так проходила жизнь. А мотания по канцеляриям! Пропуска, свидетельства, удостоверения, разрешения; прошения, «анкеты» в двух, трех, четырех экземплярах! Искание адресов, в доме искание комнаты номер такой-то; ожидание в очередях... Ведь все это вперемежку с делом, которого упустить тоже нельзя. Сколько бумаги, сколько времени! Никогда столько не шло бумажек, как с тех пор, как бумага дорога. А время! После сыпного тифа я имел право на получение денежного возмещения из какого-то отдела социального обеспечения; на Мясницкой помещался. Я три раза ходил за свидетельством, простаивал часы; еще три раза ходил, чтобы по свидетельству получить деньги,— ничего не добился. Свидетельство у меня оставалось в кармане. Когда меня взяли в Чеку, отобрали с прочими документами и этот; когда выпускали, возвратили все, кроме этого; я только через два дня заметил. Уже назад получить не мог; вероятно, кто-нибудь другой по моему документу получил... Да, среди всеобщей дороговизны, возраставшей не по дням, а по часам, два товара были дешевы: время и человеческая жизнь...

Здесь, может быть, к месту будет сказать и о моем заключении в Чеку. В первых числах августа 1919 года возвращаюсь как-то вечером после трудового своего дня, племянница говорит, что был без меня в моей комнате обыск; ничего не нашли. Только успел разогреть себе чего-то на печурке — звонок. Чекист с ордером на мой арест, в сопровождении солдата. Собрал узелок, подушку, одеяло, сели на извозчика, поехали. Чекист говорит, что придется нам заехать на Никитскую — другой арест. Подъезжаем к огромному дому княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой. Перед тем как войти со своим конвойным во двор, чекист свистнул в свисток. Явился милиционер, я остался на извозчике один. Тут я слушал разговор извозчика с милиционером и подумал: если бы те люди слышали, что эти двое о них говорят, то, конечно, не меня, а их бы повезли в Чеку... Я уже начинал дремать, когда почувствовал, что рядом со мной кто-то сел. В темноте различаю худого старика. Всматриваюсь: граф Стенбок-Фермор, состоявший при великой княгине Елизавете Феодоровне. Я давно его знал: он в восьмидесятых годах был чиновником особых поручений при тамбовском губернаторе Фредериксе и с ним приезжал в Павловку... Уселся, поехали: солдат рядом с извозчиком, а чекист против нас, стоя, прислонившись к козлам, спиною к кучеру. Мой сосед очень волновался; мы говорили по-французски; он сказал:

— Хотел бы я знать, за *что* нас арестуют.

— Потерпите, говорю, уж нам скажут, прежде чем расстрелять.

И вдруг чекист по-французски перебивает: «Нет, уж до этого, могу вас заверить, не дойдет».

После этого он стал даже до известной степени приветлив, видимо, желая снять с нас всякое беспокойство. По-французски он говорил бегло, но с ошибками, при этом подпускал словечки и выражения бульварного характера, которые звучали очень смешно рядом с общей неточностью и в этой совсем удивительной обстановке. Когда мы въезжали за решетку на Лубянке № 9, я спросил:

— Quelle heure est-il? *

Он вынул золотые часы и произнес:

— Il est minuit tapant **.

* Который час? *(франц.)*.
** Ровно полночь *(франц.)*.

Но мы не были на бульваре: мы вошли в нижнюю дежурную. Меня стали расстегивать и обшаривать. Чекист, чьи руки занимались этим благородным делом, спросил: «Откуда у вас этот галстук? У меня совсем такой». Я хотел сказать, что не хочу с ним разговаривать, но он мог это и без того заметить, раз я ему не отвечал... В камере, небольшой, в два окна, было двадцать человек. Между окон стол, по стенам нары. Публика самая разнообразная. Знакомого только одного нашел: старого москвича Ивана Павловича Шаблыкина. Он был арестован накануне, и, судя по вопросам, на которые с него потребовали письменных ответов,— за его придворное звание. В этом я убедился сам, когда через час меня повели к следователю. За одним столом я увидал Николая Ивановича Тютчева, внука поэта, писавшего ответы на вопросы. Дали и мне вопросный лист. И какие глупые вопросы! «С кем из царской семьи были знакомы? За что получили придворное звание? Участвовали ли в придворных церемониях?»... Я просидел две ночи и два дня. Тяжело было сидение, а главное — неведение. По утрам выпускали во дворике походить; тут сходились из других камер, человек шестьдесят. На второй день ждали посещения какого-то комиссара; нас заставили вынести доски, на которых мы спали, и обливать их кипятком, чтобы умертвить клопов, которые в несметном количестве облепляли изнанку этих досок... Обхождение было грубое, но, странно, чувствовалось, что это есть как бы форма, что так полагается. Самый большой крик неудовольствия подымался, когда просились «выйти»: они были обязаны сопровождать заключенных до «места назначения» и находили, что слишком часто... Во дворе с винтовкой сторожил солдат, резко отличавшийся от наших наблюдателей: белокурый детина с добрыми голубыми глазами, он производил впечатление тихого озера среди окружающей мути. Это был колчаковский пленный...

Самое отвратительное, что я там видел, да не только там, а вообще в жизни, это женщины — надзирательницы за женскими камерами. В гладком парусинном одеянии — не то платье, не то рубашка,— стриженые волосы, кожаный пояс и на поясе в кожаном футляре револьвер. Все женщины мира должны были бы соединиться, чтобы вынести приговор этим существам женского пола: перестав быть женщинами, они не

сделались мужчинами: они перестали быть людьми. Большинство латышки, но есть, к сожалению, и русские. Есть среди них такие, которые расстреливают. Одна очень ценится за меткость руки; когда ночью ее будят, она спрашивает:

— Сколько?

— Пять.

— Не стоит...

Поворачивается и засыпает. Другая кормит ребенка; когда ее требуют к исполнению обязанностей, она кладет ребенка, идет, исполняет, потом возвращается к ребенку. И муж говорит: «Не правда ли, моя жена героиня!» Да, от тамбовской комиссарши до московских расстрельщиц — собственно, нужны ли еще другие картины «озверения» и «разрушения»?·Когда женщина озверевает и материнство разрушено, чего же еще? О чем думают все «Лиги женщин», «Покровительства материнства», «Спасения детей»?..

Да, жажда крови — это как бы чекистский алкоголизм. И это было везде, по всей России и не в одной России. Венгерские коммунисты во время кратковременного своего владычества выказали примеры коммунистического «запоя». Одного человека вздернули на веревке, но его ноги касались земли. Заведовавший казнью секретарь Бела Куна, Самуэль, приказал снять его, обрубить ноги и снова вздернуть. Это мне рассказывал очевидец.

И подумать, что *никогда* не будут подведены итоги этим ужасам, всему, что делалось по ночам в подвалах, на свальных ямах, за оградою острогов... Одна приезжая из Сибири, сидевшая в Иркутске, рассказывала, что там из экономии не расстреливают, а в подвале выстраивают в ряд, и с потолка срывается бревно, которое осужденным раскраивает черепа... Своды и стены обрызганы кровью и мозгами...

Но и другое еще *никогда* не будет подсчитано. Кто когда узнает, кто когда расскажет горькую повесть страдания жен, матерей, высокую повесть духовной силы, с которой они в нужде своей принимали горе и издевательство?.. Кто расскажет, да и кто мог по всей России это видеть и слышать? Кто, кроме жертв и палачей? Великие мученицы сияли лучами духовной красоты, как те пылающие закаты полярного солнца, которые не имеют иных свидетелей своей славы, кроме

собственного отражения на холодной поверхности льдов...

А поведение приговоренных?.. Какую удивительную книгу можно было бы составить, если бы только было возможно собрать материал, книгу, которую бы назвать: *«Последние слова»*... Один случай мне рассказывали. Был в Москве приговорен к расстрелу некий Виленкин. В то время расстреливали в Петровском парке. Когда его поставили, тот, кто командовал расстрелом, вдруг узнает в нем своего бывшего товарища по училищу. Он подходит к нему проститься и говорит:

— Уж ты, Саша, извини их, если они не сразу тебя убьют: они сегодня в первый раз расстреливают.

— Ну, прости и ты меня, если я не сразу упаду: меня тоже сегодня в первый раз расстреливают...

Меня выпустили из Чеки в четыре часа вечера на второй день. Когда было прочитано мое имя и после него — «свободен», все бросились поздравлять. И радостно и больно было принимать эти поздравления от людей, чьи имена *не* были прочитаны. Никогда не забуду, как простые рабочие кинулись укладывать мои вещи, увязывать мой узелок, чтобы только сократить мой срок. Я оставил им что мог: ложку, полотенце, оставшуюся провизию. Двое обещались *непременно* зайти, когда их выпустят, но никогда не пришли... Один юноша просил по телефону передать просьбу его матери, чтобы сестра оставалась там, куда ушла, и не возвращалась домой... Я вышел на улицу; в воротах часовой надел мой пропуск на свой штык: весь штык был унизан этими эмблемами советской свободы... По дороге домой я зашел в студию известной певицы Териан-Каргановой, где давал уроки, чтобы сложить у нее мой узелок. Там меня встретили с чаем, с булками, с вишнями...

Говоря о прикосновении революционных властей к моей личности, упомяну и еще об одном случае, не уголовного, а гражданского порядка. Зимой 1919 года приходит судебный пристав: с меня за отобранную у меня землю взыскивается налог в размере 400 000 рублей, из которых 109 000 — «на сельскохозяйственные нужды местного населения». Если бы сумма взыска-

ния была 400 рублей, я, вероятно, возмутился бы, но 400 000 могли меня только рассмешить. Это был подоходный налог. Этот налог всегда предъявляется по истечении оплачиваемого года. Большевики высчитали его за тот год, который последовал после отобрания земли! Затем сама цифра! Какой же должен быть доход, чтобы проценты равнялись такой сумме! Я указал на кресло, на котором лежало мое грязное белье и несколько книг: «Вот, описывайте». Он составил протокол, что я занимаю одну комнату, живу своим трудом и что у меня взять нечего...

На своих лекторских, студийных впечатлениях не буду останавливаться; они интересны для меня, но вряд ли для всякого. Подробности сценически-воспитательных приемов и актерской техники вывели бы мой рассказ из тех рамок, в которых хотел бы удержать картины моих впечатлений о покинутой Родине. Но об одной студии скажу, тем более что тут примешивается интересное воспоминание.

«Габима» — так называется еврейская студия, ставящая пьесы на древнееврейском языке. Председателем ее был некто Цемах, он же был и отличный актер. Я был ими приглашен для того, чтобы ознакомить их с моей теорией читки. Я нашел такое внимание, такое понимание не только приемов моих, но и их воспитательного значения, как ни в одной из знакомых мне студий; а знал я их штук двадцать пять, если не больше. Когда я увидел, что они усвоили мои принципы, я им откровенно заявил, что дальше нам продолжать занятия ни к чему; они по-русски все-таки никогда читать не будут — акцент им всегда будет мешать, а теперь их задача в том, чтобы применить к их древнееврейской читке то, что я им по-русски показал. Мы расстались, но остались в добрых отношениях; они всегда приглашали меня на свои репетиции и спектакли. Они в то время готовили и дали интересную пьесу — «Пророк». Должен родиться спаситель мира. Но в момент рождения ребенок пропадает. Народ у подножия городской стены в волнении ждет вести о рождении и потом с ужасом слышит весть об исчезновении. Встает Пророк, берет свой посох и объявляет, что он идет его искать. Это «вечный жид», это неутолимая жажда, неугасимое искание

Мессии... Цемах был прямо прекрасен в роли Пророка. Но сильнейшее впечатление было не от отдельных лиц, а от общих сцен. Это сидение народа под стеной, суета и говор базарного утра — кто только знает Восток, тот не мог не восхититься красочностью людей, одежды, образов, говора, шума. И затем — переходы! Восхитительны своею незаметностью и своими нарастаниями переходы от радости к ужасу, от всхлипываний к рыданию... Незабываемы некоторые подробности: синее платье жгучей прелестницы, фигура нищего, грязного, в рубищах, валяющегося в пыли базарной площади... Должен сказать, что это представление дало мне давным-давно уже не испытанное чувство настоящей трагедии. Незнание языка облегчалось розданной на руки русской программой...

Я сказал, что с «Габимой» связано интересное воспоминание. «Габима» получала государственную субсидию. Некоторая часть московского еврейства восстала против субсидирования такого учреждения, которое играет на древнееврейском, для многих непонятном языке. Это-де никому не нужно, это «буржуазная затея». Они сильно действовали в правительственных кругах, дабы сорвать эту ассигновку и добиться ассигновки для театра, где бы давались представления на жаргоне. Тем временем «Габима» разослала приглашения на диспут, который она устроила в одном из театров, и пригласила представителей театрального мира и своих недоброжелателей на генеральное сражение. И вот тут я увидел картину, которая раскрыла мне неизвестные для меня стороны еврейства. Нужно ли говорить, что противники «Габимы», восставшие против «буржуйной затеи» и требовавшие театра на жаргоне, были коммунисты? Здесь что было интересно: во-первых, картина евреев-коммунистов. Много я видел людей яростных за эти годы, людей в последнем градусе каления, но таких людей, как еврей-коммунист, я не видал. В его жилах не кровь, а пироксилин: это какие-то с цепи сорвавшиеся, рычащие, трясущиеся от злобы. Но затем, второе, что было интересно: ненависть еврея-коммуниста к еврею-некоммунисту. Опять скажу: много я видел людей, распаленных ненавистью, и в жизни видал их, и на сцене видал таких; видал расовую ненависть, ненависть классовую, ненависть ревности, но никогда не видал, на что способен родич по отношению к родичу только за раз-

ность в убеждениях. В далеких тайных недрах истории должны лежать корни этой ненависти. До чего доходило! Габимистов обвиняли в «деникинстве», их обвиняли в спекулятивных целях: постоянно выплывало в качестве ругательного слова — «сухаревцы»; это потому, что на Сухаревке был тайный рынок в то время, когда продажа имущества была запрещена. Но самое страшное для них слово, даже только понятие, при далеком ощущении которого они уже вздымались на дыбы,— это «сионизм». Это стремление некоторой части всемирного еврейства устроить в Палестине свое государство, это стремление к национализму перед глазами евреев-коммунистов-интернационалистов вставало каким-то чудовищным пугалом. Можно себе представить, *что* для них это зарождение национальной идеи, идеи *отечества* в самом чреве, в самой матке коммунизма... Было много интересных моментов. Помню великолепную речь Цемаха, в которой он говорил о жизненной духовной силе, которую они черпают из соприкосновения с древнееврейским духом. «Габима», говорил он, это наша духовная весна, это ледоход нашей души. Немало было блесток еврейского юмора. Один старичок сказал: «Много здесь спорят о том, что древнееврейский — живой или мертвый язык? Собственно, не так это важно; но думаю, что если бы он был мертвый, то о нем бы или не говорили, или говорили бы одно хорошее»... В результате «Габима» получила правительственную субсидию. И это была победа культуры над некультурностью. Скажу больше: это была победа человечности над звериностью. А для меня результат: интересный вечер и несомненное убеждение, что есть два еврейства. Одно ищет пробуждения всех сил своей древней природы,—

«Кто скажет мне, какую измеряют
Подводные их корни глубину?» —

для того чтобы положить их угловым камнем того национального здания, которое должно из Палестины встать соперником прочих народов. Другое еврейство ищет напряжения всех своих способностей, для того чтобы, не теряя своего духа, спрятать свой лик, просочившись в другие народности...

Почему-то среди этих московских, городских воспоминаний пробегает вдруг видение трех дней, проведенных в лесу... Один из моих слушателей Музыкаль-

ной драмы, по фамилии Богданчиков, был учителем в детской колонии, которая летом 1920 года помещалась на берегу Синяжского озера вблизи станции Подсолнечной по Николаевской дороге. Он пригласил меня как-нибудь приехать отдохнуть. Я поехал на Троицу. Застал полуразвалившуюся дачу, в ней человек пятьдесят детей под наблюдением прелестной надзирательницы (имя забыл). Помню, что от перемены обстановки я совсем обалдел; первый день я только спал на траве. Но на второй и третий с удовольствием следил за играми детей под водительством Богданчикова. Никогда не видал, чтобы взрослый человек мог до такой степени забыть свой возраст; он превращался в ребенка; как огромный Гулливер бегал он среди них; они, маленькие, висели на его ногах... Тут некоторые из детей рассказали мне, что запрошлым летом они были в Тамбовской губернии, в Борисоглебском уезде, в имении Вязовке, бывшем Соловых; что там было очень плохо и их хотели перевести в Павловку: «Знаете Павловку?»... Кормили детей в то время еще сносно; но в августе 1921 года надзирательница одной московской школы сказала мне, что, когда она обратилась с просьбой, чтобы ей отпустили для больных детей усиленного питания, ей прислали селедки и подсолнечного масла... На четвертый день мы вышли рано, до восхода солнца. Пока шли лесом к станции, за соснами краснело небо. Когда вышли снова к озеру, солнце уже встало и с гладкой поверхности гнало лучами своими спешно уходивший туман... Благодарен Ивану Николаевичу Богданчикову за три зеленых дня. Это были единственные за три года...

Лето 1920 года было очень жаркое. Вошло в моду ходить босиком; потом стали и рубашку снимать, ходили в одних трусиках, показывая свое бронзовое тело: это был какой-то конкурс загара. Я даже встретил на Тверской двух женщин, у которых не было другого прикрытия, кроме юбочки. В это же лето был необыкновенный урожай на яблоки. Приезжий из Борисоглебска рассказывал, что в Павловке их было столько, что лежали на земле в несколько рядов; крестьяне, вместо того чтобы собирать с краю, шли к деревьям по щиколотку в яблоках и потоптали не меньше, чем набрали... В Москве на всех перекрестках были ябло-

ки, красивые груды всех цветов и величин; на бульварах ели, друг друга угощали. И вот стали говорить: «Чем же не рай? Все ходят голые и едят яблоки». Впрочем, не из одних спортивных побуждений ходили люди раздетые. Иногда надеть было нечего. Я сам три дня по Москве босиком ходил. Пришел так в одно заседание. Наш известный дирижер Сергей Александрович Кусевицкий, увидав меня в таком виде и узнав, что это не спорт, а нужда, прислал мне в тот же вечер пару своих башмаков, которые оказались как раз по ноге.

С одеждой было трудно. Вот случай, о котором тогда много говорили. Один господин замечает, что на улице какая-то дама, пристально посмотрев на него, пошла за ним. Долго она шла, наконец он остановился, чтобы узнать причину этой странной настойчивости:

— Вам что-нибудь от меня нужно?

— Простите, но я бы хотела знать, откуда у вас та пара платья, что на вас надета?

— Купил на улице, на Смоленском рынке. А что?

— Есть в правом кармане прореха?

— Была, но жена заделала. В чем же дело?

— Видите ли, я две недели тому назад в этом самом костюме похоронила моего мужа...

Из всех учебных заведений, которые я имел возможность наблюдать, одно только могу назвать, в котором шла действительная работа. Это наш Ритмический институт. Осенью 1918 года, вскоре после моего приезда в Москву, я получил приглашение из наркомпроса представить мои соображения относительно того, каким образом могло бы быть введено ритмическое воспитание во все учебные заведения республики. Я ответил, что, прежде чем об этом говорить, надо создать преподавателей, а для этого нужно учредить центральный Ритмический институт. Согласились. Собрали комиссию. В эту комиссию были приглашены специалисты ритмического воспитания, во главе их — Нина Георгиевна Александрова, старшая из русских ритмичек, ученица Далькроза, а также многие педагоги, музыканты. На совещаниях здесь я познакомился с знаменитым нашим композитором Метнером и известным пианистом Гольденвейзером. Вопрос об уч-

реждении института был решен в утвердительном смысле, программа выработана. Институт занял, как я уже упоминал, особняк бывший Коровина в Малом Власьевском переулке, и в начале июля 1919 года состоялось открытие. Это заведение работало с неослабной настойчивостью сквозь все затруднения холода, вечных слухов о захвате помещения и, наконец, действительного выселения на полтора месяца. Оно завоевало уважение всех педагогических кругов. Как трудно было заниматься ритмикой в шубах, как трудно было преподавательницам играть на фортепиано с окоченелыми пальцами — это могут знать только те, кто сами через это прошли. Уже на второе лето своего существования мы дали большую ритмическую демонстрацию в полтораста человек в театре Зона; она была повторена два раза при битком набитом зале. Уже на второй год было выпущено двенадцать преподавательниц ритмики по системе Далькроза.

В этом Ритмическом институте я видел однажды пришедших на урок членов двух социалистических депутаций: итальянской и немецкой. Среди итальянцев был некто Каффи, отец которого в былые годы был костюмером при дирекции императорских театров. Сын родился в России, воспитывался в петербургской Анненшуле, отлично говорил по-русски, меня сейчас же узнал как бывшего начальника его отца. Это послужило к скорому сближению. Я был приглашен на урок, чтобы давать объяснения «иностранным гостям» о системе Далькроза, но я, конечно, воспользовался случайной встречей и моим знанием итальянского и немецкого, чтобы рассказать, что мог, про окружающую нас советскую действительность. Они уже многое увидали сами. Каффи мне сказал: «Нас больше всего интересуют те ошибки, которых надо избежать». Благодаря знанию русского языка он слышал многое такое, что другие иностранные делегаты не слышат, и видел многое такое, чего другие не видят. Эти депутации обыкновенно держатся как бы в шорах, им надевают наглазники, они видят только то, что им показывают... Я, конечно, рассказал, как со мной было поступлено: историю моих книг, моих рукописей и вообще всего, что у меня было. Они раскрыли огромные глаза. Для них, конечно, я был идеалом того, что желательно: князь, читающий лекции, отдающий свой труд на пользу «народа»,— чего же лучше? И то, как

со мной обошлись,— я это ясно видел,— раскрывало перед их глазами какую-то совершенно новую сторону революционных приемов. Один немец как будто ушам своим не верил, и когда я сказал, что у меня все отняли, он в изумлении воскликнул:

— Und jetzt noch? (И сейчас еще?)

— Na, wissen Sie,— ответил я,— *alles* kann man einem Menschen doch nur *einmal* wegnehmen (Ну, знаете, *все* можно у человека только *один раз* отнять).

Не могу не упомянуть здесь (говорю об этом в одной из глав моих «Странствий»), какое впечатление произвело на меня, когда в разговоре о ритмическом воспитании по системе Далькроза Каффи вдруг сказал: «Об этом у нас писал некто Карло Плачи». Слышать имя моего флорентинского приятеля среди глумительной чепухи и зверской жестокости советского житья было для меня чем-то вне всякой действительности; в устах итальянского социалиста это имя было зеленой веткой в клюве голубя, прилетевшего в ковчег. Я тогда подумал: значит, существует прочий мир, и Италия, и Флоренция. Увижу ли?.. Когда?..*

В связи с Институтом ритма упомяну добрых моих друзей, Веру Александровну и Эммануила Ивановича Гринеров. Она давнишняя моя знакомая по Хеллерау, одна из лучших учениц Далькроза, отличный педагог и прекрасный, редко прекрасный человек. В их маленьком домике, Староконюшенный переулок, № 25, я находил привет, сочувствие и понимание. В их доме познакомился с Рашель Мироновной Гольдовской, известной писательницей Хин, женщиной выдающегося ума, когда-то близким другом Владимира Соловьева. Она была теткой Гринера и жила в соседнем с ними домике на том же дворе. У Гринеров я встречал лучших представителей умственной Москвы. Это была колония духовных интересов. К довершению всего милая, привлекательная, умная Надежда Васильевна Иванова, подруга Рашель Мироновны, открыла столовую, где подавала вкусные обеды...

* Эти строки уже сданы были в печать, когда я прочитал во французской газете «Matin» известие из Москвы, что представитель итальянской делегации Каффи арестован, что с большим трудом удалось его из тюрьмы выцарапать, что он вышел из заключения голодный и изнуренный. Конечно, очень жаль человека, но надо сказать, что для распространения истины заграницей ничего не может быть благоприятнее, как такие случаи коммунистического обхождения с иностранцами.

Не могу не упомянуть об одном характерном для большевистской Москвы событии. Ранней весной 1921 года на зареве большевистского горизонта, над морем крови и слез появился беспечный образ легкомысленной Айседоры Дункан. Кто сосватал это сближение, но только в одно прекрасное утро трубный глас советских газет возвестил новую победу коммунистической культуры: знаменитая Дункан приезжает к нам, чтобы нас ублажать и учить наших пролетарских детей. Луначарский поместил несколько статей о великой танцовщице, которая приносит русскому пролетариату бесценный дар своего искусства. Он объяснил читателю-пролетарию все значение, художественное, гуманитарное и социальное, этого события. Она-де едет и приезжает не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы учить, а сама если будет выступать, то на настоящих коммунистических началах: перед рабочей публикой и даром. Ей отвели квартиру балерины Гельцер, которая была в отъезде, ее засыпали пайками; представители власти ее приглашали, она появлялась в хитонах, с искусственными лилиями в руке. В кофейнях она возглашала: «Vive le communisme!» — и повторяла направо и налево, что только в свободном государстве она ощущает возможность настоящей художественной работы. Появление этого старого, завядшего цветка довольно сомнительного искусства на навозе советских парников, несмотря на всю рекламу, однако, успеха не имело; я слышал, что, когда она в Большом театре танцевала «Интернационал», публика ее обдала такими свистками, что она была вынуждена оставить сцену. Она уже прелести не представляла ни для кого, даже для даровой публики. А «революция» и «Интернационал» в качестве хореографических мотивов порядочно надоели, даже опротивели. Сколько раз в студиях, когда обсуждали, что будем читать, учащиеся, шепотком и подмигивая, говорили: «Только не революционный репертуар!» И в самом деле, четвертый год ведь всё требуют устроители концертов — революционного репертуара. Певица не может не спеть арию Аиды только потому, что она начинается словами «С победой воротись!». Нужды нет, что речь идет о победе деспотов-фараонов над черным рабским народом: «с победой» — значит, революционно.

В то время, о котором говорю, все были заняты

только что начавшим заседать «голодным комитетом». Этот комитет, который прозвали «Прокукиш», потому что заседали в нем Прокопович, Кускова и Кишкин, кончил весьма печально. Перед началом четвертого или пятого заседания ждали председателя Каменева; он опаздывал. Протелефонировали его секретарше; она ответила, что через четверть часа он будет. Но через четверть часа не Каменев приехал, а подкатило пять автомобилей, и членов совещания, за исключением нескольких человек, в том числе Станиславского и Южина, которых отпустили,— забрали и увезли в тюрьму. Но при начале москвичи, со свойственной некоторым «интеллигентам» наивностью, поздравляли друг друга с «новым поворотом»: большевики, видите ли, пригласили представителей прежней общественности помочь им в деле кормления народа. Все дело тогда началось с того, что Горький от имени советского правительства обратился к Патриарху, прося его в свою очередь обратиться к представителям инославных церквей за помощью голодающему населению. Вот все это вместе вызвало такой рассказ:

— Вы слышали новость?

— Нет. Какую?

— Поворот в политике, коалиционное правительство.

— Вот как! Как интересно! Кто же?

— Ленин, Патриарх и Айседора Дункан.

Скажу еще об одном заведении, с которым связано довольно много воспоминаний, и довольно разнообразных. На Большой Никитской помещался Государственный институт слова, сокращенно ГИС. Я в шутку говорил, что это сокращение значит: Государственный институт Сережникова. Я думаю, что главный недостаток этого заведения, которое имеет их много, есть именно то, что оно подает повод к такой шутке. Сережников, Василий Константинович, имел когда-то свое частное заведение и сумел подвести его под благословение Луначарского и огосударствить, оставшись директором по назначению. Он, конечно, одарен больше ловкостью, нежели талантом, и прежде всего рекламист. В публике он приобрел известность как пустивший в ход «многоголосную декламацию». Он заставляет читать стихи с раздачей голосов. Само по се-

бе начинание, имеющее право на существование: был же в греческой трагедии хор. Но в греческой трагедии действовал ритмический принцип и, уж конечно, сама читка подчинялась строгим законам ораторского искусства. У Сережникова была только видимость дисциплины общей (потому что ритм отсутствовал), никакой дисциплины единичной (потому что ни один в отдельности читать не умел), и все вместе, что, скорее, следует назвать не *много*-голосной, *разно*-голосной декламацией, сливалось в нечто до последней степени безвкусное. На публику, однако, ту публику, которая теперь наполняет наши залы, это производило впечатление своей массовостью. Это было одно из тех достижений, которые рассчитаны на невежество. Это типичное проявление самого разрушительного в искусстве принципа — дешевки. Дешевкой, то есть отсутствием сознательной работы, направленной на завоевание известных законов мастерства, отличается все, что предлагается в России в смысле сценическом. Публика такая, что не имеет не только способности, но и возможности отличить и разобраться: она лишена точек сравнения, она судит по-своему и иногда неожиданно. В Малом театре идет «Стакан воды» Скриба.

— Видели «Стакан воды»?

Отвечают как-то нехотя:

— Видели... видели...

— Как вам понравилось?

— Ну как сказать?.. Ничего особенного... Да потом ведь стакан воды всего один раз только появляется...

Стоят двое на улице перед афишей. Она говорит:

— Куда пойдем?

— Ну, хошь в Малый пойдем?

— А там что идет?

— «Волки и овцы».

— Ну да, как же... Не видала я, что ли, деревни...

Да, критики нет, сознательных требований из публики нет. И искусство, подлаживаясь, принижается. Помню, вначале актеры страдали от необходимости играть перед такой аудиторией, в которую, как они чувствовали, ничто не проникает и только самое грубое вызывает смех. Но понемногу стали прикоравливаться — покатились по наклонной угождения... В этом сомнительном направлении сережниковская многоголоска пользуется сомнительным почетом... В ГИСе, где

вять начала сходиться публика — все еще о фонаре ни слуху ни духу. Наконец в три четверти десятого идут за электротехником. Приводят его, начинается установка фонаря. Это длится почти час. Когда фонарь поставлен, я прошу для пробы вставить одно стекло; вставляют — ничего не видать... Должен сказать, что публика все время вела себя самым благодушным образом и по отношению ко мне самым сочувственным. Попросили прочитать и без фонаря, и, признаюсь, вышло очень удачно, даже живее, чем с фонарем. Доброе отношение продолжалось во все три дня моего пребывания, а на последней лекции мне поднесли адрес, выбрали почетным председателем вновь открывшегося литературного общества. Бедная советская провинция! Сколько жажды духовной; сколько обольщений, сколько поднимающихся и вянущих надежд!.. Но безалаберность казенная продолжалась. Из какого-то коммунистического съезда, заседавшего в то время, прислали просить переменить порядок лекций и поставить в первую очередь лекцию о декабристах, так как члены съезда интересуются и хотят прийти. Мне было очень неприятно начинать с этой лекции прежде, чем я познакомился с публикой, однако не хотел упустить случай приподнести им характеристику тех, кого они стараются выставить своими родоначальниками. Я согласился на перестановку, но из коммунистического съезда никто не пришел. Столовать меня не столовали, я ходил на базар и готовил себе сам. Когда надо было уезжать, извозчиков не было; случайно встретился на улице с одним из моих слушателей, который сообщил, что в половине одиннадцатого всегда стоит лошадь у дверей университета, специально чтобы отвозить профессоров на вокзал. Оставалось двадцать минут; на квартире были мои вещи, мешок с картофелем, лукошко с грибами. Побежал за ними; но как тащить? Случайно у сторожихи гостил какой-то ямщик; был из добрых, согласился помочь... Вот как принимают, обставляют и провожают губернские наркомпросы приглашаемых из столицы лекторов. Один молодой человек много мне помог; не помню фамилии, но сохраняю благодарную память; также той еврейской семье, которая меня чаем напоила (тоже фамилии не помню; сына однажды встретил на улице в Москве). И, конечно, сохраняю добрую память всем моим слушателям с представителем Федоровым во главе. Он

был председателем литературного кружка, он читал мне адрес. Неунывающий, бесстрашный идеалист, среди телесной нужды и духовной мрази он всем существом своим провозглашал, что не о хлебе едином жив человек... Но после этого опыта я закаялся гастролировать. Меня приглашали в Киев, в Воронеж, в Иваново-Вознесенск, но я уже не соблазнялся... Забыл сказать, что среди всего этого беспорядочного отношения к лектору Сережников-ректор выказал себя совершенно безучастным; он как будто подчеркивал, что прежнее знакомство с гувернером моего племянника вовсе не есть основание к какому-нибудь вниманию: я не получил даже малейшего.

Да, мои смоленские дни — это еще картинка к главе о разрушении. А сам Смоленск! Прелестный город, дивное расположение, сады, старые крепостные стены, башни, красивые особняки. Все рушится, все валится: не улицы, гнилье какое-то. Там же видел самых оборванных солдат, каких вообще видал...

Вернемся к институту на Никитской. Это было странное заведение. Там всегда люди как-то слонялись; жизнь заведения проходила больше в коридорах, чем в аудиториях. Чтение преподавалось на почти беспринципных основаниях, и учащиеся выносили обрывчатые теоретические сведения, а в декламаторской практике были предоставлены самим себе, и только каждый укоренялся в своих личных недостатках. Выезжали на фальшивом пафосе, на воздыханиях, на шепоте, на глазах с поволокой. Когда я пришел со своими требованиями технической работы и технических знаний, я так распугал моих слушателей, что у меня осталась группа человек в шесть, да от прежнего года человек двадцать ходило, но так неаккуратно, что я объявил, что отказываюсь с ними заниматься. Последовала просьба смилостивиться; я согласился только с тем условием, чтобы мне выбрать из двадцати человек тех, кого признаю заслуживающими. Выбрал шестерых. Таким образом, стало у меня две шестерки. Эти действительно занимались. Но одна шестерка была первогодняя, так что из нее не могло ничего выработаться, а в другой шестерке было только два человека, которые действительно меня радовали. Один, по фамилии Гарпенко, был немножко нервен, с некоторой задержкой в речи, но очень понятливый, искрен-

но преданный моей системе и с хорошими педагогическими данными и склонностями. Я уверен, что он и после моего отъезда занимается на правильном пути и из него выйдет преподаватель. Другой — мой ученик Николай Васильевич Марков. Этот настолько преуспел, что я ему выдал свидетельство на право преподавания по моей *системе*. Он прелестно читал; он упорно работал над своим голосом и выработал инструмент такой гибкости и вместе с тем такой удивительной задушевности, что одна ученица в классе раз после его чтения воскликнула: «Ах, если бы я могла когда-нибудь так читать, как Марков!» И тем не менее свидетельство, выданное Маркову, помечено № 2, а № 1 принадлежит Федору Осиповичу Фишерову. Он был в одной студии, где я преподавал, но которая распалась, и я Фишерова даже не помнил. Однажды встретил меня на улице, остановил и сказал, что очень ему хочется у меня брать частные уроки. Мне совсем не хотелось, я его не знал, время мне было дорого, брать с него тоже было неприятно, да и вообще начинать, не зная, стоит ли, но все-таки я сказал зайти. С первого урока я увидал такую сознательность, такую способность к логическому мышлению и такое умение полученные знания обратить в практику, что после того в течение почти двух лет мы занимались, насколько позволяли нам его и мои занятия. Из него выработался настоящий преподаватель. Что мне дорого в нем, это то, что он воспринятое от меня совершенно претворил в свое и при большой педагогической находчивости придумывает новые приемы усвоения, новые технические упражнения, и все это, хотя ново, всегда в согласии с основными принципами. Фишеров и Марков сейчас преподают в разных студиях Москвы; они в спросе, на хорошем счету. Слышал, что они проникали в студии Художественного театра...

Станиславский вначале относился к моим приемам преподавания с недоверием. Он опасался почему-то, что я буду прививать приемы ложного пафоса, который у нас называется «французским». И почему только? Точно у нас нет лжи, а у французов нет простоты. Да наша театральная читка сплошь ложная... Но уже к концу первого года Станиславский смилостивился; на второй год он уже говорил на репетициях своим актерам: «Ступайте к Волконскому, потому что я не могу тратить семьдесят пять репетиций из ста на то,

чтобы учить вас читать». Поворот Станиславского в сторону техники очень знаменателен. Для меня же это было провозглашением победы моих принципов. Люди, восставшие против моих путей «во имя» путей Константина Сергеевича, остались на платформе Станиславского — без Станиславского. Конечно, Константин Сергеевич не изменил своим принципам, но он увидел, что без разработки техники нельзя. Поворот его был настолько силен, что появилась статья Мейерхольда «Одиночество Станиславского», в которой маститый «Тео-крат» утверждал, что после того, что Станиславский говорит теперь на своих лекциях, ему остается лишь уйти из Художественного театра... Я, во всяком случае, глубоко благодарен Константину Сергеевичу за высокодружескую поддержку, какую нашел в нем, а главное — за ту медленную эволюцию, с какою эта поддержка понемногу осуществлялась... О значительности этого поворота могу судить, когда вспоминаю предостережения покойного моего приятеля Алексея Александровича Стаховича, который был близкий друг Станиславского и мне передавал его суждения. Он всегда мне говорил: «Не обольщайся: в этом году на тебя мода, в будущем году к тебе охладеют, а на третий год тебя забудут». Как я жалею, что не довелось ему видеть картину Станиславского, сидящего за столиком и записывающего мой урок. Сколько молодости было в этом увенчанном сединой лице и как старчески угасша была рядом с ним студийная театральная молодежь, как пугливо-безразлична к новому слову... Не для того, чтобы хвастать, но ради ясности положения и обоснования моих утверждений упомяну о том, что Константин Сергеевич пожелал пройти со мной монолог «Скупого рыцаря», то есть чтобы я ему высказал мои взгляды и приемы чтения по поводу этого монолога. Он пожелал также, чтобы я взял на себя выправление «Синей птицы» в Художественном театре. Но после первых же попыток я должен был отказаться. Я взял на пробу акт «Лазурного царства» и ничего не мог добиться. Эти актрисы понятия не имеют о движении голоса; инструмент голосовой совершенно бессознателен и увязает в однажды принятых привычках и ухватках. Они не знали, что значит повышение и понижение голоса, а когда узнали, то не могли исполнить: голос все впадал в старую складку. В течение восьми уроков повторяли мы одну несчаст-

ную фразу; выходят на сцену — говорят по-старому. Эти люди, которым Станиславский с утра до ночи повторяет о «мышечном ослаблении», выходят на сцену такими связанными, напряженными, с такой фальшью в напряженном голосе и в способе давать его, что получается не «Лазурное царство», а какая-то санатория *. Станиславский пожелал, чтобы я выправил. Но, во-первых, выправлять всегда неблагодарная задача. Во-вторых, он делает непростительную ошибку, когда думает, что можно пускать на сцену людей, которые не только не выработали всех возможностей своего голоса и умения ими владеть соответственно требованиям сознательного искусства, но даже не отдают себе отчета в том, что такое средства голоса, каково их разнообразие и каков их смысл. Вот почему я, после нескольких попыток, устранился. Нельзя *учить* людей, которые думают, что они умеют, нельзя прививать хорошие привычки людям, которые укореняются в дурных,— это напрасная трата сил... Всего этого мой покойный друг Стахович не видел. В первый год моего московского житья, 13 марта 1919 года, он повесился. Я подробно говорю и о нем и о его трагической кончине в моих «Лаврах».

Мои две «гисовские шестерки» вспоминаю с удовольствием; это была настоящая работа. Узнав, что я собираюсь осенью ехать в Петербург, мои слушатели выразили желание заниматься со мной в летние месяцы. За эти экстренные занятия они захотели меня вознаградить сахаром... Не все их имена помню, но многих из них провожаю благодарной памятью в ту пучину прошлого, на поверхности которой вряд ли когда встретимся. Один, по имени Покровский, как-то исчез, а уже перед самым моим отъездом вдруг зашел ко мне на квартиру:

* Вовсе не выставляю это как какой-нибудь специальный недостаток Художественного театра — во всех театрах то же самое, и ни одна школа этого не знает, никто этого не слышит; учителя на это никогда не обращали внимания, они даже не знают о существовании науки о законах речи, а ученики, когда я им об этом говорил, в большинстве считали, что это напрасная трата времени: было бы чувство (или, как у нас говорят,— *чуство*), больше ничего не нужно. И ни один не призадумается над тем, что ведь чувство мое, чтобы дойти до другого человека, должно через что-нибудь пройти. У пианиста через пальцы (он их и упражняет), у актера через голос (нужно его воспитывать).

— Я случайно получил баночку икры. Прошу принять от меня на память.

Таких примеров внимания много мог бы перечислить. Мы, там жившие, мы знали, что это такое — получить банку или коробку чего-нибудь вкусного; мы знали, какая это радость, какой праздник. И тем не менее приносили, делились. Приносили мне и хлеба, и крупы, и леденцов, и яблок, и банку персиковых консервов... И нельзя было не принять.

Бедный Покровский! Он был нервен, после какой-то болезни или раны осталось подергивание; но он настойчиво работал в надежде стать преподавателем декламации.

— Что же вас давно не видно было? Что делаете?

— Ах, Сергей Михайлович, стыдно и сказать, что делаю. На углу Кузнецкого и Софийки с лотком стою и продаю карандаши и резинки. Вот что делаю, чтобы просуществовать.

А были стремления, были порывы... Да, мастера большевики в деле угашания духа. А Сережникову, директору заведения, в наркомпросе говорят: «Нам ваше заведение нужно как воздух». Все на словах, все на бумаге; дайте нам бумаги — мы будем деловиты; дайте нам громких слов — мы будем культурны... О, как начинали надоедать громкие слова! Народ уже от голоду умирал, а они все еще с балкона говорили: «Попы вам обещают рай после смерти, а мы вам его даем на земле». Не все уже верили этой коммунистической шарманке. В течение года или полутора в Москве не ходили трамваи; вот на одном митинге оратор расписывает: мы сделаем то-то и то-то, и электрификация, и солнца нам уже не надо — «Мы зальем города искусственными солнцами!»... Скромный голос из публики: «А трамваи будут ходить?»...

В несуразном ГИСе я познакомился с одним из самых выдающихся людей нашего времени. Имя профессора философии Ильина было достаточно известно. Но разве в современной Москве можно найти минуту, чтобы пойти куда-нибудь, кроме своих лекций, большевистских канцелярий и своей берлоги?.. К большой радости моей узнал, что в ГИСе будет читать Ильин. Но он свободен только по четвергам от шести до восьми, а это был мой час по курсу мимики, и он просит,

могу ли я ему уступить один четверг из двух. Таким образом, я, во-первых, имел честь чередоваться с Ильиным, а во-вторых, получал возможность послушать его в освобождающийся час. Четверговые лекции происходили перед всем составом студентов; они очень посещались, а лекции удивительного Ильина были, конечно, событием. Он говорил сильно, твердо; его курс был только введением в эстетику, но в каждом слове, в каждой интонации звучало исповедание высокого духа, не поддающегося никаким давлениям и бесстрашно держащего знамя свободного мышления и свободного его выражения. Он не всем нравился так же, как своим слушателям, и перед самым моим отъездом я слышал, что он был выставлен из университета.

Несмотря на то, что я бывал на лекциях Ильина, я, по близорукости своей, не знал его в лицо. В одном заседании совета преподавателей мой сосед передает мне записку, в которой просит написать часы моих лекций. Я написал; мы обменялись несколькими словами. Во время заседания только из обращения других я понял, что это Иван Александрович Ильин. Он не пришел на мою лекцию, но вместо того пригласил меня к себе на квартиру, с тем чтобы я рассказал ему мою «систему». Вспоминаю с благодарностью и восхищением то внимание, которое он мне подарил. Пока я говорил, он раз прервал меня:

— Сергей Михайлович, чему же учат те, которые этому не учат?

Трудно, конечно, судить своих товарищей по кафедре, тем более что, несмотря на новизну моих требований и резкость, с какой я их проводил, они приняли меня с товарищеским доброжелательством; однако слишком люблю свое дело и слишком скорблю о невозможной его постановке, чтобы не сказать здесь по поводу поставленного мне Ильиным вопроса, что *наши студии дают камень вместо хлеба.*

С Ильиным мы видались часто и подолгу. Сохраняю память о его прощальном привете накануне моего отъезда из Москвы; он, конечно, как и никто, не знал, что я имею планы ехать «дальше», он напутствовал меня в Петербург, но я сохраняю память о нашем прощании как напутствие на остаток дней моих... Ильин, конечно, самое высокое и самое сильное, что осталось там, в России...

В сентябре я выехал в Петербург...*.

В то время начиналось, даже уже осуществлялось то, что получило ходкое прозвище «эволюция большевизма». Торговля, до известной степени возвращение собственности, открытие большевистского банка. (Нет, вы только подумайте — сочетание слов: большевистский государственный банк!) Тут же декрет о разрешении людям известного возраста покинуть большевистскую республику. Вот последние впечатления осени 1921 года. К этому прибавлялись ужасающие подробности последнего петербургского расстрела. Расстрела, где, по официальному признанию, был убит 61 человек. В их числе поэт Гумилев, князь Ухтомский, работавший в Эрмитаже и казненный, как гласит официальное сообщение, за доставление заграницу сведений о деятельности музеев. В числе их — шестидесятилетняя старуха и муж с женой, Акимовы-Перец; она расстреляна на пятом месяце беременности. Тогда же погиб некий Бак, молодой, ни в чем не повинный, благородный и высокой честности.

Все это становилось невыносимым. Я начинал не владеть собой. В одной канцелярии в присутствии преподавателей и многих учащихся, а главное, нарочно в присутствии многих коммунистов я объявил, что не могу продолжать читать в заведении, которое именует себя культурным и не ходатайствует *во имя культуры* о том, чтобы наконец были прекращены расстрелы. Вокруг меня улыбались!! О, эта улыбка! Что в ней? Безразличие? Снисхождение к чувствительности? Удовлетворение просыпающегося зверинства? Но эта улыбка меня всюду встречала: это был ответ на негодование. Я рассказываю человеку, что одна моя родственница потеряла сына от сыпняка, муж в кон-

* Эти строки уже пошли в печать, когда я узнал об изгнании профессоров из советских пределов. Имя Ильина в числе изгоняемых. Счастлив был видеть и свое имя в том числе. В каком другом мероприятии этого гнусного правительства ска залась с большей яркостью та ложь, в которой оно пребывает? Они провозглашают культуру, но что же они делают? Ставят памятники Радищевым, именуют улицу именем Грановского, а Ильиных, Бердяевых сажают и изгоняют. Какая отвратительная ложь в этом ухаживании за покойниками и преследовании живых... Но какой же правды ждать от людей, которые провозглашают принцип уничтожения капитала во всем мире, как они сделали в России, а на Генуэзской конференции на весь мир объявляют, что спасение России в иностранном капитале!

— Ну, знаете, после того, что на родине со мной сделали... У меня все отняли, меня только еще раздеть можно, и то корысть невелика — локти продраны... Вы смотрите, что у меня пальто хорошее, меховое? Это моего друга, который повесился.

После этого разговора я решил бежать каким угодно способом, но только не быть обязанным своим освобождением таким людям. Официальное высвобождение, как это называется там — легальный выезд, сопряжено с большими затруднениями. Один мой знакомый получил из-за границы денег, подал все необходимые заявления, имеет все права по возрасту, все преимущества по болезни и тем не менее не может выехать: с него требуют взятки, а он не хочет давать. Вероятно, он сейчас уже и деньги свои путевые прожил, это было почти год тому назад...

Еще одно воспоминание последних дней. Пришли меня пригласить прочитать в пользу голодающих. В то время много было сборов на голодающих. Один день парикмахеры стригли и брили в пользу голодающих; другой раз театральный сбор шел на голодающих; то налог на передвижение: кто едет, а не идет пешком — сто тысяч в пользу голодающих. Был и день катанья. По Невскому разъезжали придворные коляски, запряженные рыжими тройками, — шеи колесом, сбруя с бляхами, ямщик с павлиньими перьями; или проезжали английские шарабаны, кучер в ливрее и цилиндре; в этих экипажах, развалившись, размахивая руками, сидели по пять, шесть человек матросы или рабочие и орали — в пользу голодающих. Такая прогулка по Невскому взад и вперед стоила двести тысяч. Наконец, был и день воздухоплавания в пользу голодающих.

Так вот, пригласили меня в пользу голодающих прочитать. Будет вечер, сборный: Немирович-Данченко, Кони и я. Вечер в Клубе имени Маркса, на Владимирской (бывший дом Голицына, красивый растреллиевский дом, где была редакция «Петербургской газеты»). Вечер будет называться «Вечер воспоминаний». Просят меня что-нибудь прочитать соответствующее и, кроме того, вступительное слово — о значении воспоминаний. Вознаграждение лекторское, с позволения сказать, го-но-рар — 50 тысяч. Я принял приглашение. Во вступительном слове я сказал о культурной роли

памяти, об уважении к памятникам, о тех народах, которые подверглись нашествиям иноплеменников, но *своих* варваров не имели, таких, которые протыкали портреты штыками... Одна коммунистка-комиссарша влетела в «артистическую» комнату в совершенно взъерошенных чувствах от таких «контрреволюционных» слов. Значит, так надо понимать, что *не* контрреволюционно было бы сказать, что памятники *надо* разрушать и что это *не* варварство?.. Какая в этой лжи боязливость перед тем, чтобы называть вещи своими именами. На всех углах плакаты: «Берегите памятники», «Берегите книгу» и прочие пиа дезидера*, а назвать варваром того, кто разрушает — это не полагается, это контрреволюция... Во втором моем выступлении в тот вечер я говорил о декабристах и кончил тем, что таких людей, как они, больше не будет: «Это были люди, в которых не было ни капли ненависти — одна любовь; люди, которые ничего не хотели для себя — все для других; это были люди, в которых не было ни малейшей корысти — одна жертва. И вот почему в наши времена вспоминать о декабристах благотворно»... После чтения пригласили лекторов в канцелярию. Я знал зачем, но спросил.

— Вы имеете получить 50 тысяч.

— Простите, я с голодающих не беру. У меня все отняли, но *я* у других не беру. В этом я неисправимый буржуй.

— В таком случае позвольте вас поблагодарить.

— Не за что...

И, наконец, последнее впечатление последних дней. Артисты петербургских театров пригласили меня прочитать лекцию о театре В бывшей квартире директора императорских театров помещается теперь Театральный музей. Одна комната этого музея, бывшая приемная зала, оставлена под собрания и лекции. Здесь, в бывшей моей квартире, в зале с желтыми занавесками, которые я сам когда-то выбирал, я прочитал четыре или пять лекций, взяв для того несколько глав из первой части моих воспоминаний: о Росси, Сальвини, о немецком и итальянском театре, о Саре Бернар, Дузе, Режан... Отношение было самое теплое. Престаре-

* Pia desideria *(латин.)* — благие пожелания.

лый Владимир Николаевич Давыдов председательствовал. Он был совсем слаб, память уже не подавала, и ему подсказывали. Я в Риме три месяца тому назад видел его дочь; она прислуживала в русском ресторане; я мог ей мало утешительного сказать о ее отце... Одну лекцию я прочитал там же в пользу убежища для престарелых артистов, — прочитал своих «Декабристов». Вера Аркадьевна Мичурина, как член комитета, сказала очень милое заключительное слово, которое закончила тем, что «мы всегда уважали образ княгини Марии Николаевны Волконской, увлекались ее трогательными воспоминаниями, но могла ли она думать, что тяжелыми испытаниями своей жизни она через своего внука сослужит службу нашему убежищу?..»

Среди знаков доброго внимания, с которыми встретила меня театральная среда, с особенной признательностью вспоминаю Надежду Алексеевну Бакеркину, бывшую балетную артистку, которая заведовала балетным отделом Театрального музея. В ее квартире на Каменноостровском, где она жила с сестрой Марией Алексеевной, находил я отдых, сочувствие и редкое гостеприимство, начиная с хозяек и кончая собачками — белой Миреткой и черной Тотошкой...

Петербург был великолепен в своем постепенном умирании. Красавец, заживо гниющий. Пустынные улицы зеленели травой, решетки каналов валились, подвалы домов заливались водой, но под этим умиранием в летаргической недвижности стояла застывшая краса тех очертаний, что задумали и осуществили строители дивного града Петра. И Нева все так же катит волны, Исаакиевский купол блестит, бездымный воздух чист и ясен

«И светла
Адмиралтейская игла...».

На этом кончаю свои воспоминания.

Сейчас я уже не на Родине — на чужбине. Вокруг меня зеленые горы, пастбища, леса, скалы. Надо мной синее небо, светозарные тучи. Вы скажете, что и там было синее небо, и там светозарные тучи? Может быть, но я их не видел; они были забрызганы, заплеваны, за-

гажены; между небом и землей висел гнет бесправия, ненависти, смерти. И сама «равнодушная природа красою вечной» уже не сияла. Здесь она сияет, но всегда и всюду вижу недремлющего Змия. Летний день «горяч и золот», но Змий сторожит и ждет. Жасмин благоухает, в душистых светотенях липы жужжат бесчисленные пчелы,

«В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук»,

а там разрушение продолжается и озверение растет...

Мемуары, которые читатель держит в руках, писались в голодной и нищей Москве эпохи военного коммунизма. Князь С. М. Волконский добрался до Москвы осенью 1918 года и, как это ни странно, вписался в фантастическую атмосферу московского театрального бума. Станиславский помог ему устроиться преподавателем сценической речи и пластики в студиях Художественного театра. Его стали приглашать в рабочие кружки, в студии Пролеткульта, к вахтанговцам, в студию «Габима». Волконский не отказывался. Он был увлечен. Ему нравилась аудитория, эта полуграмотная, но тянущаяся к театру молодежь. И, видимо, его довольно долго не покидала надежда, что пришедшие в пролетарские студии выходцы из рабочей среды наладят когда-нибудь в России человеческую жизнь. Во всяком случае, в 1920 году на сочувственную реплику Александра Бенуа о тяготах жизни Волконский ответил: «Что вы? Я никогда не был так счастлив, как теперь! Я наконец весь могу отдаться своему делу, а остальное для меня не существует» [1].

Он ютился в коммуналке. За стеной — кухонный шум примусов и брань соседки-проститутки. Мемуары свои писал в промежутках между арестами и сыпным тифом, вызовами в чрезвычайку и беготней по рабочим кружкам и студиям. Вероятно, князь отдавал себе отчет в том, что и эти его листки могут пропасть, как пропали документы из архива декабристов и вся его библиотека: потеряются, пойдут на махорочные закрутки или будут «израсходованы в уборной уездной чрезвычайной комиссии». И все-таки он продолжал писать.

И ему удалось стать понятым. Он, этот холеный человек, плоть от плоти дореволюционной России, навсегда от нас уплывшей, сумел рассказать о той действительности, которую наши бабушки называли «мирным временем».

Волконский старался быть достоверным, точным в деталях. Свое отрицательное отношение к революции не скрывал и не афишировал. Он был терпим к чужому и даже к чуждому. Стерпел террор. Но не вы-

[1] Цит. по статье: *Ахмеджанова Т.* «Волконский необходим...». — «Театр», 1989, № 8, с. 155.

нес агрессивного наступления лжи. Он уехал в конце 1921 года. Возможно, что последней каплей, переполнившей чашу его терпения, стал расстрел Гумилева...

Вернемся, однако, к тем четырем годам, которые прожил Волконский при советском режиме. Коснемся одной очень лирической и очень возвышенной темы. Текст мемуаров еще в Москве переписывала для него Марина Цветаева. Познакомились они в 1920 году в Вахтанговской студии, куда Волконский был приглашен для чтения курса лекций.

То была удивительная дружба, влюбленная дружба, совсем особая, духовная, причудливая, очень необычная.

Представим их рядом: 60-летний красавец князь, обладавший столь драгоценными в глазах Цветаевой артистизмом и аристократизмом. И она — 28-летний поэт, прелестная женщина, смятенная и сильная, переживавшая один из трагических периодов своей жизни. Что связывало их? Оказывается, многое. Взглянем на князя глазами поэта.

Позднее, уже в 30-е годы, Цветаева рассказывала в письмах одному из своих корреспондентов: «Подружились с ним в Москве 1921 г. Я тогда переписывала ему начисто — из чистейшего восторга и благодарности — его рукописи, — трех его больших книг и вот таким почерком, и ни строки своей не писала — не было времени — и вдруг прорвалось «Учеником»: Ремеслом. Достаньте «Быт и бытие» кн. С. Волконского, там есть большое, вводящее посвящение мне. Тогда поймете нашу дружбу — и «Ученика» — и все» [2].

Цикл этих замечательных стихов, посвященных Волконскому, Цветаева написала в апреле 1921 года. Под учеником она имела в виду себя, его же чтила учителем. Есть в цикле одна сквозная тема, многое приоткрывающая в обеих личностях и их судьбах.

Это тема плаща. Возникла эта тема в цветаевской поэзии еще в 1918 году, до знакомства с князем. И играла тогда роль маскарадно-шаловливую, связанную с «крылатыми героями великосветских авантюр» — в духе XVIII века. В апрельском же цикле 1921 года тема выполнила совсем иную функцию. Образ плаща обрел как бы реальную тяжесть — тревож-

[2] Письма М. И. Цветаевой Ю. П. Иваску (1933—1937). — В кн.: Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956, с. 220.

ную и спасительную в одно и то же время. Здесь и признание в верности:

«Быть мальчиком твоим светлоголовым, —
О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести
в суровом
Плаще ученика», —

и просьба защитить, укрыть своим «пыльным пурпуром» и увести куда-то в вечность:

«Тихо взошли на холм
Вечные — двое.
Тесно — плечо с плечом —
Встали в молчанье.
Два — под одним плащом —
Ходят дыханья».

Из романтически сурового плащ превращается в покров для равных, для тех, кто «тихо взошли на холм». Под «равенством» мы, естественно, разумеем лишь цветаевскую метафору культуры, отнюдь не масштабы дарований. Можно понимать это и иначе. Но нам кажется, что именно высочайшую культуру знания, поведения, открытую свободу духа более всего ценила в Волконском и в его «пыльном пурпуре» Цветаева.

Надо подчеркнуть: в те годы именно этот тип культуры, полной мужества и достоинства, исчезал. Об этом и тоскует поэт.

Эти стихи остаются особым документом времени, вместе с тем словно бы от эпохи совершенно независящим. Вычитать из них 1921 год — если не знать, кто такой Волконский, — практически невозможно.

Восхищал же князь ее, мятущуюся Цветаеву, своим спокойствием, духовной надежностью, внутренней независимостью. Она, правда, эту черту личности князя назвала «отрешенностью». Поэту виднее.

Что касается цветаевского эссе о Волконском, названного ею «Кедр», то тут можно заметить следующее. Портрет великолепно субъективен. Ви́дение пронзительное. Характеристики нежны и деспотичны.

Цветаеву, разумеется, не могла оставить равнодушной и «декабристская» тема. Восхищаясь действительно прелестной главой мемуаров «Фижмы», Цветаева восклицает: «Гляжу и вижу: внук декабриста перед

Самодержцем, заговорившая дедовская фронда. [...] Прямой хребет деда и внука». И, согласно этому ощущению, в конце своего эссе Цветаева дает еще одно объяснение тому, что увлекало ее в князе: «Я назвала свою статью «Кедр»: древо из высоких высокое, из прямых прямое...».

В середине 30-х годов Цветаева, рассказывая о своих отношениях с Волконским, писала, в частности, что он посвященных ему стихов ее «не читал — я никогда не *посмела*, да он бы и не понял».

Итак, она «не посмела», а «он бы и не понял». Что до первого признания — «не посмела» — оно приоткрывает для нас один из оттенков той влюбленности, о которой выше шла речь. Второе же признание, по-цветаевски пронзительное и беспощадное, свидетельствует, видимо, о том, что при всей широте и блеске своей культуры Волконский был, как считала Цветаева, далек от новых форм поэтического языка. Запомним это. Позволим себе процитировать еще одно высказывание Цветаевой о Волконском, относящееся к февралю 1937 года, за полгода до кончины князя:

«Когда однажды, в 1920 году, в Москве был потоп и затопило три посольства — все бумаги поплыли и вся Москва пошла босиком! — С. М. Волконский предстал в обычный час — я, обомлев: — «С. М.! Вы! В такой потоп!» — «О! Я очень люблю дождь. И... мы ведь сговорились...».

Я знала свое, себя, свой рост, свою меру человека — и все же была залита благодарностью.

Но так как *такое* (не такие потопы, а такие приходы) — раз в жизни, а обратное — каждый день, все дни, я так до конца и не решила: кто *из нас* урод? я? они?» [3]

В этом рассуждении наиболее существенной — для понимания судьбы Волконского — представляется тема духовной культуры личности, сказывающейся не только в честности работы, но и в повседневном поведении, в житейской выносливости, естественной и простой.

Волконский приобрел известность еще в 90-е годы прошлого века. Статьи на общеэстетические темы, кни-

[3] Там же, с. 232.

га «Очерки русской истории и русской литературы», возникшая на основе курса публичных лекций, прочитанных в нескольких университетах Америки и принесших ему настоящий успех, — вот внешний контур занятий «молодого Волконского», как его называли современники, дабы отличать от деда-декабриста и от отца, занимавшего видный пост в министерстве народного просвещения. (Кстати, в 1897 году в журнале «Вестник Европы» появилась рецензия Вл. Соловьева на «Очерки русской истории и русской литературы».)

В 1899 году Волконского назначают директором императорских театров. Недолгое его директорство коечто дало и ему самому, и тогдашнему искусству императорской сцены. Волконский сделал попытку эту сцену обновить, пригласив в качестве декораторов художников «Мира искусства». Некоторые новшества удалось князю осуществить и в области репертуара. Именно «молодой Волконский» вводил на русскую оперную сцену произведения Вагнера. Судя по всему, тогда же выявились и твердость характера, и чисто западная требовательность к дисциплине. (Вспомним описанную Цветаевой историю с дождем.) Молодой директор умел принимать резкие решения и рвать с людьми, которые его обманывали. Сумел и вовремя уйти в отставку — при первом же столкновении с государем императором.

Волконский с детства мечтал о сцене. Играл в любительских спектаклях. В родительском доме в Петербурге устроен был настоящий домашний театр. В 1899 году Волконский сыграл роль царя Федора, участвовал в спектаклях у графа Шереметева и даже играл на сцене придворного театра «Эрмитаж». Будучи директором императорских театров, мечтал поставить на сцене Александринки трагедию Еврипида «Ипполит» и самому сыграть заглавную роль.

Оказалось, однако, что истинное его призвание носит совсем иной характер, о чем он многие годы не подозревал. Волконский в начале нашего века стал одним из тех немногих, кто создавал — и создал — новую специальность: театроведение. Волконский нашел себя, будучи уже зрелым, пятидесятилетним человеком.

В этой связи надо бы отметить один мотив, как правило, пролетающий мимо пишущих о художественных деятелях первой трети нашего столетия. Обычно рас-

сматривают их новаторство в контексте 30-х, 20-х годов, в лучшем случае вспоминая о начале века. Но ведь почти все новаторы — и крупнейшие, и не самые значительные — вступили в наш век взрослыми людьми, имели за плечами уже несколько лет, а то и десятилетий сознательной деятельности.

Волконский, как и его младшие сверстники Станиславский, Кандинский, как и более молодые Блок, Пикассо, Мейерхольд, Крэг, Рейнгардт, Шагал, Стравинский, да наконец даже и те, что родились уже в начале 90-х, как та же Цветаева или Мандельштам, — все они пришли к нам из XIX столетия. Поэтому и их открытия, их размышления, их отрицания оказались столь серьезны. Старшие из названных прожили полжизни в прошлом веке, прекрасно усвоив культуру старой Европы и старой России. Они ответственно вступали в тот процесс крутых эстетических перемен, которыми отмечено искусство нашего столетия.

Новаторы решались на свои открытия и перевороты, будучи не просто хорошо образованными и зрелыми людьми, но людьми, прожившими целые эпохи культуры, которая в XX веке будет чтима как историческое достояние, как «классическое наследие».

Прежде чем подробнее говорить о совсем почти неизвестной, неизученной судьбе Волконского, всмотримся в его лицо и — в лицо его сверстника Станиславского. Сравним их.

Знаменитый портрет красавца Станиславского в светлой шляпе, с плащом, щегольски перекинутым через плечо. В элегантном повороте головы, в жесте рук, небрежно засунутых в карманы, в пышных темных усах и в общей какой-то приподнятости, благородной, вполне европейской, очаровательно самоуверенной, есть что-то от чисто театральной свободы. Барственный Станиславский был богатым человеком. У него не было родового имения, как у Волконского, зато он унаследовал прославленную на всю Европу фабрику, изготовлявшую проволоку для электрических кабелей. Станиславский был фабрикантом, что в нашей театроведческой литературе ханжески замалчивалось. Между тем, если бы великий Станиславский не был хорошим хозяином крупного дела, мировая культура почти наверняка не имела бы Московского Художественного театра, и пьесы Чехова провалились бы на московской сцене так же, как в Александринке провалилась «Чай-

ка», несмотря на игру гениальной актрисы Комиссаржевской.

Так что в обворожительном изяществе позы Станиславского на рассматриваемом портрете, в самой элегантности свободы, ощущаемой здесь, был также, быть может, и едва уловимый оттенок хозяина жизни.

Ставим рядом портрет Волконского того же примерно периода. Первое, что напрашивается: изящество князя совсем иного тембра. Поза, пожалуй, чуть застенчива, нет в ней ни барственности, ни полной свободы, напротив, сквозит едва заметное смущение — в ощутимой прямизне спины (вспомним цветаевское определение), наконец даже и во взгляде этих горячих глаз, устремленном прямо на нас. И цветастый парижский бант вместо «бабочки», и строгий крахмал воротничка, и мягкий изгиб смокинга, и выражение умного лица с лихо закрученными усами и небрежной бородкой — аристократ, ничего не скажешь. Но больше всего поражаешься именно красоте и этих лиц, и многих других, пришедших в наш бурный трагический век из далекого прошлого. По их лицам, позам, жестам можно изучать и европейскую «бель эпок», и русский серебряный век.

И вот Станиславский и Волконский много времени проводят вместе в Риме. Январь 1911 года. Станиславский пишет Лилиной: «...пришлось прослушать записки кн. Волконского — того самого, который читал в Художественном театре. Согласился я на это чтение неохотно, но теперь не раскаиваюсь. То, что он написал, гораздо талантливее, гораздо важнее, гораздо интереснее, чем это говорили в театре. Он, как и я, преследует ту же гадость, имя которой — театральность, в дурном смысле слова.

Если бы мне удалось писать так талантливо и изящно по форме, как он, я был бы счастлив.

Вообще кн. Волконский мне нравится. Мне его жаль — он сгорает от жажды играть, режиссировать, томится в своем обществе, а его родственнички его держат за фалды и все прокисают от скуки в своих палаццо. Брат Волконского уже был у меня и просил Алексея Александровича (Стаховича. — *Т. Б.*), чтобы мы не сбивали с толку его артистического брата. Глупо!» [4]

[4] *Станиславский К. С.* Собр. соч. в 8-ми т., т. 7. М., 1960, с. 500.

Станиславский описывает Лилиной и римское жилище Волконского («великолепное палаццо с фресками»), и свою радость по поводу того, что «Волконский дает свой автомобиль» для прогулок по Риму.

«Вечером буду читать свои записки Волконскому. Он милый и трогательный. Третьего дня он читал «Ипполита» (пьеса) — и читал плохо, совсем не так, как сам учит в своей лекции. Я это высказал, и он пришел в отчаяние и стал умолять меня, чтобы я почитал записки». Речь идет о записках Станиславского о системе. Сперва, пишет Станиславский, Волконскому и Стаховичу показалось «скучно, потом, со второй главы, захватило, и до конца Волконский был внимателен и говорил, что интересно...» [5].

Итак, общение Волконского со Станиславским в январе—феврале 1911 года было весьма насыщенным. Станиславский поставил точку на актерских притязаниях и мечтаниях князя и познакомился с его изысканиями в области внешней актерской техники. Это произошло в любопытный с исторической точки зрения момент. Станиславский уже несколько лет работает с Крэгом над «Гамлетом» и в то же время углубляется в свою новую теорию внутренней жизни актера на сцене в процессе творчества. Трудности и невероятная смелость работы над постановкой «Гамлета» известны. И вот за несколько месяцев до премьеры спектакля Станиславский знакомится с рукописью Волконского, которая посвящена как раз тем вопросам актерской техники, из-за которых Станиславский и Крэг столько спорили и никак не могли сговориться. Речь шла о жесте, о пластике, о голосоведении, темпе и ритмах сценического существования актера. Записки Волконского заинтересовали Станиславского.

В будущем мысли о внешней — телесной и речевой — технике актера будут возвращаться к нему постоянно.

(По сути говоря, иначе и не могло быть. Вопросы пластической формы актерской игры уже на практике ставились режиссурой конца 900-х — начала 10-х годов. Но не в теории и менее всего в сфере технологии, которую как раз и разрабатывал в своих записках Волконский.)

Во многих разделах «Работы над собой в творче-

[5] Там же, с. 502, 503.

ском процессе воплощения» (третий том восьмитомного Собрания сочинений Станиславского) мы находим ссылки на Волконского и цитирования его книги «Выразительное слово»[6]. Видим формулировки о «жизни человеческого тела», о роли движения на сцене, о ритме его, об особенностях темпа, о необходимости каждодневного телесного тренажа, применения ряда технических упражнений для овладения данным актеру природой «аппаратом». Все это связано со многими как общими, так и частными, конкретными положениями «системы упражнений» Волконского.

Так благополучно, почти идиллически выглядит художественный процесс, если смотреть на него ретроспективно и видеть лишь его общие контуры. На самом деле никакой идиллии плавного развития не было. Начать хотя бы с того, что идеи, к которым пришел Станиславский в конце своих исканий, отнюдь не стали тогда же, то есть в середине 30-х, известны деятелям театра. В какой-то мере к ним были допущены лишь ученики самого узкого круга.

Третий том Собрания сочинений Станиславского, о котором мы только что говорили, вышел в свет в 1955 году. До этого даже упоминание термина «движение» применительно к учению Станиславского воспринималось его учениками-актерами и представителями тогдашней «комиссии по наследию» как преступление против системы. Ее выжимали как лимон. Все живое, все духовное, все красивое из учения Станиславского изымалось. В газетной дискуссии 1950—1951 годов о методе физических действий целые полосы посвящались этому одному-единственному понятию — физическим действиям. Сейчас невозможно перечитывать эти газеты. Прекрасные мастера театра погибали в словесных ритуальных лабиринтах. Взрослые люди не отдавали себе отчета в том, что превращают своего учителя в персонаж театра идеологического абсурда.

Вернемся в январский Рим 1911 года. Тогда Станиславский не знал о себе многого, что теперь о его исканиях могут узнать все люди театра. Римские собеседники были бесконечно далеки друг от друга. Встретились два полярных взгляда на технику актерского творчества.

[6] *Волконский С. М.* Выразительное слово. Опыт исследования речи в жизни и на сцене. Спб., 1913.

Станиславский тогда был погружен в изучение тайн подсознания. Он штудировал труды западных психологов, особенно пристально — проблему воли. Пытался подойти к механизмам внутреннего мира человека и с другой стороны — со стороны восточной философии; особенно углубленно занимался теорией йоги.

Как мало кто другой в те времена, Станиславский дерзновенно прорывался далеко за пределы театральной традиции. Пытался применить к обыкновенному актеру технику энергетических «излучений» и «лучевпусканий». Он испещрял свой режиссерский экземпляр «Гамлета» карандашными стрелами — их поединки и перекрестия должны были обозначать столкновения тайных импульсов и «хотений», накоплявшихся в подтексте действия. Диалог должен был идти под давлением не столько слов, сколько встречных энергетических потоков, взаимовлияния праны партнеров. Иными словами Станиславский тогда занимался тем, что сегодня зовется энергиями духовных биополей. Его кружки и стрелы на полях шекспировской трагедии напоминают тайнопись, загадочную криптограмму.

В тот момент теория Станиславского находилась на предельной глубине. Погружаться дальше в психику было бы уже опасно для искусства — можно было прорвать его ткань. Это рискованное погружение осуществят позднее другие — Арто, Гротовский.

А в Риме Волконский вдохновенно излагал ему теорию, согласно которой на сцене должен царствовать ритм. Главная сила актера — в пластике, в выразительности движения. Жест актера должен точно совпадать с музыкальной идеей и фразой, а не иллюстрировать слово.

Записки, которые Волконский читал Станиславскому, представляли собой доклад, называвшийся «В защиту актерской техники». Напечатан был этот объемистый и принципиальный доклад в первых номерах журнала «Аполлон» за 1911 год (то есть уже после римского чтения Станиславского).

Фигуру человека как материал театра — вне каких-либо эстетических направлений, независимо от конкретности драматургических или режиссерских заданий, вне тех или иных концепций актера — вот что исследовал Волконский. Он был одним из первых в европейском театре, кто занялся этой проблемой, от-

крыл ее как необходимость для драматической сцены. Толчком оказалось знакомство Волконского со школой ритмической гимнастики швейцарца Эмиля Жак-Далькроза в специально для этой школы построенном здании в Хеллерау под Дрезденом. Читатель прочтет об этом в мемуарах князя.

Волконский утверждал, что драматическому актеру необходима школа, в которой определенным образом тренировались бы все члены его тела, все физические источники его выразительности — от дыхания и дикции до ступни ноги.

Станиславский слушал тогда Волконского со вниманием. Многое одобрял. Но воспринимал все эти рассуждения о пластике, о жесте как разговоры о чем-то чисто внешнем, прикладном, имеющем лишь оздоровительное, спортивное значение. Проблемы души и проблемы тела актера были для Станиславского — и не для него одного — разделены.

В 30—40-е годы яростные ученики Станиславского после смерти учителя эту разделенность превратят в пропасть. Противопоставление категорий движения и действия на протяжении 40—50-х годов прослывет догматом системы Станиславского. Этот догмат чуть не погубит русский театр.

Опровергнуть его удалось последователям Станиславского в ином историческом времени. В 60—80-е годы режиссеры Товстоногов, Олег Ефремов, Пансо, Гротовский, Анатолий Васильев, Юрий Любимов, Патрис Шеро, Петер Штайн, Питер Брук, Роберт Стуруа, Теймур Чхеидзе не только освободят систему от всего лишнего, но и продвинут ее дальше, разовьют ее. В этот процесс и был включен — вольно или невольно со стороны новых мастеров — Волконский и его технология. Мастера театра второй половины XX века нашли интенсивное и выражающееся в самых разных формах и стилях решение диалектики внешнего и внутреннего в искусстве актера.

Некоторые формулировки Волконского могут кому-то напомнить биомеханику Мейерхольда. Ассоциация парадоксальна, но вместе с тем правомерна. Смыслы искомых пластических форм актерского движения у Станиславского, Мейерхольда и Волконского были различны. Но материал тот же — актер. Однако и про-

тивоположение разных пластических концепций интересно само по себе. Тем более что их разделяют десятилетия.

Биоритмика Волконского по Далькрозу — это начало 10-х годов, мейерхольдовская биомеханика — начало 20-х, а обращение Станиславского к тренингу актерского тела относится к началу 30-х.

Оставляя в стороне искания Станиславского, о которых мы уже говорили, и сравнение эстетических теорий биоритмики и биомеханики, как бы обрамляющих собою десятилетие — 1910—1920, — стоит прежде сказать о том, что это десятилетие было переломным в театре нашего века.

Чеховский и символистский периоды остались позади. Дух театра словно бы с силой вырвался на свободу. Он перестал выполнять те свои иллюстративные обязательства перед литературой, которые выполнял на протяжении нескольких веков, своевольно проник и в другие искусства. К слову сказать, это театральное своеволие стало одной из характерных черт искусства нашего столетия в целом. В тот исторический момент, о котором идет речь, лукавое присутствие театрального начала можно без труда наблюдать и в изобразительных искусствах, и в произведениях композиторов-симфонистов. Разумеется, здесь не место подробно анализировать эту особую тему. Можно лишь отметить ее существование и попытаться представить себе ту новую ситуацию, которую Волконский почувствовал, но, как и многие другие деятели театра, не принял всерьез. Между тем движение авангарда уже началось. Наиболее наглядно — в изобразительных искусствах. Что и вызывало гнев у многих. Например, у Н. Бердяева. Сегодня интересна не его оценка, а тот факт, что новые формы художественного мышления были им замечены. Философ оказался дальновиднее людей театра. Издали заметно и то, что не ощутил Бердяев: все виды авангарда поддались соблазну театральностью. Она вдохновила в первые десятилетия нашего века таких великих художников, как Пикассо, Шагал, Кандинский. Можно отметить также, что именно великие художники с особой увлеченностью прониклись тем, что теперь называют «игровым началом» и что просто является театральной игрой — игрой плоскостей, предметов, линий, пятен, красок. «Ролевое поведение» цвета в различных живописных мирах все более домини-

рует. Но бывало и наоборот — живописцы, не довольствуясь плоскостью полотна, захватывали трехмерную сцену. Таков случай супрематиста Малевича. В 1913 году в течение двух вечеров его кубо-супрематистская акция была разыграна в той самой зале на Офицерской, где всего лишь семь лет назад был сыгран пророческий «Балаганчик» Блока.

В 1917 году Пикассо в Париже подчинил своим футуристическим костюмам балет «Парад». Мастера театра в Западной Европе и в России (Крэг, Жак Копо, Станиславский, Таиров, Мейерхольд, Вахтангов) с разными целями и в разное время обратились к commedia dell'arte. Возрождают идею маски, в студиях учатся импровизационной игре, создают учебные этюды с невидимыми предметами, ставят арлекинады средствами пантомимной игры; в общефилософском и эстетическом планах мобилизуют такие средства обобщения, как ирония, остранение, жесткий юмор, гротеск. Разрыв театра с литературой можно было увидеть и во многих спектаклях большого стиля, не только на тогдашних «задворках» авангардизма.

Всего этого бурлящего процесса Волконский не видел и не хотел видеть. Он, конечно, претерпевал тогда определенную эволюцию в своих взглядах на театр, но в некоторых своих вкусах и убеждениях долго оставался верен культурной традиции XIX столетия. Так, он еще в 1910 году упорно считал, что театр не просто имеет право на рампу, он обязан ее иметь и соблюдать. И уже к августу 1911 года вынужден будет изменить свое мнение — под впечатлением постановки «Орфея» в Хеллерау. Но в этом своем повороте князь не сознается. Поэтому и сегодня все еще представляют интерес и его упорное отрицание слияний сцены с залом; эстетические взгляды Волконского отмечены противоречиями его времени.

«Я лично, — писал Волконский, — противник отсутствия разграничения там, где не может быть естественных границ, но раз принцип принят, нельзя было его использовать полнее и красивее, чем это сделано в постановке «Дон Жуана» [7].

«Дайте занавес!., Но занавеса нет. Все это с нами, тут же, вокруг нас, — и красота для глаз, и пустота для слуха. О, священная завеса, отделяющая искусство от

[7] *Волконский С. М.* Человек на сцене. Спб., 1912, с. 77—78.

жизни, сомкнись перед нами и дай нам хотя обманчивую веру в тайну и полноту того, что сокрыто позади тебя!..» [8]

Или вот еще одно интереснейшее (и не вполне верное с нашей сегодняшней точки зрения) рассуждение Волконского: «Я не могу мыслить изобразительное искусство иначе, как в раме... Все равно, что вино без сосуда, то искусство без рамы. Разрушив рампу, опрокинув преграду, отделяющую сцену от жизни, человек разбивает свой сосуд, проливает свое вино, возвращает жизни то, что взял у нее. С другой стороны, не менее противна здравому пониманию искусства теория «четвертой стены», — когда перед самой рампой ставят предметы, как бы в комнате. Но почему, спрашивается, ставить перед рампой только низкие табуреты и скамьи? Или комнату нарочно так убрали, чтобы удобнее было видеть? Нет, уж коли так, то поставьте шкапы, повесьте картины — наизнанку, заклейте обоями, сделайте комнату, а зритель сядет посередине комнаты на вертящемся табурете и будет смотреть, как актеры вокруг него «живут». Обе теории — упраздненная рампа и заставленная рампа — одинаково ведут к уничтожению произведения искусства: первая возвращает его в жизнь, вторая похищает его от жизни. Если довести оба принципа до последнего выражения, то в первом случае будет «хорошо видно», но не на что смотреть, а во втором было бы на что смотреть, но «ничего не видно» [9].

Нетрудно заметить, что Волконский отвергает и принцип раннего Художественного театра, прямо не называя чеховских постановок, и просцениум в мейерхольдовском «Дон Жуане» на Александринской сцене, отвергающий рампу, и искания Рейнгардта.

Характерным для романной литературы и театра XIX века являлось самоотождествление читателя или зрителя с персонажем. Эта традиция, долго называвшаяся реалистической, нашла своего верного рыцаря в Волконском. Он не просто отвергал нежелание полностью слиться с жизнью персонажа, он не понимал ни смысла театральной иронии, ни смысла юмора. Будучи, видимо, чувством юмора обделен от природы, князь не умел воспринимать комическое. Любые фор-

[8] Там же, с. 79.
[9] Там же, с. 99—100.

мы иронической стилизации остались ему чуждыми. Насмешливая балетность и пышный традиционализм петербургского «Дон Жуана» остались им в равной мере непонятыми, как и пантомимные спектакли Таирова, не говоря уже о мейерхольдовских студийных разработках в духе комедии масок.

Тут уместно будет сказать и о различиях биоритмики Волконского и биомеханики Мейерхольда. Сначала — об общем. В обоих случаях опора делается на автоматическую мускульную свободу, коей добиться в драматическом театре бесконечно трудно.

Излагая теорию Далькроза, Волконский дает итоговую формулировку относительно ее *этического* смысла: Далькроз «улучшает человека» — пишет Волконский. Это очень важное положение. Оно указывает не только на различия между теориями Мейерхольда и Далькроза (чью методику Мейерхольд знал и отверг), но и также между Далькрозом и Волконским.

Для Далькроза в его занятиях и системе главное — нравственное самоусовершенствование, воспитательный смысл ритмики.

Далькроз начинал скромно, но вскоре увидел в своей ритмической гимнастике средство общевоспитательное, далеко выходящее за рамки театра. Испытав ряд метаморфоз, школа воспитания человека музыкой получила во второй половине XX века глубокое обоснование в германских жизнестроительных системах музицирования и пластики. Ритмические студии, где улучшали природу человека «по Далькрозу», были распространены в 10-е и 20-е годы по всей Европе. Имелись они в 20-е годы и в Советской России. Идея воспитания музыкой возродилась в Германии после крушения рейха. Для немецких музыкантов эта идея сохраняет и по сей день свою привлекательность.

Волконский же занял совсем иную позицию. Он извлек из далькрозовской ритмики смысл и цель эстетические, отнюдь не этические. Разрабатывая систему упражнений для драматического артиста, он опирался не только на музыку, но и на скульптурные античные образцы. И вот здесь пролегала главная линия, отделявшая его «украшающую» пластику не только от мейерхольдовской биомеханики, но и от других пластических концепций, включая и эстетизм Копо или Таирова, и ироническую свободу вахтанговской «Турандот».

Волконский вслед за Далькрозом учил пластическому слиянию жестов и движений с музыкой, Мейерхольд, напротив, учил пластическому контрапункту по отношению к музыке, учил динамике, выпадам, мускульному напряжению. Биомеханика — наиболее резкий антагонист биоритмике. Целью своей биомеханика имела не «украшение» и не «улучшение» человека, а виртуозность артиста. Быстрота, острота реакций. Не улучшение, а обострение; не мелодия, а синкопы и диссонансы; не плавная красота движений, а драма, борьба, драка; акробатика, а не танец; мышечная мобилизованность, а не расслабление. Пластическое выражение конфликта вместо внешней красоты пластической «информации» о внутреннем. Нет смысла говорить о том, что важнее в искусстве. Биомеханика — труднейшая техника, ей могут научиться немногие. Биоритмика — даже в узкотеатральных рамках — доступна всем учащимся. Таковы парадоксы двух эпох — революционных 20-х и элитарных, изысканных 10-х годов.

Для самого-то Волконского теория музыкальной биоритмики имела важное значение. Она высвободила его талант театрального писателя; он выходит из ощутимого плена традиционных воззрений к неизмеримо более широкому взгляду на театр. От старомодного воспевания рампы и рамы он отходит в сферы абстрактные и приветствует прямую линию в новейших пространственных концепциях.

«Мы сидели с Гордоном Крэгом в московском Эрмитаже; я принес с собой, чтобы показать ему, фотографии с рисунков Адольфа Аппиа.

— Изумительно... И все это он сделал, не видавши моих работ?.. Я должен с ним познакомиться...

В таких выражениях английский эстет, имя которого от Флоренции до Лондона, от Будапешта до Берлина, от Парижа до Москвы знают все театральные круги, изливал свой восторг перед работами скромного швейцарца [...]. Нужно было поистине странное сочетание обстоятельств, чтобы в московском трактире Крэг в первый раз увидел проекты декораций Аппиа.

Это было во время последних репетиций «Гамлета» в Художественном театре».

Так начинает Волконский одну из лучших своих статей, «Аппиа и Крэг» [10].

Написанный Волконским парный портрет двух реформаторов пространственного образа на сцене, двух основателей современной сценографии до сего дня служит отправной точкой для русских театроведов, занимающихся историей сценографии в нашем веке. В конце 80-х годов можно было убедиться на международных конференциях, как зарубежные исследователи сожалеют о том, что эта ранняя и очень глубокая работа Волконского им была недоступна. Надо сказать, что Волконский следил за Крэгом давно, примерно с 1906 года. С 1908-го он у себя в Риме выписывал крэговский журнал «The Mask». И затем во многих статьях 1912—1914 годов, рассуждая о виденном в театрах Европы, он то и дело ссылается на теоретические высказывания английского мастера.

Волконский становится участником текущего театрального процесса. В «московском трактире» он знакомит одного из знаменитых европейцев 10-х годов с работами другого, пока безвестного. Следует сравнительный анализ двух радикальных пространственных концепций. А рядом, прекрасный стилист и аналитик, князь дает нам живейшие и лапидарные описания спектакля «Гамлет» в Художественном театре.

Решающим в изучении Волконским проблемы сценического пространства было знакомство с эскизами Адольфа Аппиа. Вероятно, Волконский имел основания утверждать, что «декорации Аппиа, столь новые в смысле эстетического впечатления, столь философские в их сочетании с человеческой фигурой, являются непосредственным результатом принципов Жак-Далькроза» [11]. Волконский под словом «результат» имел в виду, очевидно, процесс совместной работы Аппиа и Далькроза над постановкой оперы Глюка «Орфей». За два месяца до этой статьи Волконским была написана другая, целиком посвященная новой для театра того времени проблеме трехмерного сценического пространства. Статья называется «Элементы обстановки» и, по сути дела, целиком посвящена Аппиа. «Посмотрим же, — писал Волконский в августе 1911 года, — какие недостатки современного обстановочного искус-

[10] *Волконский С. М.* Художественные отклики. Спб., 1912, с. 117.

[11] Там же, с. 112.

ства (заменим так ужасное слово «мизансцена») являются существенными в смысле противоречия тому зрительному впечатлению, которое получается от живого человека...». Волконский приводит знаменитую формулировку Аппиа: «Спросим себя прежде всего, что мы хотим изобразить: *лес*, в котором гуляет человек, или *человека*, который гуляет в лесу?» [12]

Впоследствии многие цитировали эту аппиевскую формулу эстетического вопроса, который и предстояло решать театру нового столетия. Но тогда Аппиа в Европе не знали. До Хеллерау он был совершенно безвестен. В данном случае российскому театру очень повезло: у него был Волконский, который, на многие годы опережая Европу, познакомил деятелей русской сцены с одним из западных реформаторов театра.

Во второй своей статье об Аппиа Волконский сопоставляет архитектурные идеи Аппиа с далькрозовской концепцией «совершенного человека». Интересный аргумент находит Волконский для доказательства «драматизма» Аппиевых «каменных ступеней». «Для оценки всякого принципа,—пишет Волконский,—надо себе его представить в простейшем выражении; и вот лучшее доказательство, что рассматриваемые декорации наилучший фон для человеческой фигуры — это то, что в них можно мыслить нагого человека; представьте себе нагого человека в плюшевом кресле, это будет отвратительно, представьте себе нагого человека на этих каменных ступенях, это будет красота» [13].

Весьма «авангардистское», надо сказать, заявление по тем временам. Завершает Волконский эту свою статью не менее решительно. Он мечтает о том, «когда оба принципа встретятся, — когда встретятся Аппиа с Далькрозом. Совершенного человека нельзя пустить в прежнюю обстановку — это будет оскорбление человека; и в совершенную обстановку нельзя впустить прежнего человека, если не хотим оскорблять обстановку».

В начале марта 1912 года, в Риме Волконский пишет свою еще одну очень глубокую исследовательскую работу о новых принципах сценографии — «Аппиа и Крэг», завлекательное начало которой, связанное с московским трактиром, мы выше процитировали.

[12] Там же.
[13] Там же, с. 113.

Велика разница между этой и предыдущей статьями. Здесь уже Волконский не просто эстетически свободен во всем, что касается внешней постановочной формы спектакля, но и оказывается способен к первому в нашем веке философскому осмыслению нового театрального языка и мышления.

Еще раз утверждая, что «архитектурная прямолинейность — наилучший фон для человеческой фигуры», Волконский далее анализирует геометрические горизонтали Аппиа и вертикали Крэга; он превосходно показывает, как «Аппиа *раздвигает* крэговские «ширмы»; классической стала формула: «Крэг весь в вышину, он вертикален; Аппиа весь в ширину, он горизонтален». «Крэг — в особенности благодаря отсутствию потолка — сумел дать самое сильное впечатление высоты, какого вообще достигал театр». Волконский считает, что «пелена вечности благодаря этой пространственной чрезмерности ложится на все. [...] Таково философское впечатление крэговских намерений» [14].

Радикализм Крэга Волконский усматривает в полном отказе от живописи и в его отношении «к пространству материальному [...]; у него человек движется в *настоящем* пространстве, а не на фоне *изображенного* пространства. [...] Аппиа не идет так далеко, он от живописи не отказывается, он не порывает ни с далью, ни с перспективой, и именно эти два элемента придают его картинам наибольшую прелесть» [15].

Постановка «Орфея» внесет свои поправки в восхищенные рассуждения Волконского. Аппиа в «Орфее» сумеет обойтись и без живописи, и без «дали», и без «перспективы», в чем мы убедимся, прочтя об «Орфее» в статье под названием «Хеллерау». «В первый раз, — читаем у Волконского, — представлялась возможность показать людям не десять, двенадцать учениц на чужих подмостках [...], а — эволюции ритмических масс, с нарочно для них построенными лестницами, в пространственных условиях, нарочно для них приуроченных, в огромной пустой зале» [16].

«Странно даже употреблять слово «зал» в применении к этому «пространству», окруженному белыми

[14] Там же, с. 118—119.
[15] Там же, с. 123.
[16] Там же, с. 147.

плоскостями: сверху и с боков белое полотно — больше ничего; оно пропитано воском, и за ним невидимые электрические лампы. [...] Свет! Удивительная стихия, без которой нельзя видеть и которую видеть нельзя. [...] Две трети большой залы заняты вверх уходящим амфитеатром, а от первого ряда кресел вровень с полом идет «сцена». Передняя половина сцены плоская, а с половины начинаются архитектурные постройки — лестницы и площадки [...], с боков они ограничены «крэговскими ширмами». Да, крэговскими ширмами. Кто знаком с работами художника Аппиа, ближайшего друга Далькроза, тот не удивится этому совпадению» [17].

Мы позволяем себе большие цитаты, ибо дело идет о до сих пор очень мало изученном моменте в истории театра. «Феномен Хеллерау» кажется загадочным и музыковедам и театроведам. Явление это находится на стыке разных сфер — театра, музыки, музыкального воспитания и гимнастики, и, вероятно, этим объясняется его слабое освещение в специальной литературе.

Что же до замечания Волконского о «крэговских ширмах» в спектакле «Орфей», то тут следует сказать, что хотя это наблюдение и верно в общем смысле, оно, однако, как и весь анализ двух пространственных концепций, сделанный Волконским, не содержит в себе главного их различия: пространство у Крэга движется, оно кинетично, у Аппиа же принципиально неподвижно. Если угодно, иначе и не могло быть. Аппиа мыслил категориями оперы, музыки, Крэг — категориями драматического театра. (Когда он вздумает ставить «Страсти по Матфею» Баха, он так же «остановит» пространство и выстроит монументальное и словно ожидающее молитвы и музыки храмовое пространство.)

Элитарная публика Хеллерау разделилась. Одни осуждали «Орфея» «за то, что это не театр», другие — «за то, что это театр». С точки зрения Волконского — важнее критика вторых. «Это фанатики ритмической гимнастики как воспитательной системы [...]. Они боятся, что изобретатель системы, увлекшись искусством, поставит эстетическую цель на место воспитательной» [18].

[17] Там же, с. 149.
[18] Там же, с. 151.

Волконский прекрасно описал все три хеллерауских представления — «Наверх!», «Поющие цветы» и «Орфей». В жанровом отношении все три образуют редкое сочетание пантомимы, гимнастики, балета и оперы. «Поющим балетом» называет Волконский «Поющие цветы». Сцену спускающегося в ад Орфея в хеллерауском исполнении Волконский считает одним из самых «удивительных впечатлений, когда либо испытанных».

Лапидарность и точность театрального видения сцены — отличительная черта Волконского как театрального критика и театроведа.

Что касается его оценок и общих театральных воззрений, то здесь дело обстоит и сложнее и противоречивее. Все его театральные описания мизансцен, а также актерской игры с недавних пор образуют своего рода классический источник наших знаний, особенно по части западноевропейского театра конца прошлого и начала нынешнего века. Это работы очевидца и в то же время как бы историка. В этом серьезном сочетании содержится — и продолжает сохраняться — незаменимое живое и квалифицированное понимание театра. При чтении этого автора чувство живого ви́дения спектакля возникает и в тех случаях, когда он дает отрицательную ему оценку. Он пишет так, что мы благодаря его точному анализу и выразительному стилю представляем себе произведение конкретно и живо, во всех деталях. Редкое качество.

Поражает широта его интересов. В его книгах о театре, изданных в течение трех лет — с 1911 по 1914 год, можно найти почти все, что происходило тогда на театре, за исключением крайних авангардистских акций.

Представляют большой интерес и его статьи о фокинских балетах, о Нижинском, об Айседоре Дункан. У кого-то может вызвать улыбку неуемное служение своей любимой мысли: Волконский упрекает Фокина и Нижинского как танцовщиков и хореографов в том, что не всякое движение в их балетах точно совпадает с музыкой.

Возвращается Волконский и к свершениям в Хеллерау, подробнее и увереннее описывает мизансцены «Орфея», пишет очень интересную, хотя, конечно, и

спорную статью «Древний хор на современной сцене». Привлекая к анализу «Эдипа» в постановке Макса Рейнгардта, Волконский смело вторгается в проблему античного хора — и в его изначальном, древнегреческом варианте, и в его толкованиях на современной сцене.

Впрочем, сохраняются в его критическом арсенале темы, которые вызывают у него неизменное раздражение. Как только речь заходит о стилизации, Волконскому изменяют даже его теоретическая чуткость и обширность эрудиции. Вот он вставляет в свой сборник 1914 года старую статью об «Электре» Рихарда Штрауса на сцене Мариинского театра. Возмущаясь беспомощностью рук артистов, которые были словно бы «изъяты из обращения», Волконский гневается: «Хотелось дать в руки Электре по ведру с водой, чтобы оттянуть эти бедные напряженные кисти». Грубовато, конечно, но не в грубости дело. Вот, дальше читаем: «Почему такое уродование человека? Архаизм? Стилизация? Так на старинных вазах? Но почему же вы думаете, художник, расписывавший старинные вазы, [...] не был бы рад написать человека не в профиль, если бы мог? Ведь его письмо («архаическое», «стилизованное») есть результат его неумения, а не результат того, что люди его времени так ходили и держались. Зачем же субъективность живописца возводить в объективную реальность? Зачем несовершенство одного искусства переносить в другое?»[19] Чувствуешь себя неловко перед этим градом довольно-таки диких вопросов. Что же, отвечать покойному князю, что чернофигурная и краснофигурная вазопись эллинов была отнюдь не несовершенна? Что древние художники знали, как люди ходят в жизни, но с определенным умыслом и виртуозностью подчиняли многофигурные профильные сценки мифов и эпоса округлостям керамической вазы? Не стоит сегодня ловить данного автора на элементарных ошибках. Полезнее воспринять их как коварное предубеждение его против условности как таковой, одно из весьма характерных и стойких в то время, принесших немало вреда эстетическому развитию в нашем веке.

Вообще, складывается впечатление, что во взглядах Волконского на театр присутствовал довольно па-

[19] *Волконский С. М.* Отклики театра. Пг., 1914, с. 10.

радоксальный разрыв: любя и глубоко понимая актеров, интересуясь столь новой и столь абстрактной сферой, как сценические концепции Аппиа и Крэга, Волконский в то же время всячески пытается игнорировать искусство режиссуры. Можно сказать, пожалуй, что он ее отрицает, хотя и не говорит этого прямо. Либо же не отдает себе отчета в существовании режиссуры. Это, конечно, довольно странное явление. Даже режиссерскую работу Московского Художественного театра он как бы избегает оценивать. Вместе с тем, если уж пишет о его спектаклях — скажем, о том же «Гамлете» или о «Братьях Карамазовых», о «Месяце в деревне» — то, как и во всех иных случаях, дает нам возможность главные постановочные приемы этих спектаклей «увидеть», представить себе.

Жаль, конечно, что такой автор, как Волконский, разминулся с проблемами русской режиссуры, хотя и оставил нам тем не менее много ценнейших о ней свидетельств.

Из общего невнимания Волконского к режиссерскому искусству прямо вытекает, в частности, отрицательное отношение критика к Мейерхольду. Но тут есть еще один мотив. Это объяснялось глубоким расхождением их политических позиций. Волконский не мог простить и без того нелюбимому им Мейерхольду его увлечения революцией. Но, спрашивается, не так же ли был увлечен Волконский своей миссией в эти годы в желании спасти культуру и не так же ли ошибся?

В 1930 году Волконский подверг разносу спектакль «Ревизор» во время гастролей ГосТИМа в Париже. Рецензия пышет злобой и, увы, непониманием не только Мейерхольда, но и Гоголя. Статья, как всегда у Волконского, полна прекрасных деталей, но гнев захлестывает его. Гнев на сатиру. Трагичность мейерхольдовского гротеска, имеющего самое прямое отношение к судьбе России, Волконский не уловил. Если бы князю в большей мере было присуще чувство юмора, он навряд ли избрал бы эпиграфом к своей статье строки пушкинского Сальери: «Мне не смешно, когда фигляр презренный...».

«Что осталось от Гоголя?.. — патетически восклицает князь. — Подобного наглого хозяйничанья над чужою собственностью мы — в литературе, по крайней мере, — не встречали». Гнев застилает князю глаза;

получается, что комедия Гоголя — всего лишь «чужая собственность»... Для такого блестящего стилиста, каким был Волконский, — какая досадная в своей капризной инфантильности фраза! И дальше все в том же духе; театральный критик защищает Гоголя от Мейерхольда: «Несчастные люди, которые умеют смеяться тому, что омерзительно! Разве смешно, когда человек приказывает «приготовить комнату» и при этом продвигает под кушетку невидимый предмет, — мол, не забудь и это?»[20] Перед нами прекрасный образчик того острого театрального зрения профессионала, которое независимо от настроения фиксирует всякую мелочь на сцене, на этот раз, скажем откровенно, — блистательную мелочь, хоть и относящуюся к низкому быту.

«Ревизор» Мейерхольда вызвал бурю в Париже. Зрители и критики разделились. Шквал оваций и возмущенных выкриков обрушился на сцену в театре Монпарнас после премьеры. Русские резко распались на два лагеря. Бушующий зрительный зал стал как бы парижским приложением к мейерхольдовскому спектаклю.

Какое все это имеет отношение к мемуарам Волконского? — могут спросить. Представляется, что самое прямое, если иметь в виду личность автора, как и его судьбу, а не только эволюцию его театральных взглядов и антипатий.

И все-таки гений Мейерхольда победил Париж. Политические страсти, вызванные «Ревизором», улеглись, утихомирился и Волконский. В своей рецензии на «Лес» он впервые публично признал талант Мейерхольда. От испуга и гнева ничего, к счастью, не осталось. Две сцены с качелями понравились.

Наконец-то Волконский о творении Мейерхольда заговорил на языке его режиссерского замысла. Наиболее точным из всех определений мейерхольдовского Аркашки Счастливцева представляется определение Волконского: «цирковой клоун». Правда, критик думал уязвить этим спектакль, на самом же деле он раскрыл одну из его тайн: «Аркашка, как я уже сказал, клоун, он просто не туда попал, ошибся зданием. Но то, что он делает, сделано с истинным комизмом».

Несмотря на все оговорки Волконского, видно, что

[20] *Волконский С. М.* «Ревизор» Мейерхольда. — «Последние новости», Париж, 1930, 19 июня.

почти против его воли прорывается понимание и даже восхищение. Хорошо, что так закончилась давняя борьба критика с режиссером, шире — с режиссурой как авторским началом на театре.

В московском ГИТИСе конца 40-х — начала 50-х годов Волконского, конечно, не упоминали. Разумеется, наши профессора прекрасно знали его работы, некоторые были с ним лично знакомы когда-то. Книги Волконского были задвинуты подальше и пылились на полках театральных библиотек. Ситуация в театроведении стала исподволь меняться лишь во второй половине 50-х годов. Начиналась трудоемкая работа по расчистке авгиевых конюшен, работа по заполнению «белых пятен» в истории мирового театра нашего столетия.

Волконский вернулся к нам лишь в начале 60-х годов — и то пока лишь в качестве незаменимого источника истории русского и западноевропейского театра. Мы обращались к нему за знаниями. В стремлении раскопать затоптанные ценности культуры было не до личностей, не до биографий. Волконский как целостное явление тогда нас не занимал. Зато мы зачитывали до дыр «Лавры» — первую книгу воспоминаний Волконского... Восхищались литературными портретами великих актрис. Учились писать и думать. Триада — Сара Бернар, Режан и Дузе — навсегда запечатлелась именно в восприятии Волконского. И тогда-то стали мы изучать журнал «Аполлон» со статьями Волконского, искать его книги.

Теперь мы стараемся наверстать утраченное время, торопимся, наспех изучаем то, что требует спокойствия и сосредоточенности. Да, «Волконский необходим», как обмолвился однажды Станиславский. Ибо с отсутствием культуры мышления, культуры речи, а то и с оглушительной необразованностью мы сталкиваемся сегодня на каждом шагу — от самых высоких «форумов» до скромных узкопрофессиональных штудий.

Иными словами, пришло время и для Волконского. Возникла серьезная потребность в изучении людей фона в той яркой многофигурной композиции, которая составляла культуру серебряного века России. Все персонажи этой композиции необычны — они исключительны и типичны одновременно.

Не подлежит сомнению, что жизнь и творчество С. М. Волконского ждут своего углубленного исследования и биографа. Интеллектуальное наследие его весьма значительно и пока еще мало изучено. Но кроме научной биографии нужен и обстоятельный анализ всего написанного им на самом гребне европейского искусства 10-х годов, а также его разнообразной деятельности в Париже в 20-е и 30-е годы. Пока что приходится ограничиваться лишь беглыми заметками на полях его книг и его судьбы.

Т. Бачелис

Оглавление

ОПЕЧАТКА К I ТОМУ

В 1 томе на с. 140, во втором абзаце, 6-я строка снизу, допущена ошибка. Следует читать: «Как бы ни была прекрасна певица, никогда аккомпаниаторша не была ниже нее, когда за фортепиано сидела Вера Клеменс».

Волконский С. М.
В 67 Мои воспоминания. В 2-х т. Т. 2. Родина. — М.: Искусство, 1992. — 383 с.
ISBN5-210-02337-0 (кн. 2)
ISBN5-210-02336-2

С. М. Волконский, внук декабриста, наследник богатейшей культурной традиции, один из выдающихся деятелей русской культуры, живший с 1921 г в эмиграции, оставил огромное литературное наследие, практически неизместное советскому читателю

«Мои воспоминания» принадлежат к вершинам русской мемуаристики. Второй том — «Родина» — рисует картину русской жизни 1860—1920-х гг Меняющаяся десятилетие за десятилетием жизнь помещичьих усадеб, российских столиц и уездных углов встает перед читателем в столкновениях сложнейших проблем и трагических конфликтов.

В $\frac{4402000000-022}{025(01)-92}$ 25-92 ББК 85.334.3(2)2

ВОЛКОНСКИЙ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

В двух томах

Том 2

Серия «Театральные мемуары»

Редактор *З. П. Удальцова*. Художник серии *А. Е. Ганнушкин*. Художественный редактор *М. Г. Егиазарова*. Технический редактор *А. Н. Ханина*. Корректор *М. Л. Лебедева*.
И.Б. № 4574
Сдано в набор 21.03.91. Подписано в печать 30.01.92. Формат 84×108/32. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура школьная. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 20,99. Изд. № 4294. Тираж 50 000. Заказ 2208. Издательство «Искусство». 103009 Москва, Собиновский пер., 3. Типография издательства «Калининградская правда». 236000, Калининград обл., ул. Карла Маркса, 18.